ЮНОСТЬ
10
1963

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Письмо в тридцатый век

Рисунки А. Брусиловского.

I.

Эй,
родившиеся в трехтысячном,
удивительные умы!

Археологи ваши
отыщут,
где мы жили,
что строили
мы.
Археологи ваши
осмотрят
все до мелочи,
все подряд.
Желтоватую ржавчину
смоют.

Ретушь сладенькую
удалят.
Пыль сметут
движением нежным...
И откроются до конца
очень древние,
окаменевшие,
наши
песенные сердца.
Те,
которые отгорели
на бессмертных кострах
правоты,
разорвавшиеся
от болезней,
не стерпевшие
клеветы,
натрудившиеся,
двужильные,
задохнувшиеся в скоростях...

Я хочу рассказать,
как жили мы.
Я пишу вам письмо,
хотя
между нами пути неблизкие,
в человеческий рост —
бурьян.
И к тому же
тетрадные
листики —
слишком временный
материал.
Ну и ладно!
Пусть!
Я согласен.
Мир мой
тление
опроверг.
Миллионы моих сограждан
пишут письма
в тридцатый век!
Пишут
доменными громадами
(по две тысячи тонн
в строке!).
Пишут письма люди,
наматывая
на планету
витки

ракет!
Пишут
тяжестью
ледокола
там,
где не было
ни строки.
Пишут письма,
беря за горло
океанский размах
реки!

Пишут
очень сурово и медленно,
силе собственной
удивясь...

Обязательно,
непременно
эти письма
дойдут
до вас!

2.

В трехтысячном
в дебрях большого музейного здания
вы детям
о нашем столетье
рассказывать станете.
О мире,
расколотом надвое,
сытом
и нищем!
Об очень серьезном молчанье
столбов
пограничных.
О наших привычках,
о наших ошибках,
о наших
руках пропыленных,
ни разу покоя
не знавших.
О том, что мы жили не просто
и долг свой
исполнили...

Послушайте,
все ли вы вспомните?
Так ли вы
вспомните?
Ведь если сегодняшний день
вам увидеть охота,
поймите, что значат
четыре
взорвавшихся года.
Четыре зимы.
И четыре задымленных
лета.
Где жмых —
вместо хлеба.
Белесый пожар —
вместо света.

А как это так:
закипает
вода
в пулемете,—
поймете?
А сумрачный голос по радио:
«Нами...
оставлен...»—
представите?
Поймете,
что значит страна —
круговой обороной?
А как это выглядит:
тонкий
листок
похоронной.
Тяжелый, как оторопь.
Вечным морозом
по коже...

Мы
разными были.
А вот умирали
похоже.

Прислушайтесь
добрые люди
тридцатого века!
Над нашей планетою
послевоенные
ветры.
Уже зацветают
огнем опаленные
степи...
Вы знаете,
как это страшно:
голодные
дети?
А что это значит:
«Дожди навалились
некстати»,—
представите?
А как это выглядит:
ватник,
«пошитый по моде»,—
поймете?..

А после —
не сразу,
не вдруг
и не сами собою —
всходили хлеба
на полях отгудевшего
боя.
Плотины на реках
крутые хребты
подымали.
Улыбку детей
к Мавзолею
несли Первомаи.

И все это
было привычно.
Прекрасно и трудно...

И вот наступило однажды
весеннее утро.
Был парень,
одетый в скафандр.
И ракета
на старте.
Представите?
А как он смеялся
в своем невесомом
полете,—
поймете?
И город был полон улыбками,
криком,
распевами...

О, как это сложно —
быть первыми!
Самыми первыми!
Когда твое сердце открыто
нелегким раздумьям...
А были
и тюрьмы.
О, сколько неправедных
тюрем!
Не надо,—
пожалуйста, не пожимайте
плечами,—
и вы
начинаетесь
в нашем нелегком
начале!
Нельзя нас поправить.
Нельзя ни помочь,
ни вмешаться...
Вам
легче —
не только героев
вы знаете.
Но и мерзавцев.
Всех!
Завтрашних даже,
которые,
злы и жестоки,
живут среди нас.
А быть может,
рождаются только.
Но вы-то,
конечно, поймете,
конечно, узнаете,
как были верны мы
высокому
красному знамени,
когда,
распоясавшись,
враг
задыхался от ярости!
Когда в наше сердце
нацелены были
«поларисы».
В газетах
тревожно топорщились
буквы колючие...

А мы
проверяли себя
правотой Революции!
Пылала над нами
ее зоревая громадина.
Она была
совестью нашей.
Она была
матерью.
Мы быстро сгорали.
Мы жили
не слишком роскошно.
Мы
разными были всегда.
А мечтали
похоже.

И вы
не забудьте о нас.
Ничего не забудьте,
когда вы придете,
наступите,
станете,
будете.

3.

Расползаются слухи,
будто лава
из Этны:
«В моду входят
узкие
брюки!
В моду входят
поэты!
Как встречают их,
боже!
Мода,
что ты наделала?!
В зале
зрителей больше,
чем поклонниц
у тенора!..»
Это
слышу я часто.

Поднимаются
судьи,
ощущая
начало
«священного» зуда.
Вылезают,
бранясь,
потрясая
громами:
ах, мол,
разассонанс
вашу
милую маму!..
Как их вопли
навязчивы!
Как их желчь
откровенна!..

Вы простите,
товарищи
из тридцатого
века!
Пролетят,
промчат года,
будто месяцы...
Может, зря я вам твержу
о мелочах!
Но поймите,
что̀
для нас
эти мелочи
в наших медленных,
бессонных ночах.
Эти мелочи
за горло взять
могут.
Эти мелочи
тянутся к ножу...

Если правду говорить в глаза —
мода,
что ж,
считайте:
я за модой
слежу!
Отдаю ей дань
везде, где возможно.
Повторяю:
продолжайся!
Звучи!..
Если Родину свою любить —
мода,
с этой модой
смерть
меня разлучит!..
Поднимается поэзия
в атаку,
отметая
словоблудие и лесть...
Знаю,
будут мне кричать:
«Опять в дидактику
ты, как прежде,
с головою
залез!..
Это слишком...
Брось!..
Это — лишне...
Несъедобная —
для многих —
трава...»

Я спокойно отвечаю:
Мне
лично
очень нравятся
высокие
слова!..
Можно тьму страниц
заполнить
балясами,—
пусть читатель
благоденствует всуе...
Только строки
не затем
раскаляются,
чтоб потом на них
жарились
глазуньи!
Чтоб взяла их
коленкоровая тина,
чтоб по цвету
подбирались корешки,—
расфасованное
мягонькое чтиво,
бесконечно тепловатые
стишки.
Не для этого труда
поэты
созданы!..

Но,
с другой стороны,
и я
знавал
мастеров
произносить слова
высокие
и карабкаться
по этим
словам!
Пробиваться к чину,
должности,
известности,
вылезать из кожи,
воду
мутить.
Повторять:
«А я стою за власть
Советскую!..»
Думать:
«Мне должны за это
платить!..»

Черта с два
такие
верят во что-нибудь!
Но в любой
кутерьме,
в любые
дни,
к сожалению, они
никак не тонут —
на поверхности
плавают
они.
Это
их специальность
и призвание...

Но закашляйся,
холуйское вранье!
Для меня
за высокими
словами —
настоящее,
кровное,
мое!
Очень тихое порой,
очень
личное,
то летящее
в кипении
и грохоте!

То
больное до слез,
то неслышное,—

по
мое,
всегда мое,
до самой крохотки.
Я
высокие слова,
как сына,
вырастил.
Я их
с собственной судьбою
связал.
Я их,
каждое в отдельности,
выстрадал!
Даже больше —
я придумал их
сам!
Выше
исповеди они,
выше
лирики...

Пусть бушует в каждой строчке
простор.
Пусть
невзрачные
тетрадные листики
вместе с хлебом
лягут к людям
на стол!
Чтоб никто им не сказал:
«Угомонись!..»
Чтобы каждый
им улыбкой
ответил.
Потому что создаем мы
Коммунизм —
величайшую
поэзию
на свете!
Знаю:
будет на земле от счастья
тесно!

Я мечтаю,
что когда-нибудь
смогу
не построчно получать,
а посердечно:
хоть одно
людское
сердце —
за строку.

4.

Да!
Мы — камни
в фундаментах
ваших плотин...
Ход истории
точен
и необратим.
Но опять мы встаем
из дымящихся
лет,
мы —
живые, как совесть.
Простые,
как хлеб.
Молодые,—
как самая ранняя
рань...
Мы
не верили
в ад.
Мы плевали
на рай!
Мы смеялись над богом!
Сами были
богами.
И планета
гудела у нас под ногами...
Каждый день приносил
вороха
новостей.
Целовали мы теплых,
сопящих детей.
Уходили из дома
туда,
где бои,
веря в сердце свое,
веря
в руки свои...

Сомневались мы?
Да.
Тосковали мы?
Да!
А еще
называли свои города
именами любимых.
И, жизнь торопя,
открывали
себя,
утверждали
себя!
Выходили со смертью —
один на один...

Да!
Мы — камни
в фундаментах
ваших плотин.
Но у этих спокойных, молчащих камней
было столько
пронизанных радостью
дней!
Было столько любви,
было столько мечты!..
Мы
с планетой своей говорили
на «ты».

Нас
несли самолеты.
Везли поезда...
Жаль, что времени
нам не хватало
всегда!
Что его
никому не давали
взаймы...
В землю
благословенную
падали
мы.
Оборвав свою песню,
закончив пути,—
семенами ложились,
чтоб завтра
взойти!
Мы мечтали о том,
как вы станете жить.
И от будущих дней
нас нельзя
отрешить.
Мы
спокойны за вас.
Мы обнять вас
хотим.

Мы —
основа,
фундаменты
ваших плотин.

5.

Я пишу письмо в тридцатый век.
Просто.
Без особенных
подробностей...

Слышу:
«Размахнулся человек!..
Эй,
приятель,
не помри от скромности!
Фантазируй!
Мы таких
видали.
Взялся удивлять —
так удивляй!..
Но зачем в тридцатый?
Можно
дальше!
Что уж ты
стесняешься?
Валяй!
В пятисотый!
В тысячный!
Чего там?!..
Ну,
а если бить наверняка,—
ты б дожил
до будущего
года,
пишущий
в грядущие века.
Сможешь?..»
— Я не знаю...
«Так-то,
парень!
Надо разобраться
самому.
Твой
эпистолярный жанр
забавен,
только он
не нужен никому.
Только он
никем не будет
понят.
Ты об этом
думал,
человек?..»
Я пишу.
И некогда мне
спорить.
Я пишу письмо
в тридцатый
век.

6.

Вы,
счастливые,
живущие в трехтысячном,
хоть на миг себе представить должны,
как в двадцатом веке —
строгое,
притихшее —
Человечество
глядит в лицо
войны...

Почему мне это
иногда

видится?
Почему мне в это
иногда
верится?..

На последнем берегу —
Человечество...
Позабыты все цари
и все правительства.
Позабыты
рассуждения о вечности...
На последнем берегу —
Человечество.

А над миром остальным —
туман
стронция.
Никому не повезет,
не поздоровится.
Надвигается
бескровное месиво...
Речь идет
не о годах.
Речь —
о месяце...
Все мечты о чуде будущем
брошены.
И осталось только прошлое.
Прошлое.
Много прошлого.
Чуть-чуть
настоящего.
Непонятного.
Хрупкого.
Пустячного.
А рассветы
загораются
бледные...

Наступает все последнее.
Последнее!
Вот
последняя весна
пришла —
нежная.
Никогда еще
такой весны
не было!
Никогда еще
так
не цвели ландыши.
И запуталась роса
в травинках радужных.
И в реке —
теплынь.
Течет река
летняя.
Все последнее,
последнее,
последнее.

Все
кончается.
Конца
дожидается...

А в больнице
мальчишка
рождается.
Не урод
рождается —
красавец
рождается!
И плюет на все!
Ни с чем
не считается.
Заявляет о самом себе
радостно!..
На него врачи глядят
с горькой лаской.
Облака плывут над ним.
Светло.
Доверчиво...

На последнем берегу —
Человечество.
И над мертвою землею —
солнце медное.
С океана дует ветер.
Мертвый.
Медленно.
И проклятия
становятся нелепыми...
На земле
отныне
ничего не было!
И Эйнштейна
не было!
И не было
Байрона!
И дождей
не было!
И не было сполохов.
И берез
не было!
И танца «барыня».
И грамматики.
И Лу́вра.
И пороха.
И никто не сохранит
в людской памяти,
что такое бог.
И нищий
на паперти.
Что такое поцелуй —
влажный,
трепетный.
Что такое сон.
И листья.
И лебеди.
И не будет
ни спасителей,
ни спасшихся...

Хватит!
Что я?!
Ночь длинна и черна.
До того черна,
что можно
запачкаться,
если руку протянуть
из окна...

Вы,
счастливые,
живущие в трехтысячном,
хоть на миг себе представить должны,
как в двадцатом веке,
грозное,
притихшее,
Человечество
глядит в лицо
войны.

Переполнена
немирными
заботами
до сих пор предгрозовая
тишина...

А еще вы
ощутите
и запомните:
на два лагеря
земля
разделена!
До предела
напряженные
нервы.
Под прицелами ракет —
любая
пядь...

Красный флаг
над лучшей частью
планеты
очень многим в мире
не дает
спать!..

Но прислушайтесь
к голосу
разгневанному:
жаждой жизни
земля
напоена!..
Мне
письмо мое писать
было б некому,
если б в мире
победила
война.
Человечество
не хочет лезть
в бункеры.
Человечество
не хочет лечь
в бою!..

И когда вы на земле
жить
будете,
берегите,
люди,
землю свою!

7.

Да сбудется любовь,
пронизанная
светом!
Звенящая
над веком,
да здравствует
любовь!

Которой все
дано:
и муки
и горенье!
Которая
давно
перешагнула
время!
Перенеслась
в порыве
в грядущее
Земли...
Не мы
ее
открыли.
Не мы
изобрели.
Но все равно,
смотри!
Судьбою становясь,
она застигла
нас!
Она застигла
вас,
далекие
мои!
Все
повторится вновь!
И ахнет
человек —
холодным
станет
зной!
Горячим
будет
снег!
Придет пора
цветов,
брусники и грибов...

Спасибо,
жизнь,
за то,
что я узнал
любовь!
Ее всесильный
гнев
безвременья
страшней.
Запреты,
побледнев,
склоняются
пред ней!
Она царит
высоко.
Над ней
дожди
звенят.

Ее невнятный
шепот
слышнее
канонад!

Да здравствует любовь,
пронизанная
светом!
Да здравствует
любовь,
обнявшаяся
с веком!
Пусть
в каждом новом
дне,
чиста
и непокорна,
любовь
идет
ко мне,
идет,
как песня к горлу!

8.

Над городами,
над тишиной —
звездные точечки..
Женщина,
спящая рядом со мной,—
мать
моей
дочери.
Дышит
женщина рядом со мною
сухо и часто.
Будто она
устала,
основывая
новое
царство.
Ни пробужденья,
ни света,
ни сумерек —
как не бывало!..

Вдумайтесь,
сколько грядущих
судеб
она
основала!
Сколько свиданий,
сколько рождений,
сколько закатов!
Слов
непонятных,
жарких постелей,
светлых
загадок...
Сквозь дымчатые облака
скользя,
выгнутся
радуги.
Однажды,
проснувшись,
протрут глаза
внуки и правнуки,
Заполнит комнату запах
лесной
прелой
травы...
В женщине,
спящей рядом со мной,
дремлете
вы!
В женщине этой
затеплилась
завязь
вашего
века!..

В сером окне,
к стеклу прикасаясь,
выгнулась ветка...
Каждому в мире
имя
отыщется.
Дело
найдется...

Но в котором из тех,
кто рожден
в трехтысячном,
кровь моя
бьется?
Кто же он —
родственник мой
шальной
в вашей стране?..
Женщина,
спящая рядом со мной,
стонет во сне.
Тени —
от пола до потолка.
Хочется пить...

Мы будем жить на земле
пока
будем
любить!
Мне,
будто плаванье
кораблю,
слово: «Люблю!».
Строки
медлительные
тороплю —
люблю!
Глыбищи
каменные

долблю,
лунный луч
в ладони
ловлю,—
люблю!..
А у нашей любви
четыре крыла,
ей небо —
вынь да положь!
И ни одного
тупого
угла —
острые
сплошь!..

Но если та,
которая
спит,
вздрогнет вдруг
от обид.
И если,
муки свои
измерив,
обманет,
изменит,
я зубы стисну
и прохриплю:
люблю...

9.

Ну, как живется вам
в тридцатом веке?
Кто из людей планеты
мир
потряс?
Какие Сириусы,
какие Веги
в орбитах
ваших беспокойных
трасс?
А как Земля?
А что ей,
старой,
помнится?
Все счастливы?
Все сыты?
Всем тепло?..

Материки —
от полюса до полюса —
цветущими садами
замело.
Невиданных
хлебов
великолепье,—
колышущийся,
бронзовый
прибой...
Да что я
все о хлебе
да о хлебе?!
Я с детства
уважаю хлеб
любой!
«Спасибо!» —
говорю ему
заранее...
Но, после стольких тягот
и утрат,
неужто
Коммунизм —
большая жральня,
сплошной
желудочно-кишечный
тракт?!

Неужто вы
едою
одержимы?!
Добавочными ужинами
бредите?!
Работают
серьезные
машины.
А вы
тупеете?!
А вы
жиреете?!

Не верю!
Невозможно так!
Не верю!!
Придуманная
злая
ерунда...

Ведь если допустить,
хоть на мгновенье,
что вы
такие,—
все смешно тогда!
Смешно,
что мы болеем
общей болью
и нам пути иного
не дано!
Смешно,
что мы для вас
готовы
к бою!
И даже то, что
победим,—
смешно!
Нет!
Вы
такими
никогда не станете!

Дорога ваша
мир
не рассмешит.
Я знаю,
незнакомые мечтатели,
вам будет тоже
очень сложно
жить.
Придется вам
и тосковать нежданно,
и вглядываться
в новые века.
И разбираться
в неприступных
тайнах,
которые не снятся нам
пока...
Знамена наши
перейдут
к потомкам,
бессмертным цветом
озарив
года!

Еще краснее будут пусть!
Но только,
чтоб не от крови.
Чтоб
не от стыда.

10.

Я,—
по собственному веленью,—
сердцу
в верности
поклянясь,—
говорю
о Владимире Ленине
и о том,
что́ главное
в нас.

Вот уже,
разгибаясь под ношей,
вырывается мир
из тьмы!
Начинаются
горы
с подножий.
Начинаемся
с Ленина
мы!
Мы
немало столетий
ждали
и вместили в себя
потому
силу
всех прошедших
восстаний!
Думы
всех Парижских
коммун!..
Неуступчивы.
Вечно заняты.
Мы идем
почти без дорог...
На истории
нет
указателей:
«Осторожно!
Крутой
поворот!..»
Повороты встречались
жадные,
пробирающие, как озноб.
Даже самых сильных
пошатывало.
Слабых —
вовсе
валило с ног!
Жгли
сомнения.
Шли
опасности,
с четырех
надвигались
сторон...

Но
была на планете
партия —
та,
которую создал
он!
Мир
готов за нее
поручиться
перед будущим
наверняка!

И лежит
на пульсе Отчизны —
вечно! —
ленинская
рука.
Он —
ровесник всех поколений.
Житель Праг,
Берлинов,
Гаван.
По широким
ступеням
столетий
поднимается Ленин
к вам!
Представляю
яснее ясности,

как смыкают
ваши
ряды
люди
ленинской гениальности,
люди
ленинской чистоты.
Не один,
не двое,
а множество!
Вырастающие,
как леса.
И по всей Вселенной
разносятся
их
спокойные голоса...
Что ж,
для этого
мы и трудимся.
Терпим холод.
Шагаем в зной...
Ведь еще только начал
раскручиваться
и раскачиваться
шар земной!
Прозвучи,
сигнал наступления!
Солнце
яростное,
свети!..

Все еще
впереди!
И Ленин,
будто молодость,—
впереди!

II.

Завидуйте нам!
Завидуйте!
До самых
седых
волос.

Вы
никогда не увидите
того, что
нам
довелось.
Завидуйте яростным,
полуголодным,
счастливейшим
временам!
Завидуйте
нашим орущим
глоткам,
в которых
«Интернационал»!

Мы жили.
Ветер
свистел в ушах.
Земля
светилась в восторге!..
Мы
жили!
Мы сделали
первый
шаг,—

завидуйте нам,
потомки!
Не стоит хитрить,
будто мы вам
не очень завидуем.

Но зависть такая
бессильной
не кажется пусть!
Уже прогудели
сквозь время
гудки
басовитые!

Все точно.

Планета Земля
отправляется
в путь!

Товарищи
дальнего века!
Родные товарищи!
Завидую я
послезавтрашним краскам
Москвы,

завидую морю,
вечерней заре
остывающей,
дорогам степным,
по которым проходите
вы.

Завидую солнцу,
оно
обожжет ваши лица.
С нездешнею грустью
гляжу на любую
звезду...

Но мы еще
будем!
Вы слышите?
Мы
повторимся
в три тысячи первом —
запомните это! —
году!

Появимся запросто.
«Здравствуйте!» —
скажем векам.
Такие ж, как прежде,—
восторженные
и безусые.

Мы вашим,
потомки,
сердцам,
вашим
рукам
доверим бессмертье —
доверим
свою Революцию!

Роман

Владимир ОРЛОВ

Соленый арбуз

Рисунки В. Юдина.

18

Ветер бил в глаза. Бил чем-то белым и мокрым. Букваря ветер не интересовал. Ветер был не страшен, он не мог рассказать о Николае ничего плохого. Он только мог свалить с ног.

Букварь шагал быстро и неистово топтал старые ветки, бархатный мох и оранжевые цветы. Он знал, что будет идти так три часа, а потом свернет с дороги влево, к палатке, и у палатки посмотрит в большие черные глаза Николая. И если Кешка наврал, если Кешка решил пошутить, если Кешка позволил оскорбить человека, придется шагать еще три часа, три часа обратно, и потом найти Кешку, который жрет сейчас желтые соленые огурцы с толстой кожей и ежеминутно вытирает лицо розовым полотенцем, подойти к нему и молча дать в рожу.

А если не за что?

Букварь остановился.

Нет, нет и нет! Есть вещи, которым нельзя верить. Нельзя перевернуть небо. И все же Кешкины слова не выходят из головы, выворачивают наизнанку все, что стройно и четко улеглось после разговора с Зименко.

Нет, им нельзя верить, этим словам! Нельзя!

— Ты что, очумел, что ли? Я кричу, кричу...— схватил Букваря за локоть ватника худой, костлявый парень. У него была мокрая губа, и он часто шмыгал носом.— Где тут брод через Канзыбу?

— Там.— Букварь махнул рукой в сторону Канзыбы и, повернувшись, пошел от парня, пошел по своей трехчасовой дороге.

— Да погоди ты! Где там?

— Дальше. Влево такой желтый съезд. Песчаный.

— Погоди! Где ж я его найду? Я ж из Минусинска...

Парень держал Букваря за мокрый рубчатый локоть ватника и не отпускал. У него были ноющие, испуганные глаза и тонкие плаксивые губы неудачника.

— Покажи,— жалостно попросил парень.

Букварь машинально повернул за ним и увидел, что идет по грязи, увидел, что впереди, метрах в тридцати от них, стоит новенький «ЗИЛ» с серо-зелеными бортами.

— Я ж ничего тут не знаю... Из Минусинска я...

«ЗИЛ» продвигался медленно, парень ерзал на сиденье, матерился и все оборачивался в сторону Букваря.

— Здесь?

— Я скажу.

«Конечно, Кешка любит врать,— думал Букварь.— Но он не так относится к Николаю, чтобы врать о нем». Букварь почувствовал, что Даша ему неприятна, хотя он совсем и не знал ее. Но, наверное, та, если та существует, похожа на Дашу, и у нее, наверное, такая же толстая коса. И Букварь вспомнил другую машину, и другого шофера, и слова: «Все такие, все так просто...»

— ...и этот пристал и тот. Орут. До вечера. Сообщить обо всем Дьяконову!.. Ну и сообщайте сами!

— Кому? Что? — спросил Букварь.

Продолжение. Начало см. в № 9 за 1963 год.

— Я ж говорю, они одурели. По такой погоде добраться к Дьяконову! Знаешь Дьяконова?

— Откуда? Что я ему, родственник, что ли? Знаю, что за Канзыбой. Взрывники.

Шофер снова стал материться, и его тонкие губы вздрагивали от обиды. Ругался он так, словно ныл, словно ему всегда не везло, и сегодня не повезло, и никогда не повезет.

...Надо будет отвести Николая из палатки к мокрым еловым пням или к тем камням, откуда хорошо слушать Канзыбу, и поговорить с ним так, чтобы Ольга ни слова не узнала. Но там, на камнях или у пней, будет темно, и он не сможет посмотреть в глаза Николаю, а без этого он ничего не узнает.

— ...Кустов с меня шкуру сдерет, чтоб он...

А если Николай засмеется или начнет улыбаться, он, Букварь, тоже не сможет не улыбнуться, не заставит себя.

— Теперь налево,— сказал Букварь.

Кешка сидит сейчас со своим розовым полотенцем и, причмокивая, пьет янтарный медовый квас. Он должен сидеть так шесть часов, шесть долгих часов, чтобы Букварь смог вернуться и расквитаться с ним за все. За того шофера. За Зойку. За Николая.

— Ну? — спросил шофер.— Как насчет переправы?

Букварь поднял глаза и вздрогнул от неожиданности. Он рванул ручку дверцы и выпрыгнул на дорогу. Бежал по мокрым камням съезда, слышал, как топочут сзади сапоги шофера, бежал, пока не остановился в пяти метрах от воды.

Канзыба взбесилась. Гнала мутную коричневую воду, рвалась к Кизиру, расползалась от бешенства, леденила стволы деревьев, ломала ветви, быстрая, широкая, в добрых двести метров.

— Еще позавчера,— сказал Букварь,— в сапогах переходили.

— Как же быть? Как же я...

Шофер шмыгнул носом, испуганный и жалкий.

Букварь стоял в пяти метрах от воды и не мог оторвать глаз от коричневой летящей реки. Пришел день Канзыбы. Целый год ждала она, когда ледяные горные потоки сделают из нее настоящую, широкую реку, готовую гонять пароходы. И вот, когда этот день пришел, Канзыба хотела, чтобы все: люди, тайга и звери в тайге — увидели, какая она, услышали, какая она, почувствовали, какая она. И она ревела, брызгами расшибалась у камней, гнала бревна, траву, цветы и расползалась, расползалась от бешенства и жадности.

Темно-зеленая тайга стояла на сопках, по берегам, притихшая, настороженная. Словно побаивалась, что эта чертова Канзыба выкинет такое, о чем придется помнить долгие годы, хранить эту память в стволиных кольцах.

— Как же быть? Как же...

— Ждать,— сказал Букварь.

— С меня же шкуру сдерут...

— Дня четыре...

— Ты что!

Букварю стало жалко шофера, и он сказал:

— Метров через четыреста был еще брод.

Конечно, и там, наверное, Канзыба стала уже судоходной, и шофер должен был это понять, но он ухватился за соломинку.

— Кустов сказал мне,— уже в машине, уже на ходу объяснял шофер,— хоть вплавь, но доберись!

— Ну-ну,— сказал Букварь.

Ему стало смешно, когда он представил человека, пытающегося переплыть это летящее мутное море.

— Вчера двое на машинах хотели через Тубу,— начал шофер.

— У одного были пряники?

— Пряники...— сник шофер.

— Сворачивай.

Тот берег был низкий, и вода плескалась у самой дороги к взрывникам. Еще позавчера от этой дороги до берега надо было шагать и шагать.

— Понял? — спросил Букварь.

— Как же мне быть?..

— Ничем не могу помочь. Мне надо идти.

Букварь вспомнил о своей цели и о том, что ему еще нужно будет вернуться на Тринадцатый километр, где сидит Кешка со своим розовым полотенцем.

— Мне надо идти.

Он пошел по размытой дороге вверх, но шофер догнал его и снова схватил за рубчатый локоть.

— Постой! А как же я?

— Пошли ты к черту своего Кустова!

— Как же быть?..

— Через четыре дня.

— Дьяконов сегодня взорвет скалу. Или завтра...

Шофер медленно опустился на мокрый камень и застыл, сложив руки на коленях.

— Это все проектировщики,— пробормотал он,— это все проектировщики...

Букварь почувствовал, что этот ноющий человек, напуганный каким-то Кустовым, вызывает у него брезгливость.

— Слушай, брось ныть! Поезжай обратно и передай своему Кустову привет от Канзыбы. И от меня.

— ...пришла телеграмма из Москвы. Отменить взрыв. Полотно пройдет ближе к Канзыбе...

— Как тебя зовут? — спросил Букварь.

— Николай...

Николай сейчас сидит за столом. За зеленым щербатым столом. И все сидят за столом. И Ольга разливает горячие щи. А Николай смеется и подмигивает Ольге.

— Знаешь, пошли вы все к черту! И ты и твой Кустов! У меня есть дело.

Он пошел, и снова шофер схватил его за мокрый рубчатый локоть.

— Телефонная связь нарушена с Дьяконовым...

«Значит, Зименко сидит сейчас у Дьяконова,— подумал Букварь.— Если бы встретить его и сказать ему: «Знаешь, есть у меня друг...»

— Пойми,— сказал шофер,— я же не для себя. Не потому, что боюсь Кустова... Ты не думай. Но зачем взрывать скалу, а потом неделями снова возить аммонал, мучиться, чтобы взорвать другую...

— Это ни к чему,— сказал Букварь.— Только чем же я могу тебе помочь?

Шофер опять устало опустился на мокрый камень. Сказал глухо:

— Ничем.

— Знаешь что...— подумав, сказал Букварь.

Шофер поднял голову. Букварь расстегивал ватник, и черные кружочки пуговиц быстро выскакивали из прошитых петель. Букварь сказал:

— Подержи.

Шофер взял ватник и, глядя под ноги, думая о чем-то своем, пошел за Букварем. Они спускались по размытой гальке медленно, потому что Букварь не спешил, шел нарочито спокойно, словно нужно ему было еще раз проверить, какого цвета в Канзыбе вода. Без ватника было холодно, и по коже бежали мурашки. Букварь ступил в воду, ржавая вода стала бить по сапогам, злая, настойчивая, хотела испугать его, отбросить, свалить. Букварь подумал, что в сапогах у него ничего не получится.

Он отступил на несколько шагов и на гальке, перемешанной с потемневшим песком, стал стаскивать

сапоги. Портянки были мокрые и черные, и Букварь удивился тому, что сапоги успели промокнуть. Канзыба шумела чуть-чуть потише, будто довольная, что оч вышел из ее воды. Шофер стоял молча и вдруг очнулся.

— Ты чего?

— Ничего.

— Ты брось! Не надо! Это ты из-за меня...

— Почему из-за тебя? — обиделся Букварь.— Просто зачем на самом деле взрывать не ту скалу?

Он стоял, переступая с ноги на ногу, потому что камни леденили ему пятки. Он улыбался. Шофер был старше, но Букварь смотрел сейчас на него сверху вниз, как на ребенка, и улыбка у него получалась покровительственная. «Вот так же смотрит на меня Николай...»

— Нечего время тянуть,— нахмурился Букварь,— у меня еще есть дело.

— Погоди,— сказал шофер,— тогда возьми записку. От Кустова. Без нее нет смысла...

Букварь пошарил в ватнике, вытащил комсомольский билет, упрятал записку Кустова, отпечатанную на машинке, в хлорвиниловую обложку и засунул билет в карман ковбойки.

— Ну, ладно.

Опустив глаза, стараясь не глядеть на бесновавшееся перед ним ржавое море, он пошел к воде. Он не любил входить в холодную воду.

19

Букварь думал, что ему скорее нужно войти в воду, в мутную, быструю воду, и тогда станет тепло, и тогда не будет на длинных ногах мурашек. Во всяком случае, их уже не увидит шофер.

Ему никогда не приходилось стоять в ледяной воде. Он знал, что такое кипяток. Сейчас он стоял в кипятке. Он стиснул зубы и скрипел зубами. Он не шагал — он медленно передвигал ступни вперед, и кипяток хватал кожу все выше и выше. Он не чувствовал, что у него под ногами — камни или песок. Он чувствовал только ожоги. «Долго так будет жечь?» — подумал Букварь.

Он прошел еще один метр, и его сбило с ног.

Обожгло всего, но уже через мгновение Букварь не помнил об этом. Он ничего не помнил. Канзыба схватила его, крутила, волокла, била о что-то мягкое и твердое, совала в рот свою грязную, ломившую зубы воду. Ноги у Букваря тащились по дну. Он толкнул ногами убегавшее дно и, спружинив, вынырнул на поверхность.

Слева по берегу бежал шофер. Он размахивал руками и что-то кричал. Его несло назад, он бежал на месте и становился маленьким. Назад несло тайгу, несло берег и скалы на берегу.

«Это меня несет,— подумал Букварь,— как бревно. И так донесет до Игарки, а потом и до Ледовитого...»

Слева проплыла скала и спрятала шофера, продолжавшего бежать на месте.

«Главное, что я держусь. Что я оттолкнулся ото дна».

Надо было плыть, надо было перечеркнуть бешеную Канзыбу, перечеркнуть всю ее от берега до берега. Букварь повернулся в воде, теперь его несло лицом к правому пологому берегу. Он пробовал плыть кролем, опустив глаза в воду, работал прямыми, чуть согнутыми в коленях ногами, плавно выносил из воды руки с расслабленными кистями.

Он быстро выдохся. Вода плескала в рот, сбивала дыхание. Букварь остановился, откашлялся, решил, что надо плыть брассом.

Гребки его стали ритмичными и сильными, он выдыхал воздух резко и, фыркая, не закрывал глаз, когда опускал лицо в воду, и самое главное — видел правый берег, зеленую щетину и желто-бурую полоску дороги.

Он выбрал маяк. Маяком стала сосна, росшая чуть ниже желто-бурой полоски. Сосна стояла в воде.

Букварь плыл долго, фыркал, видел перед собой выныривающие из воды пальцы. Пальцы казались чужими, пальцами водяного. «Наверное, шлепаю уже полчаса». Он устал, но был спокоен. До тех пор, пока не поглядел назад.

Тогда он испугался. Берег был рядом, метрах в двадцати за его спиной, ржавые, бурые камни, словно крашенные канзыбинской водой.

Значит, все это время он никуда не плыл. Просто барахтался на месте. Все свои силы потратил на то, чтобы продержаться на воде...

И тогда он понял, что полез в воду зря. Канзыба была настроена серьезно. Он продолжал работать руками, продолжал по инерции, понимая все свое бессилие, бессилие маленького человека, пытающегося спорить с шумящим потоком, способным смести все, что встречается на его пути. Муравей пытался остановить валун, катившийся с горы.

Букварь обругал Канзыбу и себя. К черту! Сил у него осталось для того, чтобы доплыть эти двадцать метров до берега. Надо повернуть!

Но он не повернул. Видел перед собой сосну, стоявшую по колено в воде, и плыл к ней.

Он был злой, даже взбешенный. С ним это случалось редко. И лицо у него было злое и упрямое. Но лицо могла увидеть только Канзыба, и она, наверное, увидела это лицо и не стала добрее.

Он решил считать гребки и решил, что когда досчитает до тысячи, тогда он разрешит себе оглянуться и увидеть ржавые, бурые камни.

Он повернул чуть-чуть влево, чтобы переплыть Канзыбу наискосок, по течению, чтобы использовать ее энергию. Бороться с ней было бессмысленно. Он был согласен пробежать пару лишних километров по размытой дождем дороге.

Букварь все считал гребки и пытался успокоить себя. Он понимал: злостью и бешенством он не сможет победить Канзыбу. И он отталкивал воду расслабленными руками, лениво, как бы нехотя. Как будто он шутил с Канзыбой.

Было непривычно и тяжело плыть в одежде. Рукава то разбухали, наполняясь водой, то опадали, как спустившая камера. Они были скользкие и тяжелые.

В бок и в лицо Букварю иногда тыкались ветки, пучки травы и помятые цветы. Он видел, как вода проносила прямо перед его глазами серые комки — мышей, птенцов или зайчат,— и к горлу его подступала тошнота.

Он опасался встретиться с вывороченными из земли деревьями. Они могли задержать его, нарушить налаженные с таким трудом ритм и дыхание и сбить со счета. И тогда надо было бы начинать счет сначала.

Букварь опасался за свои руки. Они могли подвести его. Он чувствовал, что руки устали и что мускулы их уже побаливают, как побаливали после перенапряжений на тренировках.

Он досчитал до девятисот и заволновался. Он считал все медленнее. Он боялся досчитать до тысячи. После этого надо было обернуться, и он мог увидеть те же ржавые, бурые камни в двадцати метрах за своей спиной.

Правый берег как будто стал ближе, но, может быть, это только казалось. Сосны, стоявшей в воде, он уже не видел, его давно отнесло течением. Он решил, что если опять увидит камни сзади в двадцати пяти метрах, то будет считать еще до тысячи, и потом до десяти тысяч, и потом...

Букварь досчитал до тысячи и обернулся. Он был на середине реки.

«Ничего,— подумал Букварь.— Все-таки можно остановить валун».

Он хотел отдохнуть на спине. Но у него не было времени, и он не разрешил себе отдыхать.

Он досчитал еще до тысячи. К правому берегу плыть оставалось теперь метров пятьдесят. Руки болели, работали медленно. «Дорога ползет у самой воды»,— подумал Букварь.

И тут у него свело ногу.

В икру вцепился клещ, стянул все мускулы и нервы ноги в крутой желвак.

Букварь испугался. У него никогда не сводило ноги, и он не знал, что делать. Он щипал ногу, царапал ее, но желвак не расходился. Канзыба крутила Букваря, несла, мотала, как лодку, потерявшую управление.

Надо было плыть, волоча предавшую его ногу, работая одними руками. Он бился из последних сил, бился, как ему казалось, полчаса, а может быть, час, пока не доплыл, пока не дополз до зеленого правого берега, над которым бежала дорога.

Но Канзыба не отпускала его. Игра с ним доставляла ей удовольствие. Она бросала Букваря к самой траве, к кустам, к земле, и, когда он попытался выпрямиться и встать, хотя бы на колени, она с ревом валила его и тащила обратно. И все-таки, когда Канзыба тащила его обратно, он перехитрил ее, прикинулся безвольным, расслабленным, и сам, собрав все, что было в его мускулах, вцепился в тощий куст и застрял, и Канзыба, обманутая им, через секунду сама подтолкнула его к траве.

Теперь он был уже на земле и пополз по ней, с трудом подтягивая сведенную ногу. Канзыба уже ничего не могла с ним сделать, только со злостью била его по ногам, но сейчас она уже казалась ему смешной.

Букварь лежал молча, лежал долго, ни о чем не думая, просто уткнув лицо в мокрые зеленые травинки.

Он хотел спать. И он заснул бы, если бы ему не показалось, что откуда-то снизу, из-под земли, он слышит приглушенный крик.

Он поднял голову и на том берегу увидел маленького человечка. Человечек бежал, размахивая руками.

Букварь встал и тут же опустился на землю от боли в ноге. Он долго растирал ногу, колол ее, щипал ее, растирал, пока клещ не разжал свои челюсти. Тогда он встал снова, достал из кармана рубашки синюю хлорвиниловую обложку и вытащил из нее записку Кустова. Записка чуть-чуть подмокла. Букварь помахал белым клочком бумаги над головой. Он хотел, чтобы шофер успокоился.

Букварь выбрался на дорогу, грязную и узкую, и только тут почувствовал, как ему холодно. Его трясло.

До взрывников было километров восемь, и все эти восемь километров надо было бежать. Иначе можно было замерзнуть.

20

Дьяконов стоял, расставив ноги. Он кричал:

— Ты идиот! Ты думаешь, тебе дадут медаль? Покажи мне того дурака, который даст тебе медаль!

Дьяконов был сделан из жести. У него были серые жестяные глаза и худое жесткое лицо. Брезентовый плащ сидел на нем колом, ломкий и пересушенный, и мог, наверное, греметь, изображая грозу. Дьяконов стоял, расставив ноги в жестяных сапогах, и кричал:

— Ты думаешь, жизнь человечья ничего не стоит? Что она дешевле скалы? Да черт с ней, с этой скалой!

— Я...— робко начал Букварь.

— Молчи! Что ты можешь сказать! Нет тебе оправданий! Герой! Ты видишь этот телефон? Так вот он работает. И утром я говорил с Кустовым. Насчет этой самой скалы.

— Так как же...

— А вот так же!

Дьяконов ходил по комнате, от печки до стены и обратно. Когда он отходил от печки, Букварь видел его брезентовую спину, длинную и худую.

— Ладно,— сказал Дьяконов. — У меня нет ни водки, ни спирта. Я такой странный. Только коньяк.

Дьяконов вытащил из-под кровати две высоких бутылки со звездочками. Всего звездочек было десять. Еще Дьяконов достал штопор и два зеленоватых стакана.

— Раздевайся,— приказал он.

Букварь улегся на жесткой постели, и мокрые руки Дьяконова поползли по его спине. Руки пахли коньяком. Они работали ловко, как руки опытного массажиста. Букварь никогда не видел массажистов. Но подумал, что они рабстают именно так.

— Вставай,— сказал Дьяконов.— С тебя достаточно.

Лежали на табуретке ватник, ватные брюки, свитер, а внизу стояли сапоги. Букварь оделся, но от горячей печки отходить не хотелось.

— Иди сюда,— сказал Дьяконов. Он разливал в стаканы коньяк.

Дьяконов расстегнул плащ, выглянул яркий красный шарф, и плащ перестал быть жестяным. И глаза у Дьяконова оказались совсем не жестяными, не серыми, а теплыми и голубыми.

— За знакомство. За форсирование Канзыбы.

Букварь выпил стакан залпом.

— Ну и лето! — сказал он.

Хлопнула дверь, впустила стонущий ветер, трое в жестяных плащах остановились у печки. Дьяконов подошел к ним, и они стали говорить о шпурах, о запалах и о сжатом воздухе. Букварь видел, что эти трое все время поглядывают на него с любопытством, и от смущения ерзал на хромой табуретке. Дьяконов вернулся и сказал:

— Ты сиди. Сейчас поговорю по телефону.

Он вызвал Кошурниково.

— Мотовилов? — сказал Дьяконов.— Это говорит начальник летучего взрывотряда номер три Дьяконов. Привет. Нужен трелевочный. Да ты не спеши... Ты послушай... Не ори... Я тебе расскажу обстановку...

Дьяконов рассказывал обстановку. Обстановкой был Букварь. Букварь снова ерзал на табуретке, потому что Дьяконов рассказывал о нем, как о легендарном герое.

— Ты понял? Я все равно выторгую у тебя трелевочный еще на неделю. Жадный ты... Ну, я жду.

Потом Дьяконов вызвал Минусинск.

— Кустова! Кустов? Еще раз здравствуйте. Я получил вашу записку. Да, ваше распоряжение. Можете спать спокойно. Скала Смородиновая не упадет. Постоит еще. И вас не накажут. Я шучу? Нет, я не шучу. Каким тоном говорю? Вам слышнее. На всякий случай вам надо было застраховаться и иметь документ, подтверждающий, что вы отдали мне распоряжение не взрывать Смородиновую. И вот из-за бумажки вы обманули человека и послали его на верную гибель... Нет, он не погиб.

Дьяконов опустил трубку и стоял, помахивая ею. Трубка хрипела, рычала, внутри нее что-то билось и клокотало. Потом она стихла, и Дьяконов заговорил снова:

— Да, я помню, что вы мой начальник. Не забыл. Еще я не забыл, что я коммунист. И что вы называетесь коммунистом. У нас сейчас не такое время, чтобы из-за бумажки рисковать жизнью человека.

Дьяконов резко положил трубку на рычаг. Он снова стал жестяным. Он шагал от печки до стены и обратно. Шагал быстро, свернул стремительно в угол, к тумбочке, к стоявшему на тумбочке ящику. Открыл крышку, и ящик оказался магнитофоном. Дьяконов пощелкал коричневыми кнопками, бобины дернулись и пошли крутиться. Невидимый пианист ударил по невидимым клавишам. «Скрябин»,— решил Букварь.

— И зачем ты полез в реку! — сказал Дьяконов.

Он продолжал ходить. А Букварь подумал: на самом деле, зачем? Получилось глупо. Заставил хорошего человека тратить нервы, не на шутку схватываться с этим Кустовым. Букварь чувствовал себя неловко.

Дьяконов подошел к магнитофону. Остановил пианиста. Из тумбочки достал новую бобину и поставил ее. Магнитофон зашипел, зафыркал и вдруг взорвался, громко и раскатисто. Стекла зазвенели. Магнитофон замолчал, зашипел снова, стали слышны вой ветра, далекие голоса, крики, топот ног, потом наступила тишина, абсолютная, резкая, как глухота, и потом: тра-а-а-х!

— Взрывы,— сказал Дьяконов.— Я записываю все свои взрывы. Здесь записал уже почти тридцать.

Дьяконов ходил медленнее, спокойнее и подолгу стоял у магнитофона.

— Конечно, сначала все это кажется чепухой. Шум, и все. Но ведь симфонии тоже надо учиться слушать. Нет одинаковых взрывов. Разные заряды, разные породы, разные ветры, разные люди. Я различаю каждый шорох, каждое слово, сказанное шепотом, вижу каждую скалу, и каждую скважину на ней, и каждое лицо. Заново переживаю напряжение взрыва. Вспоминаю каждый раз: слева мы неправильно пробурили шпур. Этот шум не символ разрушения, он символ мощи людской.

Дьяконов стоял у окна, почти прислонив лицо к стеклу. Стекла становились синими.

— Видишь шрамы на лбу и на щеке? — обернулся Дьяконов.— И на теле есть рубцы. Хорошо, что меня бросило тогда в Томь. Хочешь послушать тот взрыв?

Он подошел к тумбочке и застыл у магнитофона.

— Нет, хватит взрывов. Послушай музыку.

В комнату ворвался лес, оживленный, многоголосый.

Потом многоголосье затихло, и над самым ухом Букваря запел соловей. Он пел, растягивая звук, негромко и тоскуя. Букварю стало грустно, и он вспомнил о своем Суздале. А соловей защелкал, заспешил, и песня его стала веселой и удалой. Стоял он, наверное, на березовой ветке, выпятив серую грудь, как первый парень на деревне.

— Это другой соловей,— сказал Дьяконов.— Я их много записал. Хотя и не очень люблю соловьев. Они виртуозы, но слащавые. Понимаешь, они салонные...

Пели другие птицы. Как в концерте, по очереди подходили к микрофону. Букварь слушал щегла, дятла, кукушку, дрозда, кулика и других птиц, ему незнакомых.

Где-то в фиолетовом вечернем небе или в кустах, густых, земных, родился тонкий, щемящий душу крик.

— Это иволга. Чаще она смеется, булькает, переливается. Помнишь у Пушкина: «Иль иволги напев живой»? А иногда тоскует. Каким инструментом можно передать ее тоску! И имя у нее какое — иволга. И-вол-га!

Потом, когда кнопка выключила лес, Дьяконов подошел к окну.

— Мы живем, заткнув уши ватой. Мы еще кое-как умеем видеть. Но не умеем слушать. Мы обкрадываем себя. Пытаемся открыть шестое чувство, не развив как следует традиционные пять. Знаешь, я мечтаю: когда-нибудь будут крутить вот такие пленки. Симфонии звуков: бой часов и пение птиц, взрывы и шум Канзыбы. Расширятся границы красоты. Почему бы не снять фильм о жаворонке? Полнометражный. С одной точки, из ржи. Синее небо, солнце и жаворонок в небе, его танец и его песни. И все.

Букварю захотелось полежать во ржи, слушая жаворонка, закрыв глаза, и чтобы ветер изредка и тепло шевелил волосы. И вдруг он вспомнил:

— А Зименко? У вас здесь должен быть Зименко. Он мне очень нужен.

— Зименко? Нет, его здесь нет.

Значит, Зименко не успел добраться до Канзыбы и сейчас, наверное, сидит в Кошурникове.

— Ладно, надо ложиться,— сказал Дьяконов. И добавил, помолчав: — А я бы тоже полез в Канзыбу.

21

Трелевочный затарахтел под окнами на рассвете. Букварь вышел на крыльцо. Высокий, худой Дьяконов в своем жестяном плаще суетился около трактора, поглаживая мокрый металл, и у него были глаза цыгана, которому понравился конь.

Из кабины трактора выскочил Эдик Зайцев с бледным небритым лицом, и Букварь обрадовался ему.

— Привет, Эдик!

— Привет, Букварь,— устало сказал Эдик.

Дьяконов ходил вокруг трактора, осматривал, причмокивал губами, покачивал головой, словно собирался сейчас назначить Зайцеву цену за трелевочный.

— Сплю и вижу этот трактор,— сказал Дьяконов.— Мне бы его на два дня. А то взрывчатку приходится таскать на руках. Через ручьи, а то и через Канзыбу. А? Может, получится?

Эдик замотал головой.

— Нет. У нас же там наводнение. Остров у нас там...

— Я знаю.

Только сейчас Букварь заметил, что комбинезон у Эдика мокрый до пояса и даже выше. Букваря знобило. Наверное, у него была температура, и он без

особой радости подумал о том, что ему придется снова встречаться с канзыбинской водой.

— Зайдем ко мне,— предложил Дьяконов.

Для профилактики выпили коньяка. Уже на улице Эдик сказал:

— Не знаю, как тебя пристроить. На щите тоже на-

мокнешь. Может, посадить тебя на крышу и привязать, чтобы не свалился?

— А сам ты будешь сидеть в кабине!

— Я привычный,— сказал Эдик.

— Я тоже привычный.

Эдик пожал плечами, а Дьяконов покачал головой. Букварь подумал, что температура у него, наверное, перевалила за тридцать восемь, и ему захотелось лечь. Но он подошел к трактору и залез в кабину.

— Поехали,— сказал Эдик.

Он уселся слева, трелевочный заурчал и медленно покатил мимо темно-коричневых домиков. Под соснами, под кедрами, похрустывая ветками, выбрались на узкую, покрытую черно-бурой кашей дорогу.

— Зименко в Кошурникове? — спросил Букварь.

— Там. Будешь курить?

— Нет. Спасибо.

— Он с бригадой Мамаева у моста. В воде. Мост спасают. Джебь тоже взбесилась.

Эдик прикуривал, а трелевочный урчал и пробирался между сосен и кедров, словно выдрессированный. Потом Эдик стал рассказывать о Кошурникове.

Вчера Кошурниково превратилось в остров. Джебь разлилась на все двести, затопила контору Артемовского лесозавода, прорвала трубу перед мостом и промыла галечную насыпь. На Большой земле в Артемовске остались все тракторы и все машины, кроме одного старенького самосвала. Прораб Мотовилов бегал по Артемовску и искал лодочника. Артемовские качали головами: они не сумасшедшие и не любители острых ощущений. И все же один нашелся. «За десять рублей в день»,— сказал. Мотовилов переплывал Джебь, стоя в лодке, посасывал мундштук, важный, как адмирал, вез на «остров» работников столовой. Но оказалось, что на «острове» нет хлеба. Из Артемовска к Джеби доставили фургон с хлебом и устроили его у трелевочного на спине. Трактор медленно форсировал Джебь. По воде плыла одна кабина. Эдик по грудь сидел в воде. Метрах в восьми от берега трактор остановился. Берег был обрывистый, и на «остров» Эдик забраться не смог. Тогда цепочка кошурниковцев спустилась к трактору. Эдик выдавал хлеб, а ребята уносили его на руках. По пояс в воде. По нескольку буханок каждый.

— Знаешь, когда бывает трудно,— сказал Эдик,— вспоминаю о Михалыче, ну об этом изыскателе, о Кошурникове, чьим именем станция названа. Это был коммунист... Вспомню о нем, и как-то стыдно становится... Вот и в те дни...

— Ага,— кивнул Букварь,— я тоже часто о нем вспоминаю. Помогает...

— Те буханки носили осторожно. Как снаряды,— улыбнулся Эдик.

Эдик улыбался редко, а улыбка у него была детская.

— Ты не спал ночью?

— Много тут поспишь! — проворчал Эдик.

Букварь вдруг захотел спросить Эдика, видел ли он Зойку и как там она, но не успел. Трактор вздрогнул и остановился. Впереди была Канзыба.

Эдик вышел из кабины и под дождем, засунув руки в карманы потрепанного комбинезона, походил по травянистому берегу, соображая что-то рассеянно, всем своим видом показывая полное пренебрежение к Канзыбе и ее бешенству, потом сплюнул непочтительно в ржавую воду и вернулся.

— Ладно. Будем считать, что ям здесь нет.

— Раньше тут был приличный брод.

Трактор тронулся мягко и не спеша, накренился вперед, и Канзыба лизнула его. Букварь напрягся, ухватился руками за сиденье, приготовился, стиснув

зубы, драться с Канзыбой, тупой и неутомимой, которую он победил вчера и которая не забыла об этом поражении. Ее день, единственный день в году, продолжался, и в этот день она не прощала обид.

Но трактор шел, не обращая никакого внимания на Канзыбу, упрямый и спокойный. Канзыба злилась, била по гусеницам, брызгалась и грязными холодными каплями залетала в кабину. А трактор шел и шел, относясь к ней с пренебрежением, которому он научился у своего хозяина.

Букварь приготовился к тому, что Канзыба будет выкидывать штучки, зло шутить, крутить трактор, волочить его по течению. Но трактор двигался уверенно, упираясь стальными лапами в землю, и река его беспокоила мало. И, когда Канзыба поняла, что с трактором ей ничего не сделать, она принялась за людей.

Она поползла по полу кабины ржавыми струйками, огибавшими сапоги. Потом трактор чуть-чуть вздрогнул и опустился, и Канзыба ворвалась в кабину, била по ногам, шумела, устроив в кабине свою протоку. Букварь подтянул ноги и держал их на весу, а потом скосил глаза в сторону Эдика. Эдик сидел неподвижно, с напряженным металлическим лицом, приросший к рулю. Ноги его стояли в воде. Букварь опустил ноги.

Вода медленно и равномерно подымалась, мутная, быстрая, дошла до колен, леденила тело. «Ну, и черт с ней!» — успокоил себя Букварь. А вода забиралась неотвратимо, как гангрена, и Букварю на секунду стало страшно. Вода обожгла живот, поднялась до груди. Краешком своим щекотала кожу под карманом рубашки...

Букварь посмотрел на Эдика. От него остались только плечи, руки на руле и голова. Как в фокусах Кио. Букварю стало смешно. Он захохотал.

— Надо мной? — серьезно спросил Эдик.

— Над Канзыбой! Чувствуешь, испугалась!

— Чудной ты,— сказал Эдик.

Вода отступала, опускалась, убегала из кабины. Теплее от этого не становилось, но стало веселее. Трактор подбирался к берегу, к серой галечной плеши в ржавых острых камнях. Эдик уже не был таким серьезным и собранным и начал ворчать:

— А теперь еще плестись в Кошурниково и там плавать...

Он ворчал, ругался и вспоминал, в каком симпатичном доме жил в Кунцеве, с палисадником и телевизором, и как удобно было ездить на работу в Москву в утренней переполненной электричке.

— Как тебя дальше везти?.. По насыпи?..

22

По насыпи шагали слоны.

Слоны были разноцветные: голубые, зеленые, красные и оранжевые, как жарки. Слоны шагали, и после каждого их шага на насыпи оставались шпалы. Букварь попытался пересчитать слонов. Но у него ничего не получилось. Он не хотел, чтобы слонов оказалось семь. Семь слонов стояли на комоде его суздальских соседей Мышлаковых и обозначали счастье.

Синий слон сплюнул, выругался, сказал «Хорошенького помаленьку!» и сошел с насыпи. Букварь крикнул ему: «Погоди!» Слон обернулся, и тогда Букварь увидел, что у него нет хобота, а лицо — Бульдозерово. Только уши болтались слоновьи и синие.

Букварь бежал за слоном, за синими ушами, бежал долго и, когда догнал, на Бульдозеровом лице вырос синий хобот и отбросил Букваря назад.

Слон хохотал, стоя на задних ногах, подперев передними круглые бока, хохотал и орал на всю тайгу: «Все вы такие! И Николай такой!»

И тогда Букварь вспомнил, куда он шел. Он побежал. Замелькали перед его глазами ветви, коричневые стволы, мокрые мелкие листья. Букварь спешил, топал сапогами, несся, сжав кулаки. И тут встала на его пути Канзыба.

Противоположного берега не было видно. Вода, переваливаясь через камни, траву и цветы, мчалась на Букваря, готовая схватить его и бросить на дно. Букварь пятился, спотыкался о камни, и, когда ржавая вода была уже в двух метрах, он споткнулся еще раз и упал, опрокинувшись на спину.

Он увидел: рядом на камне сидел худой Дьяконов в жестяном плаще с удочкой в руках и ловил в Канзыбе рыбу.

«Я ловлю не рыбу,— обиделся Дьяконов,— у меня на леске магнитофон. Я записываю рыбьи разговоры. Утром мне повезло. Утром рыбы пели. Я прокручу пленки в концертном зале. Мы живем, заткнув уши ватой. Видишь, у тебя торчит вата?»

Дьяконов нагнулся и стал вытаскивать вату из ушей Букваря. Он вытаскивал долго и красиво, как фокусник. Потом он начал тащить вату у Букваря изо рта. И тут Букварь увидел, что это никакой не Дьяконов, а самый настоящий Зименко да еще в чем-то белом. «Ничего себе горлышко,— сказал Зименко.— У него ангина. Просто ангина. Она пройдет».

Вата вытягивалась и вытягивалась вверх и где-то высоко-высоко превращалась в жарки. Цветы собирались вместе в оранжевую кучу и висели над землей круглым теплым шаром.

Шар покачивался, словно танцевал, и пел шепотом: «Ты хотел говорить с Николаем, ты хотел...»

Букварь вскочил и побежал снова. Он увидел Николая. Николай сидел на скале, на самой ее вершине, на каменной тарелке, в шинели, свесив ноги в начищенных сапогах. Букварь подбежал к скале и начал карабкаться по камню. «Три точки. Не забудь про три точки». Сверху говорил репродуктор. Букварь карабкался, иногда помогал себе зубами. Над ним висели сапоги. «Все такие!» — заорал где-то сзади Бульдозер. Букварь обернулся и вдруг понял, что сорвался и летит вниз. Он летел со свистом и кричал, знал, что сейчас врежется в землю, в деревья, в камни. Но земля не приближалась к нему. Наоборот, она уплывала от него, становилась все меньше и меньше, превращалась в голубой шар размером с арбуз.

«А как же Ольга! — закричал Букварь.— Как же теперь Ольга!» Он почувствовал, что на лбу его выступил холодный пот, и подумал: «При чем тут Ольга? При чем тут Ольга?..»

23

— Ты лежи,— сказала Ольга.— Ты лежи. У тебя ангина. Просто ангина. Она пройдет.

Брезентовый потолок над головой поднимался вверх под наклоном, резкий, натянутый, как доска, и по нему что-то стучало глухо и шурша скатывалось вниз.

— Дождь. Все еще дождь.

— Ага, дождь,— кивнула Ольга.

Она сидела рядом, у его кровати, на высокой табуретке, держа в руках остроносого Буратино. Потрескивали в железной печке березовые дрова, их там, наверное, было много, и печка трудилась и гудела, добродушная и довольная.

— Мы уж испугались,— улыбнулась Ольга,— ты все бредил и стонал. Но утром был врач, и он успокоил. Врача вызвал Дьяконов, и добирался он на трелевочном. Врач хотел посидеть с тобой, но уж я вызвалась, потому что у него дел много в Кошурникове. Он оставил тебе таблетки. Аспирин и еще что-то...

— У меня, наверное, была высокая температура. Я очень плохо переношу высокую температуру. Бред начинается и всякая такая ерунда... Потом вспоминать стыдно...

— У тебя было тридцать девять и пять...

— Ну вот,— расстроился Букварь,— конечно, я нес бред! Всегда так... Просто я такой неудачный!

Ольга засмеялась почему-то, и неслышно стало, как шуршит по натянутой брезентовой крыше дождь. Пластмассовый парень в черных штанах уселся на подушку, и желтые тяжелые башмаки его уперлись прямо в лицо Букваря.

— Пусть он пока посидит с тобой. Я буду готовить обед. Ты ему расскажи что-нибудь.

Брезентовая дверь дернулась за Ольгой и застыла, успокоившись. Букварь вытер ладонью со лба холодный пот, рука была слабая и медленная. Температура упала, отыгралась, но Букварь чувствовал себя усталым, и вставать не хотелось. Он часто глотал слюну, потому что горло у него пересохло, а глотать было больно.

Букварь подумал, что приключилась смешная история. Можно было и не мучиться в бреду и не валяться сейчас, да еще с больным горлом. Букварь пожалел, что полез в ржавую Канзыбу и переплывал ее. Но потом он решил, что думать так глупо, что вообще глупо жалеть о чем-либо «после драки».

И все же получилось смешно. Если бы телефонная связь на самом деле была нарушена, поступок его назвали бы нужным и оправданным. Даже, чего доброго, подвигом. Но телефон работал. И выходило, что тот же самый поступок оказался глупым и бессмысленным. Дьяконов даже ругался!

«А Кустов! — подумал Букварь.— Это же, верно, негодяй!..»

— Букварь! Надо иметь совесть. Буратино сидит и скучает.

Ольга стояла у печки, и у нее в руках были дрова. Короткие, колотые мелко, они пахли Кешкиной баней. Ольга наклонилась к печке, худенькие березовые поленца укладывались в огонь. Рот у печки был красно-оранжевый и прямоугольный. Букварь смотрел на Ольгины руки и на лицо и как будто видел ее в первый раз.

Она ему очень нравилась. Лицо ее озарял березовый огонь, и глаза ее светились, отражали рыжее прыгающее пламя. А движения ее подчинялись какому-то музыкальному ритму, в них не было ничего лишнего, неуклюжего, они были свободные и пластичные.

Она стояла сейчас совсем рядом, тоненькая, с модной фигурой, как определил Виталий Леонтьев, хрупкая на вид. Но Букварь знал — руки она пожимает, как парень. До боли. С детства Ольга предпочитала компанию мальчишек. Бегала в брюках, с саблей и автоматом в руках, пела «Послушай, Боб, поговорим короче, как подобает старым морякам», играла даже в футбол, вратарем. И выросла озорной и женственной, и такой, что ребята на трассе никогда в ее присутствии не ругались матом и не рассказывали «веселых» анекдотов. «Девчонка!» — с уважением подумал о ней Букварь.

— Ольга, посиди на этой табуретке.

— Погоди, Букварь. У меня там борщ.

Дождь шуршал и шуршал по брезенту, и Букварю стало скучно. И он вспомнил, как спешил позавчера с Тринадцатого километра и зачем спешил. И снова поползли тоскливые мысли, и был нужен разговор с Николаем, чтобы вычеркнуть их навсегда.

Забухали у палатки тяжелые сапоги, застучали о деревянный столбик, сбрасывали с себя комья налипшей грязи, стряхивали дождевые капли. Вернулись с просеки ребята.

Букварь быстро повернулся на правый бок, уткнулся носом в брезентовую стену.

— Букварь, ты спишь?

— Нет,— не сразу, неуверенно ответил Букварь.

Он обернулся. На табуретке у кровати сидел Николай. За ним стоял мокрый улыбающийся Спиркин. И Николай улыбался.

Улыбка у него была та самая, от которой у людей улучшалось настроение и становилось тепло на душе. Тепло это рождалось в больших коричневых глазах, обведенных сверху густыми антрацитовыми бровями. Эти глаза обезоруживали и успокаивали.

Букварь приподнялся на локте и заулыбался. Он понял, что никакого разговора не будет, что эти прямые глаза не могут обманывать, что все Кешкины слова — ерунда, глупая и нелепая шутка. Он смеялся, обезоруженный и успокоенный.

— Мы сегодня повкалывали! — сказал Спиркин.— Договорились с Мотовиловым, что, пока уж торчим из-за погоды здесь, будем рубить просеку за Бурундучьей падью.

— Это мы из-за меня здесь торчим! — расстроился Букварь.

— Да брось ты! — сказал Николай.— И не думай. Мы представили, что ты с нами, и работали сегодня за пятерых. Ты спи.

Букварь дремал, когда пришли Виталий и Кешка.

Сквозь сон, сквозь теплую ватную дрему он услышал их голоса, тихие и далекие. Букварь раскрыл глаза и у палаточной двери увидел Виталия и Кешку. Оба они были в грязных, намокших ватниках и курили. У Виталия была ссадина на щеке, а Кешка держал правую руку за спиной, словно прятал что-то.

— Привет, Букварь! — обрадовался Кешка.

Они подошли к Букварю. Кешка продолжал держать руку за спиной, и вид у него был многозначительный.

— Вот, Букварь, держи,— сказал Кешка.

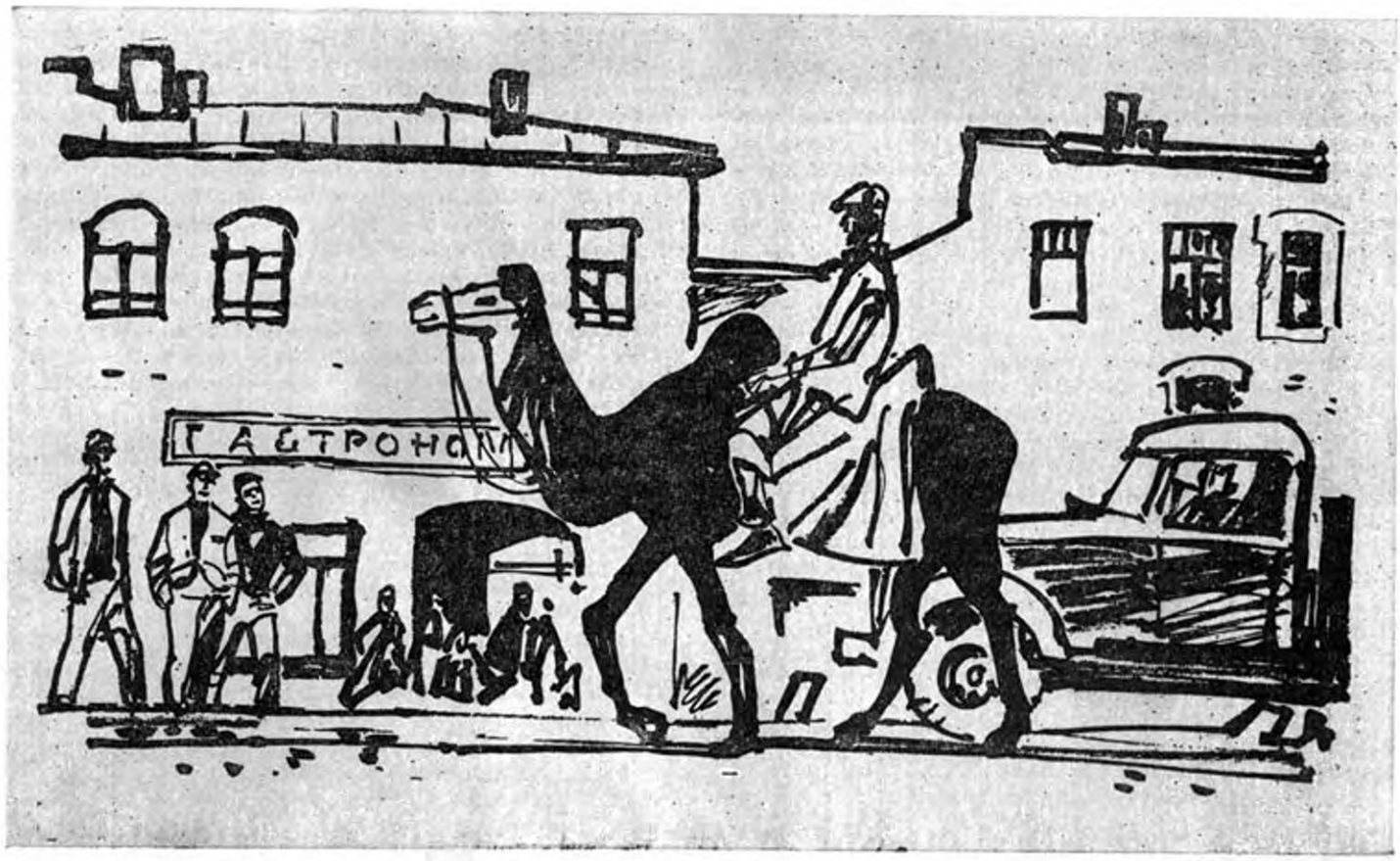
На ладони его лежал крохотный букет мелких незнакомых Букварю цветов.

Цветов было пять. Тонкие стебли и узкие хрупкие листья были покрыты белым коротким ворсом.

На волосатых стеблях сидели белые звезды. Звезды были многолучевые, лепестки-лучи их в своем белом цвете несли голубые и зеленоватые оттенки. Цветы были скромные, но только на первый взгляд и издалека. Когда Букварь всмотрелся в них, он удивился благородству и нежности белых звезд. Оранжевые жарки тайга «ковала» молотом в кузнице, а эти цветы вышли из ее ювелирной мастерской. Букварь вопросительно поднял глаза.

— Эдельвейсы,— сказал Виталий.— Эдельвейсы.

Букварь попытался вспомнить стихи об эдельвейсах, которые он читал когда-то, но не смог и вспомнил вдруг пьесу Гюго, и даже не пьесу, а фильм, поставленный по ней. Он увидел высокого, гордого



испанца, воюющего со скалами, с камнями и горными ручьями для того, чтобы принести осторожной королеве пучок голубоватых звезд, любимых ею, и упасть без сил у ее ног.

— И вы... Вы их искали долго... Где вы их...

— Да там... Мы ходили к скалам,— небрежно сказал Кешка.

— Вообще-то они редкие,— объяснил Виталий,— а на Саянах встречаются. Сибирские.

— Вы рисковали?

— Ну! — засмеялся Кешка.

Он смеялся, а Букварь видел, что глаза у него уставшие и что щека у Виталия ссажена здорово и надолго.

24

Небо стало синим, а дождь все капал и капал.

Ребята устроились у постели Букваря и по очереди вспоминали о всяких интересных случаях. Букварь понимал, что воспоминания затеяли для него. Он слушал Виталия, Ольгу и Николая.

Спиркин сначала смущался, а потом разошелся, начал вспоминать о Феодосии, и нельзя было узнать его.

Спиркин рассказывал о сигаретах.

Сигареты делали на табачной фабрике, в маленьком отсеке, где Спиркин был главным.

В том отсеке стояли две машины. Одна — цвета топленого молока, другая — зеленоватая, как вода в Феодосийском заливе. Машины килограммами поедали мелко накрошенные листья табака и выбрасывали на матерчатую ленту новенькие сигареты «Ливадия». Загорелые руки работниц укладывали сигареты в аккуратные ящики. Ящиков в отсеке стояло много, и все с сигаретами.

Спиркин был механиком и появлялся на работе за час до начала смены. Настраивал машины, поил их маслом, наливал в корытце тягучую черную краску.

В семь часов приходили девушки, и сигаретные машины начинали гудеть. Они гудели мягко и даже мелодично. Во всяком случае, так считал Спиркин.

Ему нравилось смотреть на руки работниц. Они были ничем не хуже рук музыкантши, которую показывали по телевизору из Симферополя. Как по клавишам, бегали их пальцы по сигаретам. Работниц тоже можно было показывать по телевизору.

Еще Спиркин любил заходить на склад, в комнату размером со школьный класс, тесную и приземистую. Там лежали прессованные кипы сухих табачных листьев, привезенных из Греции, с Кипра, из Болгарии и Грузии. Спиркин не курил, но любил слушать многоголосие запахов, тонких и грубых. Ему всегда казалось, что это лежат высушенные и спрессованные солнечные лучи.

Еще ему нравилось бродить ночью по сонным и теплым улицам Феодосии. Он шагал по Карантину и по курорту, мимо мавританского дворца табачного короля Стамболи, владевшего когда-то их фабрикой, мимо развалин генуэзских башен, мимо серых и коричневых камней, так много видевших за шесть неспокойных столетий. Ветер нес с моря соленые запахи, а на черном бархате неба, как и полагается в подобных случаях, светилась ленивая луна.

Еще Спиркин любил ловить барабульку в зеленой феодосийской воде.

— Что ж ты смотался из своей теплой Феодосии, от своих чудесных машин? — спросил Кешка.

— Знаешь, скучно стало,— сказал Спиркин.— Каждый день сигареты и сигареты. И все. К тому же стыдно было. Все время по радио слышал: где-то люди землю корчуют. А я сижу в тепле, на месте, освоенном другими.

Кешка терпеливо ждал своей очереди и теперь дождался.

Сначала Кешке надо было рассказать о своих друзьях— Василии и Прокофии Поповых или просто о Попах.

Однажды в детстве Кешка попросил старшего Попа, Василия, выбить ему передний зуб. Кулак у Попа был слабый, и с Кешкиного согласия Поп ударил по зубу молотком. По Васькиному зубу стукнул Кешка.

Потом они оба пошли к зубному врачу, и тот поставил им коронки. И Поп с Кешкой ходили по своей улице, сверкали новенькими мужественными фиксами, вызывая у соседских пацанов приступы острой зависти. Было тогда Кешке лет пятнадцать. Он носил кепку с разрезом и согнутым посредине козырьком, из-под которого виднелась блатная челка, папиросы опускал в уголки презрительно растянутых губ, виртуозно плезал на мостовую, процеживал слюну сквозь сжатые зубы. Он был влюблен тогда в «настоящих» мужчин с фиксами и презирал людей, в их число не входивших.

От тех времен остались у Кешки фикс и две элегические наколки на запястьях: «Не забуду мать родную» и «Они устали».

В восемнадцать лет Кешка украсил себя еще одной татуировкой. На спине у него появился очень кризой месяц. На месяце полулежал усталый черт с балалайкой в руке и пропеллером вместо хвоста. Копыт у черта не было. Были толстые подошвы с рубцами.

Кешка и Попы часто ездили в Красноярск к родственникам и целыми днями пропадали на Столбах. Остервенело лазили по скалам. В честь вступления в одну из столбистских «компаний» Кешка и дал наколоть на спине эмблему этой «компании».

Но все это было прелюдией к верблюду.

Верблюда с верховьев Енисея, с Тоджинской котловины, по горному Усинскому тракту привел в Абакан старый тувинец. У него было желтое лицо с дряблой, сморщенной кожей. У верблюда шкура тоже была дряблая и болталась, как пустая сумка, чудом держалась на верблюжьих костях. Старик привел верблюда к воротам Абаканского мясокомбината «на убойство». Деньги ему заплатили Кешка и Попы. Верблюд был им совсем ни к чему, просто они его пожалели и спасли от гильотины.

Через полгода верблюд стал жирным и важным, и его вполне можно было фотографировать для учебников зоологии. Жил верблюд у старшего Попа, Василия. Кешка и Попы использовали его как транспорт и «для организации аттракционов».

Каждый день по очереди, согласно строго составленному графику, через весь город конвоируемые мальчишками отправлялись они к месту работы на верблюде. Кешкины дни были вторник и суббота. Верблюда оставляли у ворот мясокомбината, у велосипедной стоянки, привязывали веревкой к металлическому столбу. Ездил Кешка на флегматичном и медленном верблюде к стадиону и на свидания. Если свидания приходились не на субботу и вторник, надо было договариваться с Попами и брать верблюда напрокат.

А однажды Кешка приспособил на боках верблюда два фанерных щита, написав на одном из них: «Любовь — не роскошь, а средство ширпотреба»,— а на другом: «Не курите вблизи хлебных массивов» — и разъезжал по центральным абаканским проспектам...

— Сейчас бы попались мне эти Попы! — воскликнул Кешка.— Гады и обыватели! Ну и что ж, что нам тогда квартиры дали. Ну, дали! А они, гады, со мной сюда ехать отказались! И черт с ними! И с верблюдом!..

Небо в пролете палаточной двери оставалось синим. Букварь смотрел на синий вечерний кусок неба и думал, что ему везет. Он встречает людей необыкновенных, живет с ними и работает с ними. Он делает открытия каждый день. Он открыл комиссара Зименко, взрывника Дьяконова, умеющего слушать мир, тракториста Эдика Зайцева, которому наплевать на Канзыбу. «Я всему умиляюсь,— подумал Букварь.— Восторженный я. Хорошо это или плохо?»

Кешка все еще рассказывал о верблюде, а Букварь думал, что скоро придет его очередь, но ему не о чем будет рассказать. Ничего в его жизни интересного не происходило. Если только о Суздале...

И Букварь стал вспоминать о своем городе.

25 историй

Суздаль — до обидного маленький. Его весь можно прошагать за двадцать минут. В крайнем случае, за полчаса.

Суздаль тихий, как старый дворик на окраине большого города. Тихий и заросший травой.

Он красив всегда. Но красота его мягкая, не яркая, не бьющая в глаза. Ее скрадывают серые тона, серые, унылые облака, туманы и дожди. Суздаль вспыхивает золотом куполов, когда смотрит на него солнце, он позванивает серебром, если неторопливо движется по небу полная луна.

Букварь рос не в самом Суздале, а в нескольких километрах от него, за пшеничными увалами. Если бы он рос в Суздале, он бы привык к нему. Суздаль стал бы для него само собой разумеющимся, как выцветшее пальто отца. И он не мог бы мечтать о нем и открыть его для себя.

Из их деревни Суздаль казался сказкой. Мальчишкой Букварь внушил себе, что в Суздале живут пушкинские герои — царь Салтан, и царь Додон, и царица-Лебедь, а иногда, наверное, наезжал в Суздаль и сам Руслан.

Букварь любил смотреть на Суздаль с зеленого холма, устроившись под березами. Он сидел под березами и фантазировал и выдумывал события, происходившие в сказочном городе с золотыми куполами.

Букварь оттягивал свою встречу с городом. Он не хотел разрушать сказку. Ему хотелось так и жить, так и взрослым стать, веря в сказочный город. Но однажды он все-таки поехал в Суздаль. По дороге он доказывал себе, что расстраиваться не надо, что, конечно, Суздаль обыкновенный, просто очень старый.

И все же Букварь расстроился. Он приготовил себя ко всему, но не смог поверить сразу в то, что люди в Суздале носят современные костюмы, что они говорят о маргарине и событиях в Португалии и ездят на велосипедах, что храмы, такие красивые издали, стоят облупившиеся, старенькие, готовые развалиться. Но больше всего Букваря расстроили зонтики.

Самые обыкновенные зонтики, черные, на проволочном каркасе. Букварь подумал, что зонтики эти шьют, наверное, из крыльев летучей мыши. Разве могли богатыри в кованых доспехах, былые суздальчане, таскать над головой трусливую черную прорезиненную материю на деревянной палке с пластмассовой ручкой?

Еще Букваря расстроила тишина и то, что в Суздале ничего не происходило.

Но, когда Букварь стал взрослым, когда он учился уже в десятом классе, он открыл Суздаль заново, влюбился заново в его камни и купола.

Букварь подъезжал и подходил к городу по всем дорогам, видел толпу церквей и башен с разных сторон. Но была у Букваря любимая, Владимирская, дорога.

Дорога эта совсем обычная, покрытая недавно асфальтом, бежит себе увалами, и три деревушки стоят на этой дороге, совсем обычные — Борисовское, Батыево и Павловское. Но Букварь-то знал, что по дороге этой девять веков назад шли обозы из Киева в Суздаль, знал, что село Борисовское принадлежало Изану Калите и было завещано им сыну Симеону Гордому, знал, что в селе Батыеве стоял грозный узкоглазый хан, знал, что село Павловское куплено было женой Александра Невского. Букварь вспоминал об этом каждый раз, когда ехал Владимирской дорогой.

Букварь знал стихи о ленинградском Летнем саде, где «замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию теней не видно конца от вазы гранитной до двери дворца». В Суздале тоже спали сотни тысяч шагов. В Суздале, и на Владимирской дороге, и в Борисовском, и в Батыеве.

Букварь очень хотел услышать эти шаги. Это было невозможно, но Букварь очень хотел. Иногда наступали минуты, когда Букварю казалось, что невероятное произойдет. В поле, на пашне, окруженной стенами леса, где все современное исчезало, Букварь воображал себя в двенадцатом веке и ждал, что из-за леса появится рать. Он слышал топот коней, их ржание, и звон металлических доспехов, и людские крики. Он ждал, волновался, а потом где-нибудь за Каменкой начинал тарахтеть трактор.

Он пытался услышать эти шаги в Покровском монастыре, где бывал Иван Грозный и где в склепах лежали опальные царицы. Он вслушивался в звуки у розовых стен Спасо-Евфимиевского монастыря, за которыми могильным камнем был прикрыт герой России Дмитрий Пожарский. Он хотел услышать спящие шаги для того, чтобы отчетливее уяснить себе связь времен и связь поколений.

Каждый раз, когда Букварь оставался один на один с древними камнями, он очень хотел увидеть людей всех поколений, увидеть жизнь Руси всех веков, попасть во все времена и быть свидетелем боев, разговоров, просто каких-то молчаливых сцен. Он мечтал увидеть Святослава, Грозного, и Петра, и Пушкина, и миллионы других людей. Увидеть их не вместе, а в отдельности, каждого, чтобы уловить связь между ними, чтобы понять, как сменяли друг друга поколения и почему так велик его народ.

Он никак не мог объять разумом все, что веками происходило на его земле, его знания и представления были отрывочны. Букварь чувствовал себя бессильным и никак не мог ухватить эту самую связь времен.

Он знал, что человечество не изобретет машины времени. И нельзя задремать и проснуться при дворе короля Артура. Бои, разговоры, шаги прошлого спали замертво. И все же Букварь не переставал мечтать. Он приходил к самым древним камням Суздаля и думал молча. Из этих древних камней — неровных плит ноздреватого туфа — был сложен кремлевский собор, поставленный по велению Владимира Мономаха. Позже собор не раз перестраивали, и верх его и купола Букварю не нравились. Они были безвкусными и слащавыми. Но по пояс собор был древним.

Букварь проходил в темноватую глубину храма через знаменитые «златые врата». Врата эти были огромные, тяжелые, по черным листам их золотом шли орнаменты. Львы вот уже седьмой век держали в пасти массивные кольца дверных ручек. Плиты храма были истоптаны и измяты сотнями тысяч ног. Коричневые святые смотрели с огромного иконостаса. В сосредоточенном молчании рядом проходили экскурсанты. Букварь смотрел на яркие цветы, выращенные древними художниками на церковных стенах, и пытался представить себе суздальчанина, их современника, стоящего на плитах храма. Почему-то Букварь думал о старике, своем предке в серой холстине, согнутом, опершемся на сучковатую палку, в лыковых лаптях. Но воображение отказывало, и образ расплывался, ускользал, как ускользало ощущение связи времен.

Но Букварь фантазировал. Камни запоминают. Есть у материи свойство, пока не разгаданное, пока разум не может себе представить даже возможность такого свойства и его «секрет». Как не мог в свое время представить, что существует нейтрон и термоядерные реакции. Но через века люди смогут понять и расшифровать память материи, память суздальских камней, и тогда они услышат и увидят древних людей, узнают их лица, улыбки, разговоры и страсти. Увидят старика в лыковых лаптях, с сучковатой тяжелой палкой. И Букваря увидят. И верблюда...

Какого верблюда? При чем тут верблюд?

Это Кешка все еще рассказывает о верблюде и о своих дружках Попах. Он уже совсем заврался и, наверное, скоро кончит. И тогда придет очередь Букваря...

26

— Про Суздаль...— неуверенно начал Букварь.

Открылся вдруг брезентовый полог двери, и из сикего проема в палатку мокрая, в черном провисшем плаще, в хлорвиниловом платочке вошла Зойка.

— Здравствуйте,— деловито сказала она.

В руках у нее было что-то, завернутое в размокшие газеты; она положила свертки на стол и стала обходить канзыбинцев, улыбаясь и протягивая каждому из них мокрую ладонь. Она подошла к Букварю, к последнему, и сказала:

— Здравствуй, Букварь!

— Здравствуй, Зойк...

Букварь смутился и заерзал под одеялом, он подумал вдруг, что Зойка пришла из-за него и сейчас она скажет об этом, начнет охать, и ему будет очень неловко. Но Зойка быстро отошла от его кровати с деловым, безразличным видом, и Букварь сразу же пожалел о том, что мысли его не подтвердились.

— Ну и погода,— сказала Зойка.— Льет и льет.

Она говорила спокойно, словно пришла сюда из охотничьего домика. И ребята слушали ее спокойно, хотя прекрасно понимали, что Зойка добралась к ним из Кошурникова, протопала по грязи все двадцать километров, шла, наверное, весь день.

— А у вас сухо,— заметила Зойка.

Она стала стаскивать сапоги, мокрыми ногами в капроновых чулках встала на чистую доску, лежавшую у входа, и, перегнувшись, вылила в дождь воду из набухших сапог.

— Кеш, дай мне сверток. Тот, что справа.

Зойка взяла из галантных Кешкиных рук сверток, скомкала размокшую газету, швырнула ее в дверь, и в руках ее оказались красные туфли на длинных и тонких каблуках. Зойка надела туфли, скинула плащ и в желтой шерстяной кофте, узкой, обтягивающей ее бедра юбке, не спеша прошла к столу, небрежная и красивая, такая же, как и на танцах в Курапине.

— Во дает! — с восхищением простонал Кешка.— Двадцать километров в такой юбке!

Букварь заставлял себя глядеть в брезентовую стену. Зойка уселась к нему спиной. Букварь вспоминал снова о танцах, о стружке в арматурном цехе, о пощечине, и ему стало стыдно. Он не знал, как он будет говорить с Зойкой и что он сможет сказать ей. Он старался выглядеть безразличным и спокойным, но это было трудно.

— А у нас сегодня дождь,— сказал Кешка.— А у вас?

— А у нас наводнение. Но сегодня уже поспокойнее. Эдик Зайцев перевозил меня через Джебь. Только по колени промокла. А главное — спасли мост. Всю ночь стояли возле него.

Все же ребят интересовало, почему вдруг в такую погоду Зойка решила пробраться к ним.

— Одни знакомые летчики, с Артемовского аэродрома,— сказала Зойка,— уверяют, что дня через два мы будем обеспечены солнцем. И уж до конца лета.

— Зой,— подошла Ольга,— ты переночуешь у меня в охотничьей избушке. Там здорово.

— Нет, я ненадолго,— засуетилась вдруг Зойка.— Я пойду.

— Даже и не спорь!

Кешка подошел к Зойке сзади, положил руки на ее желтые плечи, наклонился и пропел с чувством:

— Зойка, Зойка...

— Что с тобой? — поинтересовалась Зойка.

— Ничего. Просто я очень рад тебя видеть.— Кешка помолчал и вдруг спросил: — А чего ты в такую слякоть к нам надумала?

— Из-за гитары. Соскучилась я по твоей гитаре.

Кешка подскочил к своей кровати, схватил гитару, подкинул ее, поймал и направился к Зойке.

— Нет,— сказала Зойка,— я не из-за гитары. Я из-за него.

Сказала она это хрипло и грубовато, только головой повела в сторону Букваря, даже не обернулась, словно там, за ее спиной, на месте Букваря лежало что-то неживое и ерундовое.

— Вот ведь как,— в тон ей, грубовато сказал Букварь.— Из-за меня.

— Значит, из-за Букваря,— протянул Кешка, произнес без всякого ехидства, даже доброжелательно.

— Ага,— сказала Зойка,— из-за него. Узнала от Эдика и даже поволновалась. Потом вспомнила: у меня же есть банка меда, она же пригодится против ангины. И еще вот лимоны достала. Их надо есть с сахаром.

Она вытащила из размокшей газеты банку расплавленного густого янтаря и два чистеньких пузатых лимона, точеными красными каблуками отпечатала на земляном полу короткие шаги и уселась рядом с Букварем, у ног его, на колючее одеяло. Глаза у нее были ласковые и нежные, и Букварь не смог говорить небрежным, грубоватым тоном, каким он хотел говорить.

— Вот смотри, Зойка. Это эдельвейс. Держи.

Он протянул ей маленькую звезду с белыми, чуть голубоватыми лучами на длинном, тонком стебле, покрытом мягким и светлым ворсом.

27

Артемовские летчики не обманули. Солнце появилось через два дня. Оно было жаркое, парило, и трудно было поверить во вчерашнюю тоскливую и холодную слякоть с мокрым апрельским снегом.

Через три дня бригада Николая Бондаренко на машине шофера Петухова перебралась в Кошурниково. Прораб Мотовилов предупредил: из-за непогоды осталось Кошурниково на голодном пайке. С абаканской базы не смогли завезти детали сборно-щитовых домов. На плотницкую работу рассчитывать пока было нельзя. «Останетесь ударной группой в резерве главного командования,— сказал Мотовилов.— То есть при мне».

Спорить не стали. Понимали, что на стройке с саянскими условиями второстепенные работы тоже главные. Лишь бы трудиться по-настоящему, в полную силу.

Букварь потряхивался в кузове, выздоровевший, но еще слабый и бледный, сидел, вцепившись в доски борта, глядел жадно на тайгу, на отмытые камни, на небо, не мог насытиться смелостью красок, от которых он уже отвык.

Машина везла бригаду на гору Бурлук, за Кордон, за пятьдесят километров, к спокойной и нешумливой излучине Кизира. Нужно было чинить булыжную дорогу, сбегавшую к Кизиру с горы, попорченную взрывами и дождями.

Трасса ожила. Снова висели в скалах над Кизиром взрывники, снова грызли саянскую землю разномастные экскаваторы. На всех пятидесяти километрах была разбросана техника, и весь путь Букварь слушал звуки стройки, деловые, металлические.

На Бурлуке было тихо. В горе копались тоннельщики. А на горе дремали шоферы и их машины. Длинная цепочка спящих машин грелась на солнце. Дорога была перекрыта. На самом гребне горы, у здания столовой, три курагинских милиционера успокаивали матерившихся шоферов.

Машинам мешали раны булыжного бурлукского спуска. Их надо было лечить. Дорожный мастер рассказывал ребятам, что к чему. На спуске уже работали курагинцы из бригады Мартынова. Они помахали руками. Работа была несложная, но трудоемкая. Надо было таскать камни, укладывать их ровно и аккуратно, таскать и сыпать щебень и восстанавливать водоотводные канавы.

Камни таскали снизу, от Кизира, на легких дощатых носилках, и делали это Букварь и Кешка. Камни были мокрые и блестящие, на солнце шел от них пар. Кешка и Букварь скинули рубашки и майки, солнце жгло их белые плечи, спину и грудь, и каждый раз, когда Кешка и Букварь спускались к Кизиру, они с шумом и шутками обливались ледяной кизирской водой, смывали пот, смягчали раскаленные солнечные лучи.

Носилки Букварь с Кешкой таскали быстро, к Кизиру спускались бегом. Бежали по самой бровке дороги над оврагом, вырытым экскаваторами, глубоким, рыжим от глины. На дне ямы суетились маленькие тоннельщики в рыже-зеленых брезентовых робах и шахтерских касках. К горе тянулись серые нитки рельсов, и по ним катились игрушечные вагонетки с голубым и рыжим камнем.

А наверху, на втором ярусе, работали дорожники со своими носилками. Горе, наверное, не было скучно. Да и Саянам тоже.

— Сейчас бы вертолет — и над всей трассой! — сказал Букварь.— Посмотреть.

Пообедать заскочили в столовую, справились минут за двадцать и снова пошли вниз. На дороге их обступили шоферы. «Ну как?» «А так,— махнул рукой Николай,— вряд ли успеем сегодня». Лица у шоферов стали кислые. Шоферы качали головами. «Мне, понимаешь, надо медикаменты в больницу»,— заохал парень со шрамом.

— Может, сегодня? — уже внизу сказал Спиркин.

— Надо сегодня,— кивнул Николай.

Теперь пар шел уже не от камней, а от людей. Они спешили и не считали часов. Солнце следило за временем.

Букварь вспомнил бой за просеку. Сегодня они словно ставили мост на дороге, соединяли два булыжных берега. «Быстрее, быстрее!» — шептал своим рукам, своим ногам Букварь. И Кешка, наверное, шептал: «Быстрее!» И Кешка, наверное, вспомнил просеку. Все вспомнили. И снова Букварь любовался красотой их тел, работой их мускулов и стирал с носа капельки пота.

Солнце спускалось к сопкам. Шоферы, шурша

щебнем, сошли по горе и скинули ватники и сапоги, встали на дороге рядом.

— Ну, все,— сказал Николай.

Как тогда, когда упала последняя сосна в лесу, не верилось, что все, что уложен последний камень — и все, что работа кончилась, что по этому самому спуску можно ездить вверх и вниз. Мастер обошел весь участок, дотронулся, наверное, до каждого камня, пополз на коленях по булыжным заплатам и кивнул головой: «Все!».

Регулировщики засуетились у столовой. Захлопали дверцы кабин. Заревели моторы, загудели от радости машины, напряглось, готовое рвануться, стальное стадо.

Первым тронулся неторопливый каток, спускался вниз, словно нехотя, шуршал, скрипел щебнем, вдавливал его в камни, в гору Бурлук, чтобы надежнее, ровнее лежал он. Пробовал дорогу на зуб, на вкус, шлифовал ее. Развернулся и замер внизу, у Кизира.

Регулировщики закричали шоферам. Машины ревели и дрожали, словно ждали стартового сигнала на автогонках. Плавно тронулись первые «зилы» с красными флажками; они везли в кузовах взрывчатку, осторожно спускались к Кизиру, к инспектору-катку. За ними повел свою машину, груженную ящиками и коробками с медикаментами, шофер со шрамом. Двинулось все ревущее стадо. Ожила, зашумела, понесла по Саянам жизнь — лента булыжного транспортера двигалась все быстрее и быстрее.

Ребята стояли на горе, над дорогой, и смотрели на разбуженное ими движение. Шоферы высовывались из кабин и махали им руками. И они смеялись и махали руками, лопатами и кирками.

Потом они молча, усталые, поднимались к столовой, гремели рукомойниками, терли лица серыми шершавыми полотенцами. Заказали по два шницеля с картофельным пюре и по три стакана клюквенного киселя. Кешка прибежал, пристроил свои тарелки на голубом столе, окантованном алюминиевыми планками, зашептал быстро:

— Ребята, тут есть пиво минусинское...

За пивом двинулись всей бригадой, и курагинские пошли тоже. Директорша столовой покачала головой:

— Ну что вы, мальчики. Вы взгляните на часы. Мы же вас и так кормим после рабочего дня. Все бочки у нас закрытые. Не возьмете же вы целую бочку!

— Во! Нам как раз нужна бочка! — заявил Кешка.

— Раз в жизни можно! — сказал Николай.

Ребята смеялись, галдели, шутили, всем вдруг захотелось купить сейчас бочку минусинского пива, целую бочку с деревянной пробкой. Директорша рассердилась, а потом поняла, что ребята говорят всерьез, пожала плечами, пересчитала протянутые ей деньги и повела толпу за собой. На полу под плитами и возле плит стояли и лежали приземистые пузатые бочки.

Бочку с шумом, дурачась, выкатили через кухонную дверь во двор столовой, на траву. Тут же, на траве, на самой вершине горы Бурлук, выбили деревянную

пробку, вставили резиновый шланг и стали разливать пиво в прозрачные толстобокие кружки.

Пиво было горьковатое, холодное и вкусное. Пили его не спеша, усевшись на траву, смотрели, как заходило солнце. С горы, с самой ее вершины, тайга была видна на десятки километров, зеленая шкура горбатой саянской земли — неподвижная, словно нарисованная. Внизу бежал Кизир, ломался под тупым углом, поворачивал к Тубе. Белела за Кизиром, за сопками двухголовая вершина горы Джелинды.

Букварь полулежал на траве, держал в руке кружку и думал о том, что он очень доволен этим светлым, солнечным днем. И жарой, сжегшей кожу на его плечах и спине, и работой, и машинами, спешившими открыть движение по трассе, и тайгой под его ногами, и бочкой пива, которую они с ребятами купили. Давно он не испытывал такой радости. И Букварь понял, что именно сейчас он отбросит к черту все, что не давало ему покоя в последние дни.

— Смотрите, какие облака! — сказал Виталий.— Облакам всегда везло. Люди любят сравнивать их с чем-нибудь. Особенно, если им нечего делать... По этим сравнениям можно изучать историю... Сравнивали их с верблюдом, с паровозом, с автомобилями. Теперь все чаще сравнивают с атомным грибом... А эти...

— Слушай, Николай,— шепнул Букварь,— я вот все хочу спросить тебя... Понимаешь, какая штука... Тут Кешка как-то сказал мне, что ты ездил на Тринадцатый километр из-за женщин. Он врал, конечно?..

Николай пил пиво и смотрел Букварю в глаза.

— Нет,— сказал Николай.— Он не врал.

— То есть как? — растерялся Букварь.

— Так.

Букварь искал соломинку, но ухватиться было не за что, и он спросил о том же, о чем спрашивал Кешку:

— А как же Ольга?

Двухголовая белая вершина Джелинды закачалась, задрожала зеленая шкура горбатой земли.

— С ней ерунда получилась... С ней не надо было... Не такой она человек...

— Но ведь ты любил ее...

— Нет... Пожалуй, нет...

Николай допил кружку и встал. Он стоял, расставив ноги в начищенных сапогах, и улыбался. Улыбка у него начиналась с той самой единственной ямки на левой щеке.

— Брось ты, Букварь. Ты будешь думать об этом и переживать. Я тоже в свое время думал и переживал. И ты поймешь. Просто жизнь — очень сложная штука...

Небо сразу стало черным. И тайга стала черной. И пиво в кружке —черным. Надо было вскочить и закричать на всю эту черную тайгу, бить кулаками по черному небу.

Но Букварь не вскочил и не стал кричать. Не смог. Это сказал не Кешка, а Николай. Значит, он, Букварь, на самом деле молокосос и ни черта не понимает.

Он поднес к губам кружку и допил черное пиво.

28

По дороге, бежавшей вниз окраиной поселка под арку с розовым флагом и дальше к спасенному мосту над успокоившейся Джебью и к самому Артемовску, цепочкой шагали строители. Шли в душный клуб Седьмого километра — артемовского пригорода — танцевать и смотреть кино.

По дороге двигалось отмытое и принарядившееся Кошурниково.

Букварь постоял молча и побрел в общежитие. Николая в комнате не было. На одеяле, уткнувшись лицом в голубую стену, бросив ботинки под кровать, спал Виталий. Букварь стащил сапоги и лег на спину.

Солнце жарило его и щекотало ему нос и щеки. Он покрутился на колючем коричневом одеяле, но заснуть не смог, и дремота не приходила.

— Виталий,— сказал Букварь,— как ты можешь спать при таком солнце?

Глаза Букваря изучали потолок, все паутиночьи трещины на нем и не могли увидеть, как отнесся Виталий к его словам.

— Нет, на самом деле? Я вот никак не засну.

Соседняя кровать заскрипела, вздрогнула, и по запаху, по щелчку зажигалки Букварь понял, что Виталий закурил.

— Можно и при солнце,— сказал Виталий.

Он, наверное, зевнул, потому что слово «солнце» получилось у него длинным и исковерканным, и Букварь хотел сказать ему: «Ладно. Спи, пожалуйста». Но сказал он другое:

— И все же я никак не могу понять. Вот, знаешь, солнечный спектр раскладывается на семь цветов. Они лежат рядом, яркие и нарядные, как цветные карандаши в коробке. И я принимаю разумом, что эти разные цвета образуют один — белый. Но я никак не могу принять, что человек складывается из разных цветов — красных, черных, зеленых...

Виталий молчал, аккуратные и ровные дымовые кольца, переваливаясь с боку на бок, лениво поднимались вверх и к окну, и Букварь подумал, что Виталий не понял его.

— Как совместить смелость человека, энергию его, искренность с подлостью? Эдельвейс — и пошлые слова о «бабах». Разве все это может составить один цвет? Ты понимаешь меня?

Букварь услышал, как сетка кровати заскрипела, как Виталий повернулся и как ноги его опустились на пол. Букварь приподнялся на локтях. Виталий, сидя на одеяле, пытался найти что-то в кармане брюк и куртки.

— Я тебя понимаю,— сказал Виталий.— Ты, Букварь, представляешь людей одноцветными. Или хочешь, чтобы они такими были. А они — многоцветные. Писаны многими красками. Так уж природа постаралась.

— Ну и что? — спросил Букварь.

— Что, что! — разозлился Виталий.— Лекцию, что ли, я тебе должен прочесть о сложности жизни! Или выдать рецепт на будущее, написанный по-латыни? Думай сам! В таких случаях каждый думает сам.

— Я и думаю сам! — Букварь обиделся.— Но ведь я хочу знать и другие точки зрения. Может быть, я пытаюсь изобрести тот самый деревянный велосипед.

— Может быть. Тебе этот велосипед изобрести надо. Просто необходимо. Ты ж на самом деле живешь в первый раз. Ты, и только ты, сможешь открыть для себя сначала огонь, потом колесо, потом велосипед, а потом и нейтроны. Изобретай велосипед, если хочешь на нем кататься. Преврати формулы, выработанные другими людьми, в живое для себя, в живые свои принципы. Думай сам.

— Но...— протянул Букварь. И замолчал.

Виталий повернулся лицом к голубой стене, и Букварь должен был понять, что разговор окончен. Он лег на спину и снова стал изучать на потолке паутиночьи нити трещин.

— Раз уж так,— сказал Букварь,— лучше бы Николай был во всех отношениях подлецом. Глупо этого хотеть, да?

Виталий молчал.

— И Зойка... Не надо было ей приходить. Тащить эту банку меда...

Виталий молчал, и Букварь кончил неуверенно:

— И Кешка...

Он не услышал и не увидел, а просто успел почувствовать, что Виталий соскочил с кровати и метнулся к нему. Букварь повернул голову. Виталий стоял рядом, прямой и резкий, как восклицательный знак. Он кричал:

— Лучше? Кому лучше? Тебе лучше! Чтобы сохранить душевное равновесие! Чтобы осталось неколебимым твое младенческое представление о мире и людях! И тебе ничто не мешало бы думать, что люди делятся на белых и черных, подонков и идеальных, а между ними — четкая граница, и они находятся в состоянии войны! Да ты пойми, старик, что люди — не электрические заряды и не элементарные частицы. Каждый из людей несет в себе и плюсы и минусы! Главное в жизни не контрасты, а полутона. Пойми, ничто не встречается в чистом виде! Нет ничего более вредного, чем выдумывать себе идеалы. И твой Зименко...

— Не трогай Зименко!

— ...И тот пионер, которому поставлен памятник в Березовке,— помнишь, видели? — возможно, был ябедой или однажды не заступился за слабого...

— Ты его не знал и не выдумывай!

— Я говорю условно. Люди писаны не одной краской. Они многоцветные! Они сложные! И это здорово! Да, четыре десятка лет еще не вытравили всю дрянь, что накапливалась тысячелетиями. Но некоторые вещи, естественные для человека, мы по инерции продолжаем называть дрянью. А ведь у человека, помимо всего прочего, есть живущий организм и ему на самом деле нужно есть, спать и оплодотворяться! Физиологию-то человека, разницу темпераментов пока не переделали... И ты не спрашивай! Сам думай! Сам разбирайся в каше своих мыслей!

— У тебя, что ли, нет каши?

— Есть. Только твою кашу я давно съел! Она манная, с малиновым вареньем!

— Ладно, не кричи. Посмотри. Солнце заходит.

29

Солнце заходило за сопку Золотой конек.

Камней, к которым Букварь привык на Канзыбе, поблизости не было, и он стоял, прислонившись к стволу сосны.

Сопка съедала солнце.

Еще минуту назад солнце огромным шаром, горевшим электрическим светом, проглядывало сквозь раскинутые лапы сосен и елей, как к магниту, скатывалось к сопке. Оно крупнело и быстро наливалось огненным соком.

Сопка схватила солнце зубами. Зубы у сопки были мелкие и острые, как у щуки. Днем они зеленели, а теперь стали черными. Зубы эти солнце не кусали, а только держали.

Сопка медленно проглатывала солнце, распухшее и красное. А когда проглотила, слетелись к острым ее зубам черные облака, быстрые и неожиданные, как воронье.

Красная, огненная кровь солнца растеклась по холодеющему небу, и края неба стали двухцветными, розово-голубыми.

«А может быть, на самом деле,— подумал Букварь,— пионер из Березовки был ябедой...»

Он выругался со злостью, гоня эту нелепую мысль. Но солнце, зайдя за сопку, словно провело за собой черту и оставило Букваря наедине с его вопросами.

Он решил не уходить от них, а разобраться, разобраться не спеша и до конца. Он опустился на коричневый толстый корень кедра и стал жевать травинку.

Букварь вспомнил Кешкины слова, сказанные однажды о нем: «Нет, он какой-то ненормальный!»,— и тут же услышал голоса своих суздальских соседей, Мышлаковых. Мышлаковы жили через дом, торговали на суздальском базаре клубникой и крупным мохнатым крыжовником, и у них на дубовом комоде спали мраморные слоны. Встречая мать или отца Букваря, Мышлаковы вздыхали сочувственно: «Сын у вас какой-то странный». Они и Букварю говорили в глаза: «Какой-то ты ненормальный!»— когда он рассказывал им, что в Суздале на одной из колоколен сидит Золотой петушок, а в Кремле живет князь Гвидон. «Гвидон! Там нынче музей, пять копеек за вход, одни идиоты ходят». И когда Букварь, уезжая в Саяны, рассказывал, какие необыкновенные люди строят там трассу, Мышлаковы вздыхали снова: «Ненормальный!».

Значит, и встреча с настоящей жизнью, встреча с ней лицом к лицу испугала и расстроила его, расстроила тем, что жизнь не совпала с образом, который он себе создал, как расстроила в свое время первая встреча с родным городом, и он держится за свои старые представления только потому, что не хочет поверить в правоту тихого и липкого шепота мраморных слонов, дремлющих на дубовом комоде. Значит, все-таки правы слоны, и, хочешь не хочешь, с этим нужно примириться?

Нет! В том-то и дело, что ни слоны, ни Бульдозер, прокричавший «Все вы такие!», не знают ни грана правды. Пусть его представления не совпали с реальностью жизни. От этого люди не стали менее интересными и красивыми. Черт с ними, с этими суздальскими зонтиками и велосипедами! Какое значение имеют они в жизни Суздаля! Черт с ними, со всякими мелочами! Какое отношение имеют они к людям и жизни!

Николай так и остался тем же самым Николаем, который валил деревья на просеке, выгнал вора из таежной деревушки, перебрался с мешком макарон через замерзшую Джебь, который умеет работать от зари и до зари и не из-за денег, а потому что это доставляет ему удовольствие. Он остался тем же самым Николаем, который и ему, Букварю, помог повзрослеть, стать более уверенным в себе. Это Николай заставил его подняться на Столб, выпрямившись, вступая полной ступней, идти по камню, по жизни. Но...

Добавилось «но»... Оно не уничтожило Николая, не перечеркнуло его, оно просто добавилось к нему. Идеал оказался земным.

Сущность Николая не изменилась от этого. Значит, нужно увидеть в каждом — в Кешке, в Зойке, в Виталии — сущность их и отклонения от нее. Значит, не надо бояться этих отклонений и возмущаться ими. Они, видимо, естественны, как естественна сложность мира. Просто надо научиться видеть, что́ хорошего каждый дает людям, и считать это главным в человеке.

Несколько дней назад, когда он услышал от Кешки о Николае, ему показалось, что небо перевернулось и начало падать. Он тогда шагал тайгой и спешил, хотел увидеть глаза Николая и узнать все. И вот он знает все. И он спокоен. Небо не перевернулось и не упало. Сам он, Букварь, не стал кричать на всю тайгу: «Как же так!» Он только допил минусинское пиво.

Он спокоен. Он знает, что́ в человеке главное.

Да, пожалуй, в обыкновенном человеке, в людях, строящих дорогу на Тайшет, два начала. Одним, высоким, руководит идея, дело, энтузиазм, другим — природа человека, заботы о еде, о сне, о всякой там физиологии. В разные моменты люди светятся поразному. Чаще они горят, но иногда и тлеют, ворчат, рассказывают сальные анекдоты, пошло пристают к девчонкам, клянут начальство.

Пусть пока всякие мелочи еще остались в людях. Ведь на самом деле четыре с половиной десятка лет не смогли сразу, одним ударом выкорчевать в человеке насаженное тысячелетиями. Для корчевки этой нужны многие и многие годы. Может быть, века.

И вот поэтому не надо искусственной спешки. Такой, которая бывает, когда исполкомовская комиссия принимает новый дом и вдруг оказывается, что надо переделать плинтусы. В душе-то таких простых вещей, как плинтусы, не бывает. Вот и не надо горячиться, преувеличивать, придавать значение мелочам. Наверное, подумал Букварь, все-таки прав Николай и права скала под названием «Тарелка». Спокойная, умиротворяющая, высилась она над молчаливой тайгой, над мелочными переживаниями и сомнениями, спрятанными зеленым морем.

Так и ты живи! Корчуй старое в самом себе, корчуй непримиримо, но к другим будь терпимым. Не навязывай им своих правил, они только смеяться будут. Люди живут, как умеют. И переделывают себя, как умеют.

А сам ты от своих принципов не отступай ни на шаг. Пусть тебя считают наивным. Пусть! Раз уж у тебя такой темперамент.

Так думал Букварь.

Он жевал травинку и сидел на толстом коричневом корне, прислонившись к желтому кедровому боку.

Он услышал, как в поселке заревели динамики и шипящие брызги шампанского полетели со старой, довоенной пластинки в тайгу. «Береговых включил свою шарманку,— подумал Букварь.— Может, сходить на танцы? Все-таки суббота...»

Он встал.

30

Просыпались неохотно, позевывая.

Будило солнце, жаркое и настойчивое. Оно высвечивало стены и щекотало Букварю пятки, высунувшиеся из-под простыни.

— Даже в воскресенье поспать не дадут! —проворчал Спиркин и в душе пригрозил солнцу.

Кешка в трусах и в майке уже стоял у кровати и что-то прибивал к стене молотком.

Он опустил руку. На стене белели две фотографии. Стена отсвечивала, Букварь щурился, морщил лоб и все же не мог понять, чьи это фотографии.

Он натянул перекрашенные солнцем, когда-то синие тренировочные брюки и аккуратно зашнуровал кеды. Пружиня, прыгая шумным коридором, сохранившим прохладу и сырость, он выскочил на улицу, под ели, под бьющее с неба солнце. Он чувствовал себя сильным, ощущал всем существом своим, телом своим брызжущую, безудержную радость. Фыркая, обливался холодной водой, тер мокрым полотенцем нагретую солнцем спину, языком и носом ловил ледяные струйки из ведра, боксировал и возился с орущими и хохочущими ребятами. Потом он снова стал разминаться один, сделал маховые движения и широким, упругим шагом побежал вокруг длинной коробки общежития и вдруг остановился резко.

За углом делал зарядку Николай. В руках у него были гантели, а на пне рядом лежал, поблескивая металлом, съежившийся эспандер. Ноги у Букваря сразу стали тяжелыми и приросли к траве. Он стоял в нерешительности и никак не мог понять, почему он не хочет подойти к Николаю. «Я ведь все решил вчера. Я же решил примириться. Главное — это сущность...» Потом он все же нашел спасительное: «Наверное, надо привыкнуть... Надо привыкнуть...»

Кешка, Спиркин и Виталий сидели за столом и, обжигаясь, пили горячий чай. Букварь подсел к ним и налил себе стакан.

— А где Ольга? — спросил Букварь.— Она устроилась к штукатурам? Кто-нибудь видел Ольгу?

— Нет, не видел,— буркнул Спиркин.

— Устроилась,— сказал Виталий,— в бригаду Самохиной. Вчера уже работала. Они делают клуб.

— Она грустная, грустная,— вздохнул Кешка,— все сидит у себя в комнате. Одна. Даже жалко...

Все замолчали, и Букварь понял, что он зря начал этот разговор. Он захотел успокоить ребят и рассказать им о вчерашних своих мыслях. Но он сказал тихо, шепотом:

— Надо будет сходить к Ольге...

Букварь взял кусок сахара, отпил глоток обжигающей, душистой воды и поднял глаза. Со стены, с фотографий, прибитых Кешкиным молотком, смотрели на него двое.

Слева — черноволосый, широколицый, в темной тужурке с петличками, улыбался Александр Кошурников. На трассе хорошо знали Кошурникова, знали все подробности его жизни и смерти, именем его назвали станцию. Кошурников погиб в сорок втором, там, за горами, у Казыра, шумливого и пенного кизирского брата. Он вел маленькую группу изыскателей саянской дороги, сам был третьим. В тайге, в сотнях километров от жилья, их застигла ранняя зима, набросала снег полутораметровым слоем. Их покинул проводник, у них кончилось продовольствие. Шли по бурелому и колоднику. Каждый шаг — невероятное усилие. А сколько нужно было сделать шагов, чтобы выбраться из тайги! Табак пришлось заменить древесным мхом. Они промокли насквозь. Пожгли у костров одежду, а обсушиться не смогли. Падали от усталости, вставали и шли. Тащили материалы изысканий, образцы пород, все, что нужно было для новой дороги. Но Саяны стерегли. Их последний плот схватил Казыр и бросил его под лед. Вместе с плотом ушел под лед один из изыскателей. Второй вмерз в лед в нескольких метрах от берега. У Кошурникова уже не было сил, и он не смог вытащить на берег тело товарища. Он выполз на снег. В дневнике его появилась последняя запись: «Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня, без пищи. Вероятно, сегодня замерзну...»

Весной саянские рыбаки нашли дневник Кошурникова с материалами экспедиции. Теперь парни и девчата шестидесятых годов строят его дорогу.

Справа — на фотографии был Фидель.

Букварь посмотрел в Кешкину сторону:

— Где это ты сумел достать?

— Ну! — сказал Кешка.

Пили чай, позвякивали алюминиевыми ложками о зеленоватые грани стаканов, думали о людях, смотревших на них со стены.

— Они,— сказал Виталий,— пробираясь по Казыру, ничего не знали о том, что происходит в мире. Они словно были на другой планете. А немцы стояли у Сталинграда, немцы могли взять Москву... Понимаете трагичность их положения? Но они шли... Значит, верили...

— Если что случится на Кубе, если снова они полезут,— заявил Кешка,— я проберусь к Фиделю...

— Так тебя туда и пустят!

— Ничего. Я уже бегал в Корею, когда там воевали. Меня поймали только в Улан-Удэ. На полдороге. Я был тогда совсем шкет. Глупый шкет...

— А я так и не решился,— вспомнил Букварь,— а собирался...

— Ладно, это все ерунда,— сказал Кешка.— Вы слыхали, что две баржи все-таки прорвались по Тубе в Курагино, доставили рельсы и два паровоза?

— Иди врать!

— Ну! Паровозики старенькие, маневровочные, Муромского завода. Для них собрали два звена, и теперь они стоят на насыпи.

— Надо бы съездить в Курагино.

— А чего ездить? Просто смотреть? Ерунда. Надо переходить в путеукладчики. В Курагине открываются курсы.

— Так уж необходимо стать путеукладчиками? — спросил Букварь.

— А ты хочешь всю жизнь вкалывать плотником?

— Я хочу стать архитектором.

Букварь замолчал, растерялся, он выдал свою самую сокровенную мечту. Он пожалел, что не успел рассказать ребятам о Суздале, и теперь они могли не понять, почему он хочет стать архитектором.

— Я черчу прилично,— смутился Букварь,— рисую немножко...

— Ну и что? Архитектором ты еще успеешь стать, а путеукладчиком нужно быть именно сейчас!

Кешка и не думал смеяться над ним, просто он горячился, пытался убедить Букваря и ребят:

— Вы же не понимаете, что такое путеукладчики! Перед тобой насыпь, а позади тебя уже лежат рельсы и шпалы. Знаете, как пахнут шпалы? А потом первым прокатиться на паровозе по уложенным тобой рельсам! Представляете? Пыхтящий паровозик, украшенный цветами, плакатами, играет духовой оркестр, а мы все устроились на паровозе! Я, например, на подножке... Сплю и вижу!..

— Мы же не умеем,— сказал Спиркин.

— Я тебе объясняю: в Курагине открываются курсы. Потом можно попрактиковаться в Аскизе. Слыхали, сейчас набирают людей в Аскиз? Это за Абаканом. Меня и Николая уже соблазняли. Во вторник едут в Аскиз.

— Николай, кажется, собирается в Аскиз...

— Да, собирается,— подтвердил Виталий.

Для Кешки это было новостью. И для Букваря тоже. Он сказал, ни на кого не глядя, словно подумал вслух:

— Наверное, так будет лучше... Значит, во вторник...

Замолчали снова. Уже не хотели говорить ни о паровозах, ни о рельсах, ни об Аскизе. Кешка подошел к тумбочке, нагнулся и, гремя, стал вытаскивать принадлежности для бритья. Все следили за его движениями, словно это было очень интересно.

— Так как насчет кино? — спросил Спиркин.

— Я не пойду,— сказал Виталий.

— Могу только днем,— обернулся Кешка.— Вечером я отправлюсь на Тринадцатый.

— Давай на час сорок.

— Знаете, что,— сказал Кешка,— у меня тут еще есть дела, идите вдвоем, я подойду. Только возьмите места где-нибудь в середине. У стен сыплется штукатурка.

Кешка поставил на тумбочку круглое зеркало, чуть согнувшись, мазал щеки пышной белой пеной, падавшей на пол ватными кусками, стоял, освещенный солнцем, голый по пояс, коричневый, пел что-то, а иногда насвистывал. Букварь слушал Кешкино пение, видел, как ходят под загорелой кожей мускулы, и любовался широкой коричневой спиной.

— Да,— сказал Кешка,— там такая тетя Кланя торгует у входа семечками. Купите стакан. Только жареных...

31

На экран пустили радугу.

Радугу ловили глаза человека, шагавшего по миру.

Человек шел за солнцем.

Человек был очень маленький, спешил, иногда бежал, катил по асфальту впереди себя тонкое быстрое кольцо. Он поверил в то, что можно, шагая за солнцем, обойти весь мир и вернуться домой с огненным, теплым шаром.

Он прошел за солнцем уже, наверное, весь Кишинев.

У него были стеклышки разных цветов, он бежал и по очереди подносил к глазам стеклышки, и Кишинев становился то красным, то зеленым, то оранжевым. И солнце было то красным, то зеленым, то оранжевым.

— Где же Кешка? — шепнул Спиркин.

— А я знаю?

Рядом в темноте на деревянном сиденье белел клочок газеты, обозначавший, что место занято.

— Еще просил семечек!— проворчал Спиркин.

Мальчишка шагал по Кишиневу. Лицо у него было смешное и курносое.

Он пришел на базар, огромный, кишащий, южный, и долго бродил вдоль рядов, вдоль щедрых прилавков и горок яблок, помидоров, красных стручков перца и огурцов на зеленых досках. Он стоял возле прицепа, привезшего из села арбузы, держал в руке пузатый, звенящий арбуз и думал, что это — солнце, надевшее полосатую земную шкуру.

Потом мальчишка попал на аттракцион — гонки на мотоцикле по вертикальной стене. Он стоял и смотрел, как летал с грохотом, словно по огромной трубе, мотоцикл, как мелькал серебристый шлем гонщика. Мальчишка не мог просто так уйти из полотняного шатра. Он решил остаться еще на один сеанс, но не удержался и заглянул в щелку шатра. Он увидел, что человек, летавший по гулкой цирковой трубе в серебристом шлеме, лыс и некрасив, услышал, как жена говорила ему обыкновенные, земные слова. Мальчишке стало грустно, и он поплелся по улице, раздумав идти на второй сеанс.

«Как я,— подумал Букварь,— совсем, как я!»

Он снова вспомнил о своих мыслях.

Мальчишка все шагал по Кишиневу. Вместе с ним шагали труба и флейта. Пение флейты было светлым

и праздничным, труба тоже пела о солнце и празднике, но иногда она становилась печальной и даже злой.

— Букварь! Спиркин! На выход!

Шары плыли по экрану, постукивая друг друга круглыми боками.

— Букварь, вставай! — тронул его за рукав Спиркин.— Нас!

— ...На выход! — кричали сзади.

Букварь пробирался к проходу, наступая на ноги и извиняясь, повернув голову в сторону экрана, и по проходу он шел, пятясь и спотыкаясь, видя только то, что происходило на белом квадрате, залитом солнцем.

— Букварь, быстрее! Нас же зовут!..

Спиркин тянул его откуда-то из темноты.

— Сейчас,— пробормотал Букварь,— сейчас.

— Спиркин! Букварь!

Зал смотрел уже не на экран, а на них двоих, пробиравшихся к выходу. Зал шумел, оживленный, веселый, сыпал шуточками.

Спиркин выталкивал Букваря во вспыхнувшую солнцем щель двери, и он, вывернув шею, успел увидеть только пробежавшие по экрану быстрые ноги мальчишки.

— Спиркин! Букварь!

Квадратный, маленький и толстый, как комод, Очкин из бригады Маркелова семенил у входа, ноги его нервно топтали траву, готовые сорваться и нестись с реактивной скоростью. Очкин был красный, с мокрым, вспотевшим лицом, глаза его смотрели испуганно, а губы вздрагивали.

— Понимаешь,— сказал Букварь,— это скорее не цветной фильм, а цветовой. В нем нет сюжета, он состоит из маленьких киностихотворений...

— Быстрее! — Очкин даже не махнул рукой, а как-то задергал ею.— Надо бежать!

Ноги его рванулись вперед. Букварь с секунду смотрел, как бежали эти ноги по рыжей, утоптанной земле и как пыль взвивалась за ними, смотрел, ничего не соображая, увидел, что Спиркин подскочил как-то странно и что спина его начала уплывать вперед, и только тогда Букварь, словно очнувшись, махнул рукой и побежал за Очкиным.

Солнце било в глаза, и Букварь щурил их, топал сапогами, злился и никак не мог отделаться от мысли, что солнце, наверное, сбежало за ними с экрана.

— А зачем?

— Кешка...— выдохнул Очкин.

— Кешка? — спросил Спиркин.

Очкин обернулся, не останавливаясь, резко и зло крикнул:

— Кешка погиб!

Спиркин захохотал, словно ему рассказали анекдот; он бежал боком, правое плечо его подалось чуть-чуть вперед, тянуло за собой мраморную маленькую фигуру.

— Вот остряк! Надо же! Вот остряк!..

Букварь ругал себя за то, что надел эти пудовые сапоги, а не остался в синих стоптанных кедах, и теперь несся по раскаленной земле, как дурак, пыхтел, натирал пальцы.

— Нет, серьезно, этот фильм состоит из стихотворений. Маленьких и музыкальных...

Очкин вдруг остановился, пошатнулся, потеряв равновесие, выпрямился тут же, повернулся лицом к бегущим на него Букварю и Спиркину, сказал тихо, почти шепотом, глядя в землю, осторожно, словно боялся своих слов:

— Кешка погиб...

Букварь налетел на Очкина, выругавшись, схватил его за грудь, тряс его:

— Ты что?! Что ты говоришь, гад?! Что ты говоришь?!

Букварь почувствовал, что ноги у него отнимаются, словно и не было их теперь ниже колен, и он, пошатнувшись, медленно опустился на колени, уткнувшись кулаками в рыжую пыль дороги. Он видел перед собой ноги Очкина и ноги Спиркина и ничего не мог понять, его била нервная дрожь, и он с трудом заставил себя поднять глаза. Лицо у Спиркина было белое, белыми стали мягкие оттопыренные уши, а Очкин был красный и мокрый, как очищенная и вымытая морковь. «Странно,— подумал Букварь,— у него мокрый нос и мокрый лоб, а губы сухие. Как же так?»

— Надо бежать,— заговорил Очкин.— Быстрее! За Джебь. Он там, за мостом...

32

За мостом дорога шла вправо, а потом — вверх. Спиркин выдохся, он мог свалиться, и Букварь видел это. Спиркин останавливался несколько раз, дышал тяжело и не мог выговорить ни слова, стоял, покачиваясь, стоял с секунду, а потом срывался с места и бежал боком, выставляя вперед худенькое плечо.

Дорога дернулась резко вправо, побежала вверх, и там наверху, метрах в двухстах впереди, Букварь увидел толпившихся людей, притихшие машины, и ему стало страшно.

— Погоди,— сказал Букварь.

Он остановился, начал вдруг шарить по карманам, словно хотел найти в карманах такое, от чего толпа, люди и машины там, наверху, улетучились бы, как мираж, как наваждение.

— Ладно, пошли,— сказал Букварь.— Я хотел закурить.

Снова бежали, и снова било в глаза солнце, и снова Букварь чувствовал, что у него отяжелели ноги, почти не гнулись. Но Очкин, Спиркин и сам он бежали все быстрее, будто там, впереди, были не люди, не страшные, притихшие машины, а финишная ленточка и ее надо было рвать.

Солнце было жизнерадостное, слепящее, летели навстречу покачиваемые ветром, живые зеленые лапы деревьев, шумела, перезванивалась птичьими песнями, жила тайга, и они втроем бежали, живые, сильные, и люди деловито суетились наверху, и все это противоречило глупым словам Очкина, не совмещалось с ними, перечеркивало их. И Букварь подумал, что люди окружили, наверное, машину, у которой вышел из строя карбюратор, и чинят ее, и ему стоит только разорвать их плотное, тугое кольцо — и он увидит раскрытый капот машины, сплетения проводов и черные, пахнущие маслом грани металла.

Он ворвался в шевелящуюся, двигающуюся кучу людей, расталкивал их локтями, и люди пропускали его, видел, как пробираются рядом Спиркин и Очкин, видел их красные лица, не рассчитав движений, выскочил из людского кольца и тут же отступил назад.

На земле, у края дороги, прямо перед ним, прямо перед его тяжелыми, запылившимися сапогами, лежал Кешка.

Кешка лежал, сжавшись, подтянув ноги к груди, и казался маленьким.

На ногах его были выцветшие ковбойские брюки Виталия, прошитые красными нитками, с поблескивающими заклепками на карманах. Правая рука Кешки вытянулась на брюках, а левая закрывала лицо, словно загораживала его от солнца, и были видны только тонкие Кешкины губы. Они не шевелились.

Кешкина голова лежала в красной луже.

Лужа была небольшая, неровная. Пыль, рыжая и серая, наступала на нее, засыпала пылинками красные, не растекшиеся края.

«Это кровь,— подумал Букварь.— Кешкина кровь».

Он почувствовал, что его начинает тошнить, он не мог больше смотреть себе под ноги и стал отступать, и толпа пропустила его так же молча, как и впустила, словно не заметила.

Пятясь, Букварь натолкнулся на что-то твердое, оглянулся, увидел синий с красным кантом крытый кузов милицейской машины; держась за нагретый солнцем металл, добрел до подножки и опустился на нее, теплую, даже горячую.

Перед его глазами проходили люди, знакомые и незнакомые, в пестрых рубашках, в милицейских кителях и белых халатах, говорили о чем-то, размахивали руками и что-то фотографировали. Он видел Виталия, Николая, Ольгу и многих кошурниковских ребят, но он не воспринимал всех этих реальных людей в отдельности, а казалось ему, что перед ним движется какое-то месиво, увиденное им на экране в клубе Седьмого километра.

Мысли Букваря скакали, и это были даже не мысли, а обрывки мыслей, какие-то слова, они сменяли друг друга и уплывали, не возвращаясь. Только в одну мысль вцепился мозг Букваря, он отпускал ее на секунды и все же вылавливал ее в каше обрывков и случайных слов.

В том, что произошло, думал Букварь, не было никакой логики. Все двигалось, жило: и солнце, и планета, и тайга, и люди, толпившиеся на таежной дороге. И только человек, прижавший колени к груди, замер в рыжей пыли. Словно его отключили от всеобщего движения. Неподвижного человека этого Букварь даже мысленно старался не называть Кешкой, потому что Кешка олицетворял для него само движение, и еще несколько часов назад Букварь видел загорелое Кешкино тело, которое жило и двигалось.

Все плыло перед глазами, фильм продолжался. Букварь ухватился пальцами за металл подножки, он боялся встать, шагнуть на пестрый экран, шагнуть в людское месиво и тем самым признать его реальность.

Проплывали ковбойки, ватники, испуганные и хмурые лица, какие-то бумаги, белые, как руки человека, лежавшего у самого края дороги. Слышались слова, обрывочные, тихие, словно приглушенные.

— Знаешь, как было?

Рука Спиркина легла на плечо Букваря. Букварь мотнул головой. Спиркин облизывал губы, часто глотал слюну, у него, наверное, пересохло горло. Голос его был сиплый и неестественный.

— Он бежал. Вскочил на подножку проходившей машины. Так и ехал на подножке, шутил с шофером. На колдобине машину тряхнуло. Он ударился о борт. Виском.

Спиркинская спина, вздрагивая, ушла вперед, ушла мимо кителя, белого и натянутого. Лицо с отвалившимися щеками было опущено, смотрело куда-то вниз. Лицо было жалкое и растерянное. «Может, это шофер. Той самой машины... А не все ли равно?..»

Потом лицо пропало, и белый китель пропал. Люди засуетились, стали тесниться и отступать, образовали неширокий коридор. По этому коридору к человеку, лежавшему в пыли, медленно подъехала неуклюжая кремовая машина, «газик» с крытым кузовом и красным крестом на крашеных досках. Двое пожилых мужчин в белых халатах выскочили из кабины, открыли дверь кремового кузова и с носилками в привыкших руках заспешили по дороге. Толпа стояла, застыв, притихнув, и только Николай и Виталий пошли за санитарами, и их сразу же скрыла кремовая машина. С минуту Букварь видел только толпу, напряженную, смотревшую на дорогу, а потом четверо появились из-за машины, несли на носилках Кешку осторожно, словно боялись причинить ему боль. Один из санитаров поднялся по металлическим ступенькам в кузов спиной, а снизу ему подавали носилки. Второй санитар кашлял долго и хрипло, у него, наверное, были прокурены легкие, он пытался сказать что-то насчет двери, но кашель гнул его, и носилки не двигались. Тогда Николай и Виталий подняли носилки выше, и они уплыли в кузов. Санитар спустился по ступенькам, закрыл дверь, сказал что-то и вдруг улыбнулся. Букварь похолодел: все произошло так быстро и просто, словно в машину погрузили картошку.

Машина покатила вниз, и все стояли и смотрели в ее кремовую спину с красным крестом на крашеных досках. Пальцы все держались за теплый металл и не давали Букварю встать. Он видел, что люди расходятся, уходят в Кошурниково, медленно и молчали-

во, и все сидел. Он сидел до тех пор, пока чья-то рука не постучала ему по плечу: «Гражданин! Освободите подножку!».

Тогда он встал и теперь уже стоял в двух шагах от машины, слышал, как заревел ее мотор, и как рев этот становился все тише и потом пропал совсем, а он все стоял и смотрел себе под ноги в рыжую пыль и долго не мог понять, откуда прозвучал голос Виталия:

— Слушай, старик, пойдем домой. Надо идти...

33

Во вторник съехались Кешкины родственники.

Во вторник хоронили Кешку.

Хоронить его должны были на артемовском кладбище, в нескольких километрах от Кошурникова.

Родственников у Кешки оказалось много, они ходили по поселку все вместе, молчаливые, с покрасневшими, распухшими веками.

Букварь видел их и почему-то сторонился. Его, Виталия, Спиркина, Николая и Ольгу освободили от работы, и Букварь бродил по солнечным кошурниковским улицам и старался думать о солнце или о Суздале. Но мысли были однообразные, крутились навязчиво: «Почему солнце сегодня так светит? Лучше бы уж сегодня оно сидело за тучами! Лучше бы!..»

— Букварь!

Он обернулся. Сзади шла Ольга.

— Знаешь, есть одно дело...

Ольга была строгая и взрослая, такой он ее никогда не видел.

— Приехала Даша... Ты ведь знаешь Дашу?

— Знаю...

— Она не может все это видеть... Похороны и все это... Ты понимаешь?.. Ее нужно увести куда-нибудь... На это время... Я бы сама... Но я не могу сегодня...

— Ладно,— сказал Букварь.

Он шел за Ольгой и пытался вспомнить Дашу такой, какой он видел ее на Тринадцатом километре в тот день, после Кешкиной бани. Он запомнил ее улыбчивой, пышногрудой, с толстой русой косой, и почувствовал вдруг запах медового кваса и теплых шанежек, почувствовал вкус рассола, который он тогда пил с Кешкой из деревянного жбана. Он подумал о том, что весь сегодняшний день ему придется успокаивать Дашу и видеть женские слезы, а он их не умеет переносить. Но теперь не надо было идти со всеми на кладбище, и он испытал облегчение, хотя и не хотел признаваться себе в этом.

Даша сидела на крыльце общежития.

Она была в темно-синем платье, выцветшем, старушечьем, сидела, сгорбившись, сложив руки на коленях.

— Здравствуй, Даша,— сказал Букварь.

— Здравствуй, Букварь.— Она даже не обернулась в его сторону, не оторвала глаз от желтой земли и чахлых травинок на ней.

— А я вот...— начал Букварь и запнулся.

Он понял, что Даша находится сейчас не здесь, а далеко отсюда, в своей, особой стране, страна эта отрезана от всего, что вокруг Даши, и Даша не слышит его, не видит этих чахлых травинок на земле прямо перед ней. Букварь посмотрел на Ольгу.

— Понимаешь, Букварь, мне нужно идти...

— Ну, иди,— сказал Букварь.

Ольга уходила. Он знал, куда она уходит. Вот и ее надо было успокаивать. «Нет,— подумал Букварь,— не может этого быть. Не может Николай уехать сегодня в Аскиз. Он ведь командир...»

— Солнце,— сказала вдруг Даша,— сегодня такое яркое солнце!

— Ага,— кивнул Букварь,— солнце...

Солнце сегодня было просто праздничным, словно начистилось асидолом. Словно сверху не видело ничего сослепу или было ему на все наплевать, как скале под названием «Тарелка».

— Это первый двухэтажный дом,— показал Букварь,— а здесь будет клуб. Повырубим деревья, раскорчуем и поставим клуб.

Над первым двухэтажным домом постоянного поселка плескался на ветру маленький красный флаг, водруженный здесь, как над только что взятым городом. Дом стоял внизу, и к нему надо было спускаться по крутому зеленому склону, заросшему кустарником и березками-дошкольницами. Спускались медленно, хотя удобнее было сбежать вниз, к светло-коричневым стенам дома.

— Здесь поставим столовую. Здесь будет школа. Здесь — магазин. Здесь — площадь... А здесь будет памятник Кошурникову... Это наш любимый герой.

Букварь вдруг увидел, что Даша резко повернулась, увидел, как стали вздрагивать ее плечи. Она, наверное, плакала или пыталась сдержать слезы.

— Здесь...

«Дурак! — подумал Букварь.— Будет, будет, будет! А Кешки не будет! Это же все должен был строить Кешка! А Кешки-то уже не будет!..»

— Здесь очень густая трава. Дожди были, и вон она какая вымахала.

Плечи Даши все еще вздрагивали.

— Знаешь,— сказал Букварь,— отсюда очень легко пройти в Лесной городок. Через мост, а там пару километров. Хочешь в Лесной?

Она кивнула.

Шли медленно и долго. Шли молча. Молча стояли у дороги деревья, молча смотрели вслед двоим, в две чуть ссутулившиеся спины. И вдруг шумом, звоном металла, музыкой встретили Букваря и Дашу улицы Лесного, площадь с небольшим тополевым сквером и пятаком асфальта в углу. Над пятаком со столба, потрескивая, кричал серебряный колокол динамика. Принарядившиеся парни и девушки шуршали подошвами по серому нагретому асфальту.

— Танцы,— сказал Букварь,— а я думал, откуда музыка... Оказывается, танцы... Пойдем к ручью?

— Нет. Постоим здесь. Посмотрим.

— Посмотрим.

Букварь подумал вдруг, что слова им обоим нужны сейчас, как костыли, помогающие шагать. Внутри них теснятся сейчас мысли и чувства, а слова произносятся тихие, ничего не значащие.

Ветер, западный, из-за огородов, раскачивал, трепал музыку, иногда уносил ее к ручью, словно шептал ей временами: «Тише!» Пары танцевали медленно. Букварь смотрел на длинного парня в серой кепочке с помятым козырьком. Парень почти совсем не двигал ногами, почти стоял на месте, отвернувшись от своей партнерши, курносой девчонки в платье горошком, стоял со скучным, кислым лицом, словно ему осточертели и это танго и эта девица и он ждет не дождется, когда динамик замолкнет.

Динамик замолк, похрипел, потрещал и снова завел то же самое танго, снова длинный парень стал топтаться на асфальте с девчонкой в платье горошком.

— Пригласи меня,— сказала Даша.

— Я плохо танцую,— растерялся Букварь.

— Я тоже не очень... Ты пригласи...

Танцевали медленно, как все. Букварь держал руку на талии Даши и иногда ощущал мягкое прикосновение Дашиной косы. «А почему у них танцы во вторник?.. Ну да, здесь живут рабочие лесозавода... По вторникам им не дают электроэнергию... По вторникам у них выходной...»

— Ну вот,— улыбнулся Букварь,— а я хотел увести тебя от людей.

И тут же пришла резкая, злая мысль: «Как ты можешь, как ты смеешь улыбаться, слушать музыку, танцевать в те минуты, в те самые минуты, когда...»

— Букварь,— остановилась Даша,— пойдем к ручью. Пойдем.

Она повернулась и побежала вдруг по асфальтовому пятаку мимо танцующих пар. Букварь рванулся за ней, пролетело перед ним скучное, кислое лицо парня в серой кепочке с помятым козырьком, чьи-то удивленные глаза проводили его. Букварь выскочил на пыльную мостовую, поймал Дашин локоть...

— Подожди!

Даша перестала бежать, но шла быстро, упрямо наклонив голову, и Букварь с трудом поспевал за ней.

Мелькали деревянные домики с палисадниками, с резными наличниками и цветами у заборов. Потом улица оборвалась, уткнулась в узкий бревенчатый мост, переброшенный через ручей.

Даша остановилась. Она смотрела на двух девчонок с косичками, игравших в мяч у деревянных перил. Мяч катанулся в сторону Даши, и Даша ударила его ногой.

— Тетенька, это наш! — взвизгнули косички.

— Смешные девчонки! — улыбнулась Даша.

— Смешные,— повторил Букварь.

— И косички...

— Даша! Ну что ты! Не надо, Даша... Вот, возьми мой платок... Не надо, Даша!.. Слезы, они...

Поддерживая за локоть, он отвел Дашу в сторону, к ручью, к теплым коричневым камням, усадил ее, плачущую, беспомощную, на эти камни, говорил слова, которые должны были ее успокаивать, а сам думал: «Пусть плачет, пусть не сдерживает себя, ей станет только легче. Мне бы тоже, может быть, стало легче, только я мужчина...»

Дашины плечи вздрагивали, и коса ее вздрагивала. Даша то всхлипывала тихо, словно пыталась перестать, то рыдала громко и тоскливо, и Букварь теребил нервно пальцами платок, который Даша так и не взяла. Он смотрел на быструю воду ручья, на девчонок с косичками, застывших у моста, глядевших на него и Дашу, и думал о том, что иначе и быть не могло.

Весь сегодняшний день они старались сдержать теснившиеся внутри них чувства какими-то действиями и ничего не значащими словами, и вот теперь эти чувства вырвались наружу, и стало легче. Человек напридумывал столько, лишь бы не быть естественным в проявлениях своих чувств, а зачем?..

Они сидели у ручья, наверное, уже долго. Солнце запуталось в кедровых лапах, но все еще жарило. Даша вытирала глаза и щеки платком Букваря, а Букварь брал из мокрого песка мелкие плоские камешки и швырял их в бегущую воду. Ему не давала покоя одна мысль, и он решил узнать обо всем сегодня, узнать, не думая о том, будет это тактично или нет.

И все же он никак не мог задать Даше придуманный им вопрос, все швырял камешки в холодную воду и считал их прыжки.

— Даша,— сказал Букварь,— ты давно знала Кешку?

Это было вовсе не то, что он хотел спросить.

— Мы дружили четвертый год...

Букварь, холодея от волнения, все-таки заставил себя сказать:

— Он любил тебя? Только честно.

— Да.

— Ты не обижайся. Для меня это очень важно... Мне казалось...

— Я знаю, что́ тебе казалось. Я понимаю...

Она снова заплакала, уткнулась лицом в колени. Букварь ходил около нее по мокрому песку, ругая себя за свои глупые, неуместные сейчас вопросы.

— Никто не знал Кешку,— подняла голову Даша,— никто... Да, он хвастал, врал иногда, чтобы казаться взрослым и современным, дурачился, но он никогда... Все почему-то думали о Кешке так... И никто не знал его хорошо. Он любил меня... Никаких других девчонок у него не было. Я-то знаю...

— Ты не обижайся, я и не думал никогда...

— Что вы знали о Кешке! То, как он иногда играл перед публикой? Он же был... Понимаешь?.. Вот, прочти это. Он собирался послать в «Комсомолку»...

Она сунула Букварю смятый листок, вырванный из тетради, исписанный прыгающим Кешкиным почерком. Букварь осторожно разгладил листок, стоя, читал его, никак не мог сосредоточиться, никак не мог уловить смысла простых и знакомых ему слов.

— Сколько сейчас времени? — спросила Даша.

— Уже половина пятого.

Он сказал и вдруг испугался этого «уже» и того, что оно означало.

Он тихо присел на корточки и бросил маленький плоский камень в воду...

34

— Вот стаканы.

Стаканы стояли в тумбочке, тяжелые, граненые, зеленоватые, тщательно протертые кухонным полотенцем. Они съездили на Канзыбу, а теперь стояли в коричневой тумбочке в поселке Кошурниково. Стаканов было семь.

— Сколько их ставить? — спросил Спиркин.— Четыре или пять?

Виталий подумал.

— Три.

— Думаешь, Николай не придет? — спросил Букварь.

— Он уедет в Аскиз.

«Не уедет он сегодня! Не может он уехать сегодня!..»

— Поставь четыре,— сказал Букварь.

Водку разливал Виталий. Пальцы у него дрожали, водка нервно, рывками лилась в стаканы. Бутылочное горлышко глянуло в четвертый стакан и замерло, словно задумалось, словно не хотело иметь де-

ло с этим четвертым стаканом. Потом водка забулькала.

— Вот и поминки,— сказал Спиркин.

— Мне не нравится это слово,— поморщился Виталий.— Ну, ладно, за живых!

Закусывали кислым серым хлебом и выложенными на тарелку консервами тресковой печени. После второго стакана Виталий встал и начал ходить по комнате. Букварь чувствовал себя усталым, понимал, что быстро пьянеет, и мазал хлеб маслом.

— Итак, все кончено,— сказал Виталий,— присыпали землицей.

— Садись.— Спиркин постучал по стулу.— Тут еще есть.

Погашенный окурок Виталий выкинул в окно, присел на стул, сидел прямой, напряженный, барабанил пальцами по столу, покрытому клеенкой.

— Никто его не знал,— заговорил Букварь, заговорил быстро, сбиваясь, окая, проглатывая окончания слов,— никто его не знал. Он наговаривал на себя... Он не был пошлым... Он любил одну Дашу. А мы не знали...

— Предположим, знали,— сказал Виталий.

«Наверное, все знали... Только ты ничего не знал, только ты. Помнишь, Зойка говорила: «Кешка — святой человек»?»

— Предположим, знали...— И потом совсем тихо сказал Виталий:— Но разве от этого Кешке сейчас легче?

Букварь отмахнулся от слов Виталия, вытащил из кармана смятый тетрадочный листок, исписанный крупными прыгающими буквами, вытащил, как вытаскивают козырной туз.

— Этого тоже никто не знал... О чем Кешка думал. Он хотел послать в «Комсомолку»...

Спиркин читал тетрадочный листок, насупившись, тер нос, шевелил губами, а Виталий, прямой и напряженный, все постукивал пальцами по столу. Букварь наблюдал за ними и волновался, словно сейчас ему должны были поставить отметку на этом листке. Перед его глазами бежали торопливые и небрежные Кешкины слова с ошибками и помарками, он заново переваривал сейчас все шестнадцать Кешкиных вопросов, и ему самому хотелось отвечать на них. Вопросы были разные, стояли под пунктами, как в плане школьного сочинения.

«Стоит ли делать девушкам маникюры и завивки?»

«Каким будет коммунистическое общество?»

«Как пополнить свои знания до уровня средней школы?»

«Ехал я вчера с ребятами в кузове машины и снова пел блатные песни. Тянет меня петь их. Как спорить мне самому с собой, где козыри?»

«Как надо вести себя?»

«Как надо одеваться?»

И в конце, в самом низу листка, были строчки, которые Букварь запомнил наизусть:

«И как сделать так, чтобы жизнь была, как песня, с ее грустью и радостью и ощущением всего радужного, нового?»

— Да-а-а,— протянул Спиркин.

— Понимаешь, какой он был?.. Он был лучше, чем мы думали.

— Чем ты думал,— сказал Виталий.— Только разве от этого ему сейчас легче?

— Это уже мистика,— заявил Спиркин.

— Ага,— согласился Виталий,— мистика...

— Обидно. Страшно обидно,— сказал Букварь.— Это же несправедливо! Прожил человек только двадцать три года, ничего не успел сделать, и вдруг...

— Ну, а если бы успел? — Ресницы Виталия поднялись.— Ну, а если бы прожил сорок, девяносто, сто пятьдесят лет? Если бы совершил множество великих подвигов и наплодил огромное количество потомков? Тогда было бы справедливо? Тогда ему сейчас было бы легче?

Пальцы Виталия перестали барабанить, замерли, как оркестранты в цирке, словно сейчас должен был исполняться рекордный трюк.

— Ведь Кешки-то нет! Сколько бы он ни прожил и что бы он ни сделал, его нет! И теперь неважно, был он или не был.

— Тогда зачем же он жил? — глухо спросил Букварь.— Просто для того, чтобы участвовать в обмене веществ?

— Может быть,— поглядел вдруг на потолок Виталий.

Он встал, взял новую бутылку, неторопливо обстучал ножом горлышко, ссыпал на клеенку раскрошенный сургуч, вытащил пробку и молча разлил водку по стаканам.

Букварь заметил, как он поглядел на четвертый стакан, полный, налитый для Николая. Букварь сказал:

— Николай сейчас придет. Наверное, задержался у Мотовилова.

Он придумал про Мотовилова. Виталий промолчал, пожал плечами, и Букварю показалось, что дернулись усмешкой кончики его губ. Букварь понимал, что они с Виталием ведут сейчас молчаливый спор, спор о Николае, и разрешить его может только сам Николай. Букварь волновался, посматривал на часы и на четвертый стакан, и все же он был уверен, что Николай придет, сейчас придет, и все станет на свои места.

«Ты даже не знаешь, Николай, как нужно мне сейчас, чтобы ты пришел, чтобы ты сказал: «Хлопцы, я не еду в Аскиз, сейчас надо быть всем вместе». Ты придешь... Минут через десять...»

— Ну, поехали!

Виталий поднял стакан.

Букварь тянул водку, не спешил, видел голую загорелую Кешкину спину, мускулы, ходившие под коричневой кожей, и ватные куски мыльной пены, падавшие на пол.

Потом Букварь вспомнил о носилках, и они двинулись перед его глазами, и санитар никак не мог подать их вверх, в раскрытую пасть кремового кузова, кашлял, кашлял долго и хрипло, кашель убивал его, не давал выпрямиться...

«Как же так! Жил человек, жил двадцать три года. А если бы прожил сто пятьдесят лет, если бы все успел?» Букварь обернулся. Но Виталий молчал, барабанил пальцами по столу. «А если бы все успел или умер сейчас геройски, пожертвовав собой ради великого дела, что тогда? Ничего. Все равно для Кешки сейчас ничего не было бы. Ничего. Страшное ничего. Глупая, бессмысленная смерть, перечеркнувшая Кешку, словно его и не было никогда. Зачем жил Кешка, зачем живешь ты, Букварь? Только для того, чтобы на мизерно малом отрезке времени осуществлять жизнь разумной материи и потом, пожалте, навсегда в ничто? Так, что ли? Это же несправедливо!»

Букварю стало страшно. Он вспомнил четыре пальца, вцепившиеся в коричневый камень, он вспомнил себя, песчинку, вцепившуюся в скалу «Та-

релка», в голубой шарик, приплюснутый у полюсов, вцепившегося в жизнь, и никак не мог перевести мысли свои на простые, земные вещи: он словно находился в состоянии какого-то нервного шока, и снова все казалось ему нереальным: и четыре стакана, стоявшие на столе, и графин с водой, и пальцы Виталия.

— Навсегда, надолго,— сказал вдруг Букварь,— как память о Кешке, останутся слова, выцарапанные им на скале «Тарелка».

— Ну и что? — пробарабанили пальцы Виталия.

«Только эти слова на камне от Кешки и останутся. С матерщиной, которую старался зачеркнуть Николай. Только эти слова... А от тебя что останется?»

Дверь открылась резко и без скрипа. Николай снял кепку и повесил ее на зеленую проволочную вешалку.

Букварь вскочил и тут же поглядел невольно в сторону Виталия, увидел его скорчившиеся в полупрезрительной усмешке губы и опустился неловко на стул.

— Садись,— сказал Букварь.— Твой стакан.

«Садись. Ты нам всем очень нужен. Мы тебя ждали. И Виталий ждал, хотя и спорил, хотя и кривил губы...»

Николай сел, отрезал ломоть хлеба, пододвинул поближе граненый зеленоватый стакан.

— На улице пыль. Ветер и пыль.

Николай выпил свой стакан, выпил быстро, как воду, не поморщился даже, начал макать хлеб в консервную банку, жевал молча, смотрел рассеянно прямо перед собой.

— Помнишь надпись на «Тарелке»? — сказал Букварь.— Только она от Кешки и останется.

Николай кивнул. Лицо у него стало посеревшим и старым: он думал, наверное, сейчас о Кешке. Букварь не спускал с него глаз; сегодня Николай должен был наконец заговорить, найти слова и мысли, которые помогли бы Букварю разобраться во всем, что его сейчас мучило.

Ведь Николай был командиром, он носил шинель, ту самую, старую, с петличками, воевавшими в гражданскую.

— Жутко это все! — сказал Николай.— Глупо...

Он замолчал, и стало совсем тихо. Спиркин поднял вдруг голову и завыл, не запел, а завыл пьяно какую-то тягучую, печальную песню, врал мелодию, коверкал почему-то слова, словно где-то внутри Спиркина, в груди его, не хватало звуков для них. Песня щемила, как причитание, как плач, грубый, мужской, солдатский, и слезы навертывались на глаза Букваря, он не пытался разобраться в словах, он просто слушал, как выл Спиркин и как стал вторить ему хриплый голос Виталия.

Николай встал.

— Ты что? — спросил Букварь.

— Мне надо идти. Я зашел на минуту.

— Ему надо ехать.— Виталий оборвал песню.— Сегодня он уезжает в Аскиз.

— Нет,— сказал Николай.

Букварь, все еще не веря в то, что могло произойти, смотрел на Николая, на то, как он боком пробирался между кроватями к коричневой тумбочке.

— Нет,— обернулся Николай,— сегодня я не уезжаю в Аскиз. Завтра утром. Сейчас нужно отнести кое-какие документы.

— Завтра утром?

— Да, кстати,— вспомнил Николай,— а с кем это пил Кешка перед тем, как пойти в кино?

— Ничего он не пил,— хмуро проговорил Виталий.— Ничего, кроме чая.

— Ну да! — сказал Николай.— Тут комиссия приехала из Абакана, начали меня таскать. Все допытываются, был он пьян или нет. А один из этой комиссии, въедливый такой тип, уже ткнул в меня пальцем: «Вы, наверное, сами с ним пили! Вы ответите! Вы развалили воспитательную работу в бригаде...» А я-то тут при чем! Я с ним не пил!

— Ничего он не пил, кроме чая.

Букварь молчал-молчал, а потом сказал тихо:

— Николай, тебе бы стоило остаться. Ведь... Ну, сам знаешь, бывают такие трудные минуты. Просто нужна твоя поддержка. И мне, и Спиркину, и...

— Слушай, Букварь.— Николай говорил доверительно.— А мне, думаешь, легко? Думаешь, мне нравится все это? Теперь начнут таскать... Бригадир... Будут припоминать вечно. Пусть даже это и неправда. И звания никогда не добьешься... Развалил воспитательную работу!.. А тут еще история с Ольгой всплыла. Эта волынка не по мне. Если я раньше еще сомневался, ехать или не ехать, то теперь знаю точно: ехать! Пока не поздно...

Букварь никогда не видел его таким испуганным и таким чужим.

— Он не пил! — промычал Спиркин.— Это просто несчастный случай.

— Ну да! — Николай махнул рукой.— От него можно было ждать всего. Вы уж тогда подтвердите, что меня рядом с ним не было.

Он нагнулся, дернул дверцу тумбочки, стал копаться в верхнем ее отсеке, и Букварь снова вспомнил коричневую спину, мускулы, ходившие под загорелой кожей, и ватные куски пены, падавшие на пол у ног этой тумбочки.

«Ну вот, теперь уходит командир. А как же твоя теория? Как же скала под названием «Тарелка»? Снова смеется Бульдозер, снова шепчут мраморные слоны: «Все вы такие. И Николай такой». Разве ты не понимаешь, Николай, что тебе уходить сейчас нельзя, ну просто невозможно? Я мог найти объяснение тому, что произошло у тебя с Ольгой, но я...»

— Я пойду,— сказал Николай.

Спиркин все еще что-то мычал, а Виталий ходил по комнате и курил.

Николай был уже у двери, и тогда Виталий послал ему вдогонку слова:

— Значит, сбегàешь?

Николай остановился у самой двери, застыл, держась за поблескивающую стальную ручку. От ямки на его левой щеке стала разгораться улыбка и тут же потухла.

— Сбегàешь, значит?

— Что? — спросил Николай.

— Ты просто струсил!

— Чего, интересно?

— Сам прекрасно знаешь, чего!

— Ну ладно,— резко сказал Николай,— это уж мое дело.

И дверь он закрыл резко.

— Самое настоящее предательство! — вскочил Букварь.

— А ты помолчи,— устало сказал Виталий.— Что ты можешь? Ты все равно не можешь быть объективным... Как, впрочем, и я.

— Почему?

— А потому... а потому, что я люблю Ольгу. И ты ее любишь.

— Ты говоришь ерунду! Про меня...

— Я знаю, что говорю.

— Бросьте вы,— проворчал Спиркин,— тут есть еще одна бутылка... Надо только отбить сургуч...

35

Буратино спал, уткнувшись носом в угол.

Он спал сидя, скрючившись, подтянув оранжевые колени к морковному подбородку. От потолка к нему тянулись черные нити, обхватившие его пояс. Пластмассовый человек был подвешен к потолку, посажен на нитяную цепь, как заурядная дворняжка.

— Ольга, ты спишь? — спросил Букварь.

Ольга лежала на кровати в ковбойке и лыжных брюках, лежала на животе, примяв лицом подушку. Она помотала головой, даже не подняла ее.

— Я думал, ты спишь,— сказал Букварь.— Девчата из вашей комнаты уже пошли в столовую. Ты бы тоже шла.

Ольга подняла голову, привстала, опустила ноги на пол. Она сидела теперь против Букваря, и Букварь видел, что глаза ее не покраснели, они были только чуть-чуть сонные. А он боялся, что глаза у нее будут красные.

— Я не пойду. Нет аппетита.

Ольга поправила кофту, достала из кармана брюк толстую редкозубую расческу и стала приводить в порядок волосы.

Букварь молчал, растерялся, не знал, о чем говорить, когда он увидел, что глаза у Ольги не красные. «А почему они должны обязательно быть красными?»

— Я насчет Даши,— соврал Букварь.— Я слыхал, что она решила работать на стройке. И будет в вашей бригаде.

Ольга кивнула.

— Вы уж там... Вы уж с Зойкой возьмите над ней шефство.

— Угу,— кивнула Ольга,— ты не беспокойся.

Букварь смотрел на ее черные густые волосы, на длинные тонкие Ольгины пальцы, и ему хотелось провести рукой по ее угольным волосам. Он топтался на месте, словно забыл урок, вызубренный и теперь вылетевший из памяти.

— Да, вот еще,— вспомнил вдруг Букварь,— ты еще не знаешь. Мы заявление Мотовилову подали. Я, Спиркин и Виталий. Мы решили учиться на путеукладчиков... Ты еще не слышала?

— Нет, я не слышала.

— А мы вот... Он подписал. Завтра переезжаем в Курагино. От бригады все равно остался пшик. Значит, переезжаем...

— Значит, переезжаете...

— Все равно ведь наш поезд из Кошурникова уходит. Здесь только 241-й останется. Печорский. А наш весь будет в Курагине и на Кизире. И вашу бригаду переведут через недельку. Ты что, не знаешь?

— Нет. Не знаю...

— Сегодня уж всем объявили. Сегодня...

Букварь осекся. Стал уныло водить пальцем по желтой скатерти, разложившей подсолнухи на квадратном столе.

Ольга не слушала. Отвечала, словно из вежливости, безучастным, чужим голосом. Букварь старательно тер подсолнухи, и из них могло уже течь масло.

— Что? — спросила Ольга.— Что ты сказал?

— Я? Я ничего не сказал.

— Угу,— кивнула Ольга.

Она вытащила Буратино из его скучного угла, ткнула пальцем в пластмассовую спину, и Буратино, описав дугу, начал раскачиваться на черных нитках перед Ольгиными глазами.

— Садись, Букварь, что ты стоишь?

Теперь Буратино с повисшими желтыми руками и опущенным морковным носом раскачивался перед глазами Букваря. Маятник, отмеряющий Ольгину тоску.

— А погода все держится,— сказал Букварь.— Жаль, что купаться негде. Ничего, теперь в Курагине...

— Да, в Курагине...

Она снова толкнула пластмассовую спину, и маятник начал вести свой счет быстрее.

— Оль,— сказал Букварь,— ты провожала его?

Ольгины плечи вздрогнули, пошли вверх, изобразили недоумение: «С какой еще стати?» «У плеч своя азбука,— подумал Букварь,— как у флажков на корабле».

— Они уехали очень рано,— палец еще раз придавил подсолнух,— часов в пять. Мы со Спиркиным подняли головы, но так и не встали. Виталий даже не проснулся, когда он уходил.

Буратино проплыл вправо, и Букварь машинально скосил глаза вправо. Его раздражало медленное, размеренное движение пластмассового парня, посаженного на цепь.

— Вот ведь,— сказал Букварь,— оказался человек подонком.

Ольга сидела молча.

— Оль, ты особо не переживай. Не выдумывай себе горя... Нет, на самом деле. Даше ведь труднее... Ты...

Ольга встала.

Быстро прошла мимо Букваря и остановилась у стола.

— Уходи,— тихо сказала Ольга.

Букварь повернул голову в ее сторону и смотрел удивленно, словно понять не мог, чего она хочет.

— Уходи! — Ольга кричала. Стояла, сжав кулаки, решительная, со вскинутыми ресницами.— Уходи! Ты ребенок, и не получается из тебя утешителя! Повзрослей!

Букварь резко встал.

Пошел быстро к двери, не глядя на Ольгу, стиснув зубы, у двери обернулся неожиданно и увидел не Ольгу, а скрюченного Буратино, повисшего беспомощно в воздухе, увидел черные нити, натянутые, перекрутившиеся, вздернувшие Буратино над полом. «Все сейчас вот так перекрутилось...» Букварь, застыв на секунду у двери, рванулся к остроносому парню, дернул со злостью черные нитки, и они повисли на его пальцах.

— Ты что! — подскочила Ольга.— Зачем?

Букварь, стараясь быть спокойным, медленно снял с желтого пояса нитки, скомкал их, бросил в угол и усадил Буратино на скатерть с подсолнухами.

— Он хоть и пластмассовый,— сказал Букварь,— а все же человек. И ни к чему сажать его на цепь, как дворняжку.

На улице жарило солнце. Отрабатывало за июньские каникулы.

«Ну, сходил? А зачем? Успокаивать? Успокоил? Или проверить слова Виталия? Так он же сказал ерунду. Чепуху! Сам, наверное, любит, вот и кажется ему всякая чепуха! А я... А мне... Просто. Мне очень хотелось увидеть Ольгу».

36

Костыльные молотки были тяжелые, с длинными деревянными ручками. Молотками полагалось пришивать рельсы к шпалам. Рельсы в Курагино завезли, а шпалы полеживали где-то в Абакане. Молотки стучали на плакатах.

— ...креозот — это черная маслянистая жидкость, которой пропитаны шпалы...

Макогон ходил у доски и тыкал указкой в разноцветные квадраты. Макогон был худой, длинношеий, похожий на гусака.

Спиркин записывал все старательно, спешил, звякал пером о коричневые бока чернильницы. Открытая чистая тетрадь лежала на парте перед Букварем. Букварь сидел, подперев рукой голову, и сдирал ногтем черную блестящую краску.

— Все поняли? И вы, Колокшин, поняли? Повторите.

— Что? — спросил Букварь.

— Он устал.— Шепот у Спиркина получился таинственный.— Мы весь день собирали дом за конторой...

— За конторой?— сказал Макогон, и ободранная указка снова уткнулась в зеленый квадрат.

На плакатах передвигались по рельсам краны-путеукладчики, рабочие тащили захватами рельсы. Захваты были похожи на большие щипцы, а собранные звенья — на широкие лестницы с толстыми ступеньками.

«А вот если такими щипцами колоть сахар, получится что-нибудь или нет? Только нужен здоровый кусок сахара. Наверное, размером с целого Спиркина...»

— ...и все пока.— Указка постучала по доске.—Где-то у насыпи валяется несколько шпал. Видел я. Может, все-таки удастся провести практическое занятие? Вы свободны.

Хлопают крышки парт. Будущие путеукладчики свободны. Длинный Макогон смотрит, наверное, сейчас в спину ему, Букварю, и укоризненно качает головой.

— Букварь! Букварь! Что вы так долго!

Вот тебе раз! Зойка. Собственной персоной. Великолепная, как всегда. Топчет у крыльца пыль стройными, загорелыми ногами.

— Я приехала, Букварь. Ты видишь?

— Зойка!

— А ты все учишься! Это уж точно! А у вас, к сожалению, ноги кривые... Нет, это я не тебе, Букварь, это я вон тому парню с восьмеркой вместо ног.

— У тебя новая прическа. Ты похожа на Бабетту.

— Это заметно?

— Что заметно? Прическа или то, что ты похожа на Бабетту?

— И то и другое.

— Само собой!

— Ну, пошли.

— Куда?

— Куда-нибудь. Возьми меня под руку.

— Вся бригада приехала? — замешкался Букварь.

— Нет, я одна. Бригада приедет завтра. И Ольга, и Даша...

— Ага,— сказал Букварь и неуклюже взял Зойку под руку.

— Я по тебе очень соскучилась,— шепнула Зойка.

— Ну, и я тоже...

— Как у вас тут, в Курагине?

— Ничего, цивилизация. А как у вас?

— Мастерскую закончили. Новую.

— Так быстро? Как же вы это?

— Мы ведь виртуозы! Что нам стоит! Куда мы идем?

Первый вечер — танцы. Второй — танцы. И третий вечер — танцы. Усталое шарканье ног по стареющим, стершимся доскам. Рука на желтой, оранжевой и лиловой талии. Зойка меняет наряды. Проплывают вдруг в толпе танцующих смеющиеся Ольгины глаза. Значит, она приехала. Значит, теперь надо будет проходить мимо нее и не обращать на нее внимания, словно бы ее и нет. Значит, надо будет... Первый вечер, второй, третий...

— А теперь куда?

— Просто побродим. Можно дойти до стадиона. Или до Тубы.

— А где та звезда?

— Звезда?

— Ну, помнишь, ты рассказывал? Та, что горит голубым раз в месяц. Ее любили древние греки.

— Ах, та звезда? Сегодня у нее выходной.

«Я совсем забыл про ту звезду. А ты помнишь. Я же ее выдумал! Ладно, пойдем к Тубе. Мы молчим или перебрасываемся пустяковыми словами. Я знаю: твои глаза не молчат. Я боюсь их услышать. Зачем я хожу с тобой? Я и сам не знаю. Потому, что ты этого хочешь. Потому, что мне все равно. И потом этого требует физиология... Но почему же я не могу тебя даже поцеловать? Я не боюсь. Нет, просто мне надо сказать три слова: «Я тебя люблю». А я не могу. У меня их нет».

— Ну вот, мы и пришли к твоему дому.

— Так быстро!

— Ага,— сказал Букварь.— Так быстро. Я пойду.

— Иди. Без тебя я буду одинока, как милиционер на посту.

— Чего-чего?

— Ничего, — засмеялась Зойка.— Разве ты не знаешь? Мою фотографию напечатали в «Известиях». Передовик там, и все прочее. Теперь идут солдатские письма. И в каждом третьем — слова: «Увидев вашу фотографию, моя голова закрутилась, как пропеллер у сломанного самолета... Я одинок, как милиционер на посту».

— Ну ладно, ты уж не скучай.

— Не буду. Иди. Я тебя увижу завтра.

— Увидишь, конечно. Счастливо. Я пойду.

— Ну иди.

Шаги заспешили по коридору. «Иди». А куда идти? Домой, в общежитие? Выслушивать пьяные философствования Виталия? Или нырнуть сразу в постель, как Спиркин, и делать вид, что спишь, что ничего не видишь и не слышишь? Или шагать по ночи, по пыльной пепельной дороге, по мокрой траве и чувствовать на своих плечах черное небо, истыканное звездами?

Здесь нет Канзыбы, и нет камней над злой и шумливой рекой, и негде сидеть, обхватив колени. Здесь многого нет. Здесь нет Кешки. Здесь нет Николая. Здесь...

Здесь все равно. Безразличие. Тупое, ленивое и страшное чувство, как пот, въелось, втерлось во все поры его, Букваря, существа. Ничего не хочется делать, ни о чем не хочется думать. Потому что ему все равно.

Он ходит по Курагину, днем строит дом за конторой, слушает вечером длинношеего Макогона, танцует с Зойкой, убегает от нее, и все это как в

тумане, как в клочковатом, глупом сне, который никак не может прекратиться. Он чувствует, что не может выйти из состояния какого-то нервного шока, начавшегося на кошурниковском спуске, когда он увидел Кешку на земле и отступил, пятясь, к синей машине с красным кантом. Он хочет не думать обо всем этом, хочет смеяться, радоваться солнцу, слушать объяснения Макогона, но вспоминает тут же: «А Кешки-то нет. А Николай-то предал...»

«Все сейчас так перекрутилось...» Все перекрутилось, и тут ничего не дернешь, не оборвешь, как черные нити, державшие Буратино. Да и зачем?

Иногда приходят мысли о Суздале. Он все пытался когда-то представить себе предка своего, старика суздальчанина, чуть сутулого, в холщовой рубахе и лыковых лаптях, и никак не мог удержать образ его. И никак не мог ухватить, почувствовать волновавшую его связь времен. Смешно! Где она, эта связь времен? Тот суздальчанин уже много веков лежит в могильнике за Мжарой. Весь древний Суздаль, его мир, его мысли и заботы, его гениальность, его любовь — все это там, в могильнике за Мжарой, и нигде больше. Время распадается. Каждый уносит с собой свое время...

— ...Колокшин, вы неправильно держите молоток... Вы его сейчас сломаете... Ну вот, я же говорил!..

Еще одна ручка костыльного молотка полетела к черту. И еще одна...

— ...надо вращать вокруг плеча...

«Нет, все это бред! Все это страх! Как тогда, когда ты висел и держался четырьмя пальцами за планету Земля. Нужно оборвать это состояние. Оно противоестественно».

— ...на сегодня хватит. Следующее...

А теперь, если не пришла Зойка, нужно идти домой, в общежитие, а там валяется на постели Виталий, и все начнется сначала.

37

— Почему ты опять не ходил на курсы?

— А смысл?

— Нам нужно стать путеукладчиками.

— А дальше?

— Наши звенья лягут на насыпь.

— Ну?

— И будет дорога.

— Ну и что?

— Хватит. Ты опять за свое. Я принес хлеб, колбасу и масло. И еще пряники. Садись к столу.

— Я не хочу есть.

— Врешь. Человек, который не обедал и не ужинал, обязательно должен хотеть есть. И ты хочешь. Садись.

— Я сказал.

— Ну, хорошо. Я оставлю тебе бутерброды.

Длинные босые ноги сползают на пол, хлопает коричневая дверца тумбочки, ноги бредут к столу.

— Опять водку?

— А ты не будешь?

— Нет. И ты зря.

— Это уж мое дело. Все-таки я тебе налью.

— Нет.

— Ну, как хочешь. Есть такой тост: «Хай живе!» Хай живе все, что имеет возможность жить. Пока не истек срок. Обреченным полагается спешить.

— Ты считаешь себя обреченным? Боишься войны?

— А кто ее не боится? Тем более такой, со всякими атомными фокусами. Ну ладно. Черт с ней, с этой войной! Предположим, ее не будет. Я в это верю. Предположим, человечество построит самое совершенное общество. И в это я тоже верю. Ну и что?

— Как что?

— Ну и что? Меня-то не будет! И тебя не будет. И всех, кто строил это общество, тоже не будет. И потомков наших не будет. Никого! Ты понимаешь?

— Не кричи! Разбудишь Спиркина.

— А-а-а! Черт с ним! Он проснется и заснет тут же.

— И все же не кричи. Вечно будут жить земляне, потомки наших потомков.

— Все имеет конец. Земляне поживут миллиарды лет, а потом их не будет. Закон диалектики.

— Но для чего-то они живут. И жили.

— Для чего? Ты знаешь? Для чего жил Кешка? Для чего живем я, ты? Ни черта ты не знаешь! Лермонтов сказал: «Что люди? Что их жизнь и труд, они прошли, они пройдут». Вот и вся истина.

— Это сказал не Лермонтов. Это сказал Демон у Лермонтова.

— Разница?

— Большая.

— Тешься ею. Только что́ она меняет? Вот мы с тобой строим дорогу. Так называемый коллективный памятник поколению. А через пару веков, может, раньше, эти рельсы выкинут к чертовой матери. Железные дороги никому не будут нужны, как телеги. Никому не будут нужны результаты нашего труда, нашей с тобой жизни. А в конце концов для жителей других миров окажутся телегой все завоевания землян, труды миллионов поколений. Ты понимаешь всю трагичность нашего существования? «Что люди? Что их жизнь и труд?..»

— А от Кешки,— неуверенно проговорил Букварь,— останется надпись на скале Тарелка. Надолго.

— А от Кешки останется надпись на скале «Тарелка». Надолго. Пока ее не сотрут ветры... Букварь, пододвинь колбасу.

— Держи. А вот в этом пакете пряники.

— Спасибо. Не хочу. Чего ты встал?

— Так. Я... Знаешь, ты не любишь людей, если можешь так думать. Ты просто ненавидишь людей!

— Что ты знаешь? Я люблю людей! Все, что есть во мне, я готов отдать им сейчас же, сию же минуту, только бы знать, что всякая дрянь и беды исчезнут!

— Но ты говоришь...

— А что такое, по-твоему, любовь? Это и есть страх. Боязнь потерять того, кого любишь, боязнь за каждый его шаг, как бы чего не случилось с ним. Только так и живут люди, волнуясь за любимое ими постоянно, ежесекундно.

— Любовь — это совсем другое.

— И я волнуюсь. За людей, за голубое небо, за нашу землю, за нашу страну, за тебя, за Ольгу, за мать, за сестру, за себя. Боюсь потерять все это. Потому что люблю. Боюсь и в конце концов потеряю. Потеряю все! И тебя, и Ольгу, и землю, и себя! Все. Закон диалектики!

— Погоди! Успокойся! Хватит... Это просто растерянность. Мы никак не можем прийти в себя после случая с Кешкой. И ты, и я, и Спиркин... Но ты говоришь такое!.. В конце концов это трусость. Ты помнишь, Гамлет говорит: мысль об исходе — «мысль, где на долю мудрости всегда три доли трусости...»? У тебя другое соотношение. Один к тридцати...

— Ты прочел «Гамлета»?

— Томик Шекспира лежал у тебя на тумбочке. А люди не трусы. Они делают дело. Ты знаешь, как умирал Перенсон?

— Какой Перенсон?

— Большевик. Его именем названа улица в Красноярске.

— Я не был в Красноярске.

— Я тоже не был. Я читал о нем в газете. Он сидел в тюрьме. Знал, что приговорен к смертной казни. Ждал вызова уже десятки дней. Все тянули. Однажды он сидел в камере с другими заключенными и играл в шахматы. Фигуры они сделали сами. Из черного хлеба. И тут открыли дверь, крикнули: «Перенсон!» Все поняли. Перенсон встал, подошел к стражнику, сказал: «Сейчас. Я только доиграю партию. У нас интересная позиция». Снова стал двигать хлебными фигурами, выиграл партию, и его увели. Потом все слышали, как хлопнул в тюремном дворе выстрел, и сжали кулаки...

— А зачем ты это все мне рассказал?

Букварь пожал плечами. В самом деле, почему он все это вспомнил?..

— Есть люди,— сказал Виталий,— которых я не могу понять. Я завидую им. Но ведь больше других, тех, что просто приспособились к быту. Твой Перенсон погиб, и это главное в его жизни. А я не хочу уходить! Когда я вспоминаю, что все мы тут ненадолго, я готов орать о бессмысленности мира!

— Другие-то видели этот смысл. Их были миллионы. Они вывели законы, по которым стоит жить.

— Законы? Это все чушь! Все здесь условно. Как условны параллели и меридианы. Все это воображаемое, все придуманное. Для облегчения практики. Могли бы в свое время провести другие полосы через шарик, как-нибудь по диагонали, Азию назвать Америкой. Так и в человеческом общежитии. Всякие нормы, обычаи, моральные принципы — все это придумано. Условно. Вкусы, одежда, еда — тоже. Опыт тысячелетий? Может быть, что-то он и дал. Но наверняка есть во вселенной планеты с такими же существами, как мы с тобой, только все у них идет по-другому, вместо брюк они носят портфели и едят глину. И ничего, живут. Даже в науке о тех же самых вещах — другие методы, другие плоскости.

— А что же, по-твоему, безусловно?

— Безусловно только одно. Что у тебя будет конец и у меня.

— Но Волга вот впадает в Каспийское море?

— Ну уж ты!..— Виталий нервно засмеялся.

— А твоя любовь к Ольге?

— Твоя и моя? А черт ее знает! Любовь и ощущаешь-то, когда она, как говорится, несчастная. Не знаю... Знаю только то, что мы ее любим с тобой старомодно. Со всеми этими условностями.

— Ты не ходил на танцы?

— Нет.

— Ольга танцует все время с одним парнем. Из одесситов.

— Пусть.

— Ты никогда не говорил ей о своей любви?

— Нет. А зачем? Портить ей настроение?..

— Ты всегда такой?

— Какой?

— Ты всегда ноешь?

— Было время, когда я говорил лозунгами.

— Даже такое было?

— В марте пятьдесят третьего в школе на митинге я говорил речь и плакал. Плакал искренне. Я вывихнул ногу и все же добрался через все толпы к Колонному залу. Я донес до зала свою веру. Весной пятьдесят шестого я был ошарашен. Не мог прийти в себя. Стал пить, сорить собой.

— Знаешь, Виталий, есть такое лекарство — хлористый кальций.

— Ну?

— Оно очень чистое, прозрачное и горькое. Оно здорово помогает. По-моему, правда иногда похожа на хлористый кальций...

— На хлористый кальций?

— Нет, я серьезно. Весной пятьдесят шестого нам сказали правду. Очень горькую правду. Но она оздоровила. Да, она была очень и очень горькая. И ты растерялся... Как сейчас мы растерялись, после Кешкиной гибели. Знаешь, мне очень не хватает Кешки. Бульдозер уехал, а я о нем и не вспоминаю, а Кешка...

— Вот ведь какой ты мудрый! Ты все стремишься разложить по полочкам. Да пойми же ты, что не существует никаких полочек. Жизнь не учебник литературы. Нет их!

— А что есть?

— Не знаю. Ничего не знаю. Только одно... Знаю только, что меня не будет... Не будет — и все. Отгуляю срок — и в небытие...

— Все ты врешь! А зачем же ты тогда живешь?

— Из-за любопытства. Из-за обыкновенного обывательского любопытства. Жизнь — это ведь такой стадион, на котором все время происходит что-то любопытное. Ежесекундно. На поле и на трибунах. Вот я и буду сидеть на стадионе и смотреть.

— Ты говоришь чушь! Ерунду! Сам не понимаешь, что говоришь!

— Ага, я говорю чушь! Сейчас я услышу умные вещи. Валяй. Начинай. Или ты подождешь Зименко? А то он в Красноярске, на семинаре.

Букварь встал, почти вскочил, быстро прошелся по комнате. Виталий сидел, уставясь в стену, пережевывая колбасу.

Букварь ходил по комнате и злился на себя. Он понимал, что Виталий говорил ерунду, чудовищные вещи, нелогичные, путаные, и с ними надо было спорить, а он, Букварь, спорил плохо, только бросал изредка реплики, выдававшие его растерянность.

Лицо Виталия снова стало старческим, усталым, кончики губ морщились в иронической усмешке, а глаза посмеивались печально и многозначительно. Снова Виталий надел маску всепонимающего мудреца, много жившего, настрадавшегося вдоволь и знающего о мире такое, о чем другие не догадываются. С Букварем он говорил снисходительно, как усталый учитель с дошкольником, посмеиваясь внутренне, подыскивая самые простые, элементарные слова, а сложные доводы держал про себя.

Букварь чувствовал, что сейчас Виталий не пижонит, как раньше, не играет чью-то роль, а все говорит всерьез, потому что он всерьез взволнован и напуган случившимся с Кешкой. Он смотрел в серые глаза Виталия, словно собравшие где-то в своей глубине всю мировую скорбь, и чувствовал себя дошкольником.

Букварь молчал еще и потому, что никак не мог выйти из надоевшего состояния безразличия. Каждый раз, когда он начинал горячиться, лезли в голову слова: «А Кешки-то нет», «А Николай-то предал...»,— и он остывал. «Пусть мелет, пусть выговорится, не все ли равно...» А может, Виталий в чем-то прав... Ведь сам он, Букварь, так и не смог представить сутулого лапотного суздальчанина, предка своего, не смог понять смысла его жизни. Время свое тот суздальчанин унес в могильник за Мжарой.

— Эта колбаса,— сказал Виталий,— очень похожа на жевательную резинку. Уже полчаса, наверное, жую...

— Сколько тебе лет? — спросил Букварь.

— Что? Двадцать пять.

— Да, ты, конечно, много прожил.

38

Облаков было три. Три на всем небе. Облака могли спокойно разбрестись по голубому экрану. Но они были сознательные, понимали, что людям изредка нужна тень, и они поймали солнце.

Стоять, задрав голову, Букварю было необходимо. По улице шла Ольга.

Добравшись до солнца, облака растерялись, стали тереть друг друга ватными боками и меняли от волнения формы.

— Букварь, что ты там увидел?

— Облака. Их склеило солнце. Здравствуй, Ольга.

Солнце вырвалось из голубоватой ваты и обожгло Букварю глаза.

— Ты на меня обиделся? Да?

Букварь пожал плечами.

— Я ведь тогда была в таком состоянии...

Он снова пожал плечами, и это означало: «О чем разговор! Я же взрослый человек».

— Я тебя видел на танцах. Ты все время танцевала с одним из одесситов.

— Ага,— засмеялась Ольга,— такой модный парень?

— Да, у него ботинки остроносые и черный костюм.

— Значит, ты не обиделся? Не обижайся, Букварь. Знаешь, приходи сегодня ко мне в гости. Я испеку пирог. С черничным вареньем. Очень вкусный.

— Хорошо, я приду. Когда?

— К вечеру, часов в восемь. Раньше я не успею.

— Хорошо. Там будет этот одессит?

— Ты смешной, Букварь!

— Это ты только сейчас узнала?

— Нет, ты всегда был смешной!

— Кому-то надо быть смешным,— обиженно засопел Букварь.

— Ну, я побежала. Значит, придешь?

— Значит, приду.

«Я приду. Разве я могу не прийти? Мне и так было плохо в эти дни, когда я заставлял себя не смотреть в твою сторону. Вот сейчас ты стала совсем маленькой, сейчас ты свернешь за угол и пропадешь, и я буду снова ждать минуты, когда увижу твои глаза, твои волосы, твою улыбку. Я не могу без них».

— Букварь, ты не забыл? Сегодня тренировка в пять.

Остановился рядом Ромка Массальский, комсорг поезда.

— Ладно, в пять...

— И Леонтьеву передай.

— Передам...

«А как же Зойка? А что Зойка? Я ее не обманываю. Если ей хорошо бродить со мной, если ей хорошо танцевать со мной... Но ты же видел то, что написано в ее глазах. Видел. Ну и что? Ведь в мире все условно. Так говорит Виталий Леонтьев. А-а... Просто все запуталось, надоело это состояние безразличия, эти мысли... Сегодня я пойду к Ольге, буду есть пирог с черничным вареньем. А со мной за стол сядет одессит в черном костюме...»

— Это ты пришел, Букварь? Проходи, проходи. Какой ты точный. Ровно в восемь. Садись. Что ты так все оглядываешься? Никого нет.

— Я ищу Буратино,— придумал Букварь.

— Так вот же он, на подоконнике.

Буратино сидел на подоконнике в теплых солнечных лучах, спиной к тайге, задрав нос.

— Видишь, он сразу ожил.

— Вижу,— засмеялась Ольга.— Я никогда не буду сажать его на цепь. Устраивайся у стола.

— Я же один пока.

— Ты и будешь один. Вот пирог.

— Ну и пирог! Просто блеск!

Пирог приплыл в Ольгиных руках на стол, пахнул черникой, круглый, словно плетеный, с упитанными, загорелыми боками колобка.

— Между прочим, у меня сегодня день рождения.

— Вот тебе раз! Ты бы хоть предупредила! Хоть бы сказала... Оленька, я тебя поздравляю... Я тебя...

— Уже девятнадцать. Совсем старуха.

— Все-таки я старше тебя на три месяца.

— Совсем старуха и скоро седеть начну.

— Это уж точно. А потом на пенсию...

— Вина не будет. Только чай и пирог. Традиционные. В нашем детдоме мы всегда так отмечали дни рождения. Чаем и пирогом с черничным вареньем.

— Ну, тогда...

Нож из нержавеющей стали быстро и ловко резал тонкие румяные плети сдобного теста. Чернильные куски выстраивались на тарелке. Букварь смотрел на Ольгу, высунувшую язык, и снова узнавал в ней счастливую и вертлявую девчонку со смеющимися глазами, какой была она на Канзыбе. Мысли Букваря пошли по непонятной кривой, и он сказал совсем некстати:

— Скоро будет две недели, как Кешка...

Нож из нержавеющей стали вздрогнул и начал резать пирог неуверенно.

— А где ты покупала черничное варенье? — растерянно заинтересовался Букварь.

— Привет тебе! Зайди в любой магазин.

— Разве?..

— В детдоме мы, конечно, не покупали варенье в магазинах. У нас вокруг были такие леса!

— Леса?..

— Ну да, леса! Ты что, не слушаешь меня?

— Нет, я слушаю. Я соображаю. И еще я смотрю на пирог.

«Я смотрю на пирог и вижу твои руки, вижу твои пальцы, твои тонкие загорелые пальцы. Мне нравится смотреть на твои пальцы. Они такие...»

— Отличный пирог! В порядке!

— А на Канзыбе я готовила хуже?

— Ну что ты!

«Просто я забыл о Канзыбе. Я не хотел вспоминать этого слова. Я думал, оно испортит тебе настроение. А ты назвала его сама. Значит, у тебя все перегорело? А может быть, и не было ничего? Как у Николая? И теперь этот одессит...»

— Я ведь и в детдоме была поварихой. Из чего только не стряпала! Было время—и из картофельных очисток. Ты не жадничай, Букварь, ты работай зубами....

— А я и зубами...

— Потом только мне и доверяли готовить пирог с черничным вареньем. И каждый раз, когда ребята ели его, я волновалась. Нет, честное слово. Я даже знала заранее, кто как будет есть. Вот уже забыла фамилии некоторых ребят, а как они ели, помню, их глаза и губы, их любимые жесты... Смешно, да?

— Смешно...

— Вот ты ешь, как Петька Соломатин. Был у нас такой парень, толстый и щербатый. Очень жадный. Торопишься, даже не пережевываешь. Ты тоже жадный?

— Смотря до чего.

— Видишь эту пачку бумажек? Телеграммы. Сегодня пришли. Двадцать три. Каждая кончается: «желаем черничным». Смотрю на подписи и вижу двадцать три рта, вижу, как едят эти рты и как они сытно облизываются. Смешно, да?

— Смешно...

— Трое моряков, один летчик, портниха, есть студенты. Все думали, что я стану шеф-поваром. Или на крайний случай актрисой: как-то я играла Снегурочку. А я вот штукатур.

— Так и останешься штукатуром?

— Нет, я буду физиком.

— Точно?

— Абсолютно точно. Вот пройдет по Саянам первый поезд, и я уеду в институт... Хитрый ты! Застав-

ляешь меня болтать, а сам уписываешь кусок за куском!

— Я по инерции... Я же не ел таких пирогов.

— Честное пионерское?

— Честное.

— А я уж думала, что просто к ним привыкла. У нас в детдоме такой пирог был пределом мечтаний. Он и еще соленый арбуз.

— Чего, чего?

— Что ты, никогда не ел соленого арбуза? Как же ты жил девятнадцать лет? Я один раз пробовала.

— Я много потерял?

— Уже и не помню его вкуса. Совсем не помню. Может быть, ты и ничего не потерял. Только не в этом дело.

— А в чем?

— Это трудно понять... Представь себе глухое удмуртское село, бедный колхоз, вокруг леса, и в лесу наш детдом... Питались мы тогда не так, чтобы очень. О многих вещах знали понаслышке... Об арбузе тоже... И вдруг однажды весной к одной из наших девчонок, Ленке Муравьевой, приехал родственник. Какой-то двоюродный дядя, брать он ее не собирался, просто заехал навестить. Сорок семь гавриков, и я в том числе, ходили за этим двоюродным дядей, молча смотрели на него. Мы-то вообще никаких родственников не знали. Мы так завидовали Ленке! Гостил этот дядя дня два. Потом уехал. Оставил Ленке гостинцы. Обыкновенные: хлеб, сало, пряники, черствые уже пироги. И с ними — соленый арбуз. Дядя был откуда-то с юга.

— Добрый дядя.

— Все-таки он приехал... Ленка тогда разделила арбуз по-братски. Он был маленький, и дольки получились крошечные. Ели мы их долго, смакуя. Сначала мне казалось, что я ем соленый помидор, но потом я забыла об этом. Ела я что-то сказочное и чудесное. По глазам наших ребятишек видела, что они чувствуют то же самое.

— И с тех пор...

— Ты не подсказывай. Если хочешь слушать.

— Я хочу слушать.

— Мы тогда стали мечтать о соленом арбузе. Знаешь, как о какой-то синей птице. К этой мечте примешивалась и тоска по родным, которых у нас не было. Мы сидели зимними вечерами в своем холодном домике, заваленном снегом, и мечтали о жаре, о солнце и о соленом арбузе — символе чего-то чудесного, что обязательно должно произойти в жизни каждого. Чудаки! Тогда, зимой, мы и задумали послать экспедицию. За соленым арбузом. Экспедицией был Сашка Голутвин, самый деятельный наш парень. Больше всех он говорил об арбузе. На рынке мы загоняли всякое барахло, подрабатывали в колхозе, насобирали Сашке денег на дорогу и на арбуз. Сашка уехал и пропал. Потом его поймала милиция. Вовсе и не на юге, а в Свердловске. Он спекулировал чем-то и лазал в трамваях по карманам. Перед тем как отправить Сашку в колонию, его привезли к нам в детдом. Мы стояли напротив него огорошенные: Сашка — и вдруг обманул, мы же верили ему. А Сашка только смеялся: «Дураки! Поверили в сказочку? Вам дядя всучил большой соленый помидор, а вы поверили! Их и нет, соленых-то арбузов! Дураки...» Мы и были тогда дураки, сорок шесть маленьких дураков. Съели какую-то ерунду и выдумали...

— Вовсе не дураки. Разве дело во вкусе? Дело в мечте.

— Ну, в мечте. А зачем мечтать о том, чего нет?

— Почему нет? Есть же соленые арбузы.

— Нет, Букварь,— глухо сказала Ольга,— нет их.

Букварь поднял голову и не узнал Ольгу. Она смотрела в распахнутое окно, и в глазах ее были отчужденность и тоска. Вовсе не такая Ольга прыгала на метле по канзыбинским камням и смеялась солнечно. И Букварь понял, что время Буратино кончилось, что Канзыба в Ольгиной жизни, как и в его, не прошла даром и что последние слова Ольги были вовсе и не об арбузе.

Ольгин взгляд был как первый седой волос.

— Все-таки где-то они есть,— тихо сказал Букварь,— эти самые соленые арбузы.

(Окончание следует).

Расул Гамзатов

Поэту

Ветры в драку кинулись с вершины,
Ты, поэт, строкою в них пальни,
Унося дырявые хурджины,
За горами скроются они.

Шторм на море, море разъярилось,
Встань над ним, поэт,
и повели,
Чтоб оно сменило гнев на милость,
В гавани вернуло корабли.

На дорогах снежные завалы.
Затруби, поэт, в апрельский рог,
Чтобы вновь открылись перевалы,
Обнажились лезвия дорог.

Плачет мать,
склонившись к изголовью
Сына, что зовет ее в бреду.
Ты, поэт, своей пожертвуй кровью
И надежды засвети звезду.

Пал солдат.
И в пурпуре заката
Низко травы клонятся вблизи,
Стихотворец,
воскреси солдата,
Будь призванью верен, воскреси!

Возврати любимого любимой,
Голым веткам шелест подари.
И тропу вдоль чащи нелюдимой
Ты от сердца к сердцу протори.

Путника запекшиеся губы
Ты смочи журчаньем родника.
И когда трубят горнисты Кубы,
Призови себя в ее войска.

Ты суди по совести и чести,
Неподкупный, праведный судья.
Чтобы тени прошлого исчезли,
Сторониться времени нельзя.

Письмо из Индии

Александру Твардовскому

Мне чудится, что вал морской
заиндевел,
Но день горяч, и трудно я дышу.
Привет тебе из философской Индии,
Откуда эту весточку пишу.

Ни облачка над улицами города,
И кажется, что выцвел небосвод.
Шумит Бомбей и, захмелев от голода,
В тарелках щедро солнце раздает.

Пью только чай и охлаждаюсь
соками,
Жара похожа на сухой закон,
Взгляд у меня тоскующего сокола
И к бездне океана обращен.

Штурмует волн всклокоченное
воинство
Передний край тропической земли.
И, полон океанского достоинства,
Встал пароход от берега вдали.

Вздымая флаг,
что с парусами алыми
Находится в немеркнущем родстве,
Он, как вершина горная над скалами,
Над волнами белеет в синеве.

В его черты я вглядываюсь
пристальней,
Мне дороги они.
Я их люблю.
Не может он пришвартоваться
к пристани:
Опасна мель большому кораблю.

И, как судьба, соленая и славная,
К его груди прильнула глубина.
И корабля вниманье неослабное
Во все погоды чувствует она.

А между ним и раскаленным берегом
Мне лодки плоскодонные видны.
И в суете приходится им, бедненьким,
Захлебываться накипью волны.

Они признанья дальнего не видели
И груз годов им вряд ли по плечу.
Пишу тебе из философской Индии
И мысленно обнять тебя хочу.

Подобно встрепенувшемуся соколу,
Я вижу сквозь завистливую даль:
Несешь ты гордо голову высокую,
Качают сердце радость и печаль.

С аварского

Осень

Словно нехотя падают листья,
И пылает огнем мушмула.
Всюду шкуры расстелены лисьи:
Вот и осень пришла.

С тихой грустью касатка щебечет,
Уронила пушинку с крыла.
И цветы догорают, как свечи:
Вот и осень пришла.

Курдюки нагулявшие летом,
Овцы сходят к долинам тепла.
Горы хмурые смотрят вослед им:
Вот и осень пришла.

И печальна она и прекрасна,
Как душевная зрелость светла.
И задумался я не напрасно:
Вот и осень пришла.

Помню весен, промчавшихся мимо,
Зеленеющие купола.
Лист упал, и в груди защемило:
Вот и осень пришла.

Впереди будут долгие ночи,
Будет стылая вьюга бела,
В печках красный поселится кочет:
Вот и осень пришла.

Затрубили ветра, как пророки,
И слезинка ползет вдоль стекла.
Лист иль сердце лежит на пороге?
Вот и осень пришла.

Переводы Якова КОЗЛОВСКОГО

На смерть друга — Гамида Темирханова

И ты уходишь той дорогой,
Где нету места для живых,
По ней и так уж очень много
Друзей отправилось моих

В тот край, где за чертою мира
Знакомый расселился люд,
Где людям ордер на квартиры
Без волокиты выдают.

Там нет ни званий, ни мандатов,
В том крае не жалеют мест,
Там с путников, как с депутатов,
Не просят платы за проезд.

Там нет с деньгами затруднений
И не выходят там из смет,
Там нет больных и бюллетеней,
Да и болезней тоже нет.

А здесь, верша свой скромный подвиг,
Ночами не смыкал ты глаз.
И правом на покой и отдых
Ты пользуешься в первый раз.

Мы знаем чудо возвращенья
Из лагерей, с межзвездных трасс,
Нет лишь оттуда возвращенья,
Куда тебя несут сейчас.

И все ж привыкшему к потерям
Мне кажется, что это ложь.
Гамид, ты слышишь, мы не верим,
Что к нам ты больше не придешь.

Здесь, на вершинах

Мой друг, кончай пустые споры,
Смех прекрати, сотри слезу,
Быстрее поднимайся в гору,
Ты, суетящийся внизу!

Не бойся головокруженья
От высоты,
Не бойся здесь лишиться зренья
От красоты!

Быстрее поднимайся в горы,
Свои сомненья успокой,
Свобода твой раскроет ворот
Своей невидимой рукой!

Покой тебе протянет руку,
И мимолетно, на ходу,
Сожмет ладонь, раздавит скуку,
И с нею ложную вражду.

Замрешь, и где-то в отдаленье
Послышится негромкий хруст,
Покажутся рога оленьи,
Как на скале нелепый куст.

В полночный час на небо глянешь,
Достанешь пальцами луну,
Вдали непуганые лани
Запляшут под твою зурну.

Здесь все равны чины и лица,
Здесь всем достаточно наград.
Здесь человеку только птицы
И те по неразумью льстят.

Здесь каждый человек почтенен,
И всем он издавна знаком.
Здесь должен преклонять колени
Он только перед родником.

Друзья мои, кончайте споры!
Из духоты своих квартир
Быстрее поднимайтесь в горы,
Чтоб с высоты увидеть мир.

Не бойтесь здесь лишиться зренья
От красоты,
Не бойтесь головокруженья
От высоты!

Переводы Наума ГРЕБНЕВА

Рассказ

Участник IV Всесоюзного совещания молодых писателей

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

Чужая тень

Рисунки В. Инютина.

Осенние дни тянутся тусклой, пасмурной вереницей. Мне легче, чем соседям; хочется с кем-нибудь говорить, чтобы не было так тихо и грустно в нашей сумрачной палате. Но соседи молчат: им не до меня. Дождь колючей щеткой царапает оконное стекло и хлюпает в пузырящихся лужах.

А потом неожиданно одно серое и мрачное утро вдруг сразу посветлело: еще к двоим моим соседям как-то враз вернулись силы. Мы заговорили о погоде, что вот скоро уже кончатся эти надоедливые дожди и мороз прихватит землю, а тогда, пожалуй, и дело пойдет на поправку...

Теперь молчал только один, наш четвертый,— усталый старик с серым, безжизненным лицом. Его принесли на носилках поздним тихим вечером и положили у окна. Утром пришла сестра и к спинке его кровати повесила холодную жестяную табличку: «Георгий Васильевич Скопин. 52 года».

Старик лежал, обессиленно положив голову на подушку, закрыв глаза, ко всему безучастный и, казалось, завидовал нам: троим в палате становилось с каждым днем лучше, ему — хуже.

В жаркой духоте ночной палаты он вдруг заплакал. Было очень странно и даже страшно: рядом, на соседней койке, как ребенок, молча всхлипывал поседевший человек. Он долго сморкался и кашлял, потом успокоился и как будто заснул, раскинув горячие руки на широкой измятой подушке.

Рано утром в палату, как всегда, пришла няня, вымыла пол, прибралась на тумбочках: там всегда беспорядок, а скоро обход врача...

У изголовья стариковской кровати висит календарь. Няня потянулась к нему, чтобы оторвать еще один листок. Скопин уже проснулся, но лежал, закрыв глаза.

Вдруг он вскочил, закашлялся, истерически закричал:

— Ну, и чего тебе покоя нет?! Уйди! Уйдите вы все к черту, оставьте меня одного!.. Дайте хоть помереть спокойно...

Нянечка испуганно отскочила в коридор, плотно прикрыла нашу дверь и расплакалась.

Эх, старик, ни за что ведь обидел няньку-то!..

Другой ночью он неожиданно потребовал дежурного. А когда пришла Валя, наш лечащий врач, девчушка, только что окончившая институт, стал совать ей в руки скомканные, теплые от горячих рук бумажки.

— Ну, будь милая, купи мне лекарства,— шептал он срывавшимся, хриплым голосом.— Ну какого-нибудь лекарства... ведь есть же...— Потом закричал на нее: — Вылечи меня!.. Не можешь, да?..

И сник, медленно лег на подушку.

— Меня никто вылечить не может... и ты...

Наши тихие разговоры умолкали совсем неожиданно, и каждый думал о чем-то своем. Сейчас мне кажется, что все мы думали тогда о нем, о четвертом соседе. Было нам словно как-то неловко перед ним: ведь мы, в общем-то здоровые и крепкие люди, обязательно встанем на ноги, а он — кто знает...

Конечно же, думал я, поэтому он такой ворчливый, угрюмый, порой озлобленный. Так, наверное, бывает всегда, когда человек чувствует, что жизнь все-таки уходит, несмотря ни на чью помощь и сочувствие.

Скопин ничего не делал сам, что пошло бы ему на пользу, никогда не бодрился, казалось, не хотел поправиться. Иногда, откинув голову на подушку и закрыв глаза, он, словно сквозь сон, говорил:

— Скорей бы уж помереть!..

Старик повторял эти слова не очень часто, но с

какой-то странной и сильной внутренней убежденностью, словно решил это давно и окончательно. Поэтому, когда он, приподнявшись на худых морщинистых руках с дряблой желтой кожей и вздувшимися, бугристыми венами, говорил это «Скорей бы уж помереть!..», становилось по-настоящему страшно.

Солнце редко пробивалось в те дни сквозь плотное одеяло туч в нашу палату. Но однажды мы проснулись от ярких, звонких его лучей. Теплыми золотыми струнами спускались они на желтый больничный пол, светлыми пятнами разбегались по комнате. Казалось, в палату внесли что-то очень яркое, живое, и оно, беспокойное, трепещется по стенам, потолку, кроватям... На дворе подморозило, и бесформенную грубую грязь слегка тронуло новорожденным инеем.

Георгий Васильевич тоже как будто повеселел в тот день. Он попробовал пошутить даже... Только шутка показалась странной и неприятной: вот, поди-ка, и пронесло непогодь, не дай бог, и поправлюсь еще...

— Брось-ка, брось!..— стал успокаивать его Мошкин, один из нашей «здоровой» тройки.— Мы с тобой еще, глядишь, и чекушечку раздавим...

Посмеялись, на том и кончилось. В самом деле, все пошло на лад и у Скопина. Только был он как будто всегда недоволен и молчалив, если к нам кто-нибудь приходил.

Палата наша на первом этаже, и у окна то и дело кто-нибудь торчит. Гостей у нас много: приходят родные, друзья, товарищи по работе. Приносят яблоки, конфеты, толкают все это в форточку и страшно обижаются, когда мы не берем чего-нибудь. А потом долго стоят, прижавшись смешными, расплющенными носами к стеклу, и сложным языком жестов и междометий рассказывают о новостях... Василию жена принесла даже горячих пельменей, а к ним, несмотря на запрет врачей, «прицеп». Василий, шутя, перекрестился, выпил, крякнул и в знак особой благодарности жене чмокнул оконное стекло.

Не были только к Скопину, а мы не сразу это заметили. Но как-то пришла няня и принесла куль нежно-розовых, прозрачных, словно восковых яблок.

— Мне?! — удивился он, а когда та кивнула головой, сразу расстроил ее: — И всегда-то ты, девка, перепутаешь...

— Да вам же это, вам,— чуть не плакала она,— женщина принесла, говорит, отдай Скопину... жена...

— Жена...— протянул он, умолк, нахохлился.— Врала-то хоть бы складно,— сказал он тихонько, тоскливо. Но от яблок не отказался и хоть есть их не стал — видно, не до того ему было,— бережно положил в тумбочку. Няня ушла, он как-то горько усмехнулся: — Вот, заботятся... По рублевке, поди-ка, собрали, и мне... А я им кто?.. Вот черти...

Помолчал минуту, повернулся на бок.

— А на што это надо! Что я, голодный?..

Когда «наша Валя» пришла в палату, Скопин пожаловался:

— Скажи своим нянькам, чтобы не приносили мне ничего. Не нищий, пенсию получаю... На яблоки хватит!..

Мошкин как-то спросил старика в упор:

— Слышь, Скопин, а чего к тебе никто не ходит, а?

Он медленно открыл глаза, удивленно посмотрел на форточку, на нас, облизнул пересохшие, потрескавшиеся губы, сказал спокойно, грустно усмехнувшись:

— Кому же ходить?.. Некому... Жены нет, умерла... давно уж... Дети, говоришь? Сын только... Так он работает, некогда ему...

— Ну, некогда,— протянул Мошкин,— уж и что за работа такая?.. — Он вздохнул, чуть помолчал.— Я самолично так думаю: если отец, родная кровь, заболел, так хоть из-за тридевяти земель, да приди. Дело, конечно, не в яблоках, не в прочих там передачах: этим не поможешь. Главное, сам приди. Родной человек и словом подсобить может...

Старик, казалось, не слушал. Он повернулся лицом к стене и надолго умолк. Словно обиделся, что вмешались в чужое дело.

На этом и оборвался наш первый разговор. Только как будто бы после него все мы стали заботливее к старику. Неугомонный Мошкин старался изо всех сил, рассказывал старые смешные анекдоты. И всем становилось веселее, легче, когда вместе с нами смеялся и Скопин.

Василий, по профессии охотничий инспектор, был кладезью для больницы. Он рассказывал свои необычайные истории и в коридоре — сестрам, в соседних палатах и в курилке — «ходячим» больным. Там то и дело раздавались взрывы смеха, который, даже по признанию врачей, действовал лучше всяких лекарств. Но поистине неподражаем был Василий, когда его слушал старик.

Мне по утрам приносили из дому пачку свежих газет. Я читал их вслух, а потом мы долго рассуждали о новых самолетах, спутниках... И теперь уже вчетвером. Старик стал веселее, приободрился, перестал капризничать. А однажды, когда в палату снова пришла няня, которую обругал он ни за что, старик подозвал ее поближе:

— Ну ты, девонька, того... не серчай на меня... совсем выжил старик.

Мы понимали: нас, четверых, совершенно разных людей, сроднило что-то особое, большое, близкое. Казалось, все забыли о сыне старика.

...Это случилось в субботу, под вечер. На дворе торопливо моросил дождь, и снова размякла, расплылась грязь. Его сын пришел не один — вдвоем с другом. Окно отпотело, и, казалось, не люди, а две серые человеческие тени качались там, во дворе, в грязных осенних сумерках.

Старик быстро приподнялся и сел на кровати. Он улыбался, глядя пустыми, бесцветными глазами на отпотевшее окно. Улыбался и молчал. А из форточки несся бессвязный, пьяный лепет. Скопин как-то сразу потускнел, потом бессильно качнул желтой, сухой рукой, сказал тяжело, словно сдерживая комок, подкативший к горлу:

— Опять пьяный. Иди, проспись... Эх, ты, сынок!.. Иди, иди, ничего мне не надо... Уходи!..

И он снова лег, уставший, тяжело дыша, закрыв глаза. Парни попытались еще кричать что-то там, за окном: допытывались, что надо принести старику. Георгий Васильевич молчал. Тогда, придерживая рукой широкие пижамные брюки, подошел Мошкин, покрасневший, возбужденный, с треском распахнул форточку. Струя холодного воздуха парусом прогнула штору.

— Ну, чего орешь?.. Отец тут мается, а ты, пьяная твоя рожа, понятия не имеешь!— крикнул он. А потом, просунув голову в форточку, гаркнул: — Гад ты, понял! А ну, проваливай!..

Парни сначала опешили. Потом один из них крикнул фальцетом:

— Ладно, ладно, не ругайся, мужик, не твое это дело... Что принести-то ему?

Мошкин помолчал в замешательстве: то ли сказать им, то ли нет. Потом крикнул, чтобы принесли завтра клюквенного морса — это вкусно, да и старик очень хотел его.

— О-о, морс будет, будет!.. А может, лучше полбаночки, а? — крикнул один, и они, расхохотавшись, ушли в темноту, поскальзываясь в грязи и размахивая руками.

Сироп назавтра появился, но принесла его Валя. А когда старик всполошился и попробовал отказаться, неожиданно прикрикнула на него:

— Выполняйте, что говорит врач! — И сразу ушла, расстроенная, потому что не может ничем помочь.

...А сын так и не пришел. Скопин, как мы ни старались, был молчалив и угрюм. Ему снова стало хуже:

болезнь сердца с длинным пугающим названием брала свое. Потом ему полегчало, и однажды, задумавшись, он сказал первый:

— Пьет... Связался с разными... Эх, да черт с ним.

Вот и все. Скоро я выписался из больницы и уехал в другой город. А когда вернулся снова через несколько месяцев, случайно встретил нашего доктора, Валю. Мы остановились в шумной уличной толчее. Она сказала:

— А Скопин умер,— и задумалась.

Вокруг шумела разноцветная толпа прохожих, и легкий ветер шевелил молодые тополиные листья — была весна. Валя смотрела куда-то вбок и говорила, словно извиняясь:

— Сердце совсем износилось, новым не заменишь. Он болел десять лет.

Мы простились, и я побрел к реке. Обрывистый берег с могучими тополями наверху падал к коричневой воде. Но она казалась голубой: это отражались в ее спокойной глади небесная синь и спокойная белизна облаков. И старая река казалась моложе оттого, что в ее глазах отражается весна.

Вот так же и у людей, подумал я.

Я стоял на берегу, смотрел на воду, в которой отражалось бездонное небо, и думал о нем...

Нет, не о старике... А о том... О его сыне, которого я так и не увидел тогда: за отпотевшим стеклом раскачивалась серая, безликая тень.

Я стоял на берегу старой реки, в гладь которой смотрелось молодое небо, и думал: жаль, что я видел только тень. Ведь я не смогу даже узнать его, встретив на улице!..

Невыдуманные рассказы

Илья ЗВЕРЕВ

Трест имени Мопассана

и другие

сентиментальные истории

Рисунки Б. Косульникова.

«Это был человек-помост. Всякий знает, что мир держится на плечах Атласа, что Атлас стоит на железной решетке, а железная решетка установлена на спине черепахи. Черепахе тоже надо стоять на чем-нибудь, она и стоит на помосте, сколоченном из таких людей...»

О'Генри

Трест имени Мопассана

Управляющий трестом сказал на участковом собрании, что «Югоэнергоспецтехмонтаж» — это длинно и неблагозвучно. Тем более, теперь есть такое веяние, чтоб давать организациям какие-нибудь красивые названия, соответствующие их профилю. Например, имеется электрофирма «Светлана» или химзавод имени композитора Бородина, который, как известно, был химик.

И тогда встал Степан Иваныч Кашлаков — длинный серьезный дядя, прораб «Металломонтажа» — и простуженным своим басом предложил:

— А наш хай будет трест имени Мопассана.—И с горечью добавил:— Очень соответствует профилю.

Управляющий обиделся. В зале понимающе загоготали и захлопали. В самом деле, на участке все время случались какие-то любовные истории...

Пожилой турбинист дядя Вася Савченко отбил молоденькую жену у начальника цеха Гоголева. Все очень переживали эту историю, но, против правил, одобряли. Потому что дядя Вася был монтажник и рыцарь, а этот Гоголев — молодая тля с инженерским значком (он в опасных случаях брал с прорабов расписки, чтоб самому не отвечать)...

Потом одна девочка, Клава-изолировщица, хотела отравиться из-за несчастной любви к фотографу. Она написала письмо в шесть страниц, чтоб никого не винили и

Автор отважился назвать эти рассказы «невыдуманными», потому что они, как говорится, взяты из жизни. (Но, конечно, не так уж точно, чтоб можно было называть фамилии и адреса.) Эти истории автор пережил сам или узнал от участников и очевидцев.

чтоб фотограф все-таки пришел как-нибудь, один разик, на ее могилку. А потом приняла шесть таблеток пирамидона. Она думала, этого достаточно, а спросить было не у кого.

Ничего страшного от пирамидона не случилось, но письмо на тумбочке нашли. И был большой перепуг. Сначала хотели исключить из комсомола ее, а потом фотографа (но он даже не был знаком со страдалицей). В конце концов объявили выговор члену комитета, ответственному за культмассовую работу, так как при хорошей культурно-массовой работе подобные факты, конечно, были бы невозможны.

Но Степан Кашлаков, внося свое саркастическое предложение насчет Мопассана, намекал совсем на другую историю, в которой, безусловно, был виноват сам...

На участке работал Костя Каретников, сварщик, со странным прозвищем «Крыси-Маус». Это был такой добродушный мышонок — беленький, с красным носиком, действительно не очень красивый. Он не обижался, когда его так называли, потому что монтажники — народ заводной, они всех разыгрывают, и если тут начнешь обижаться, то никогда не кончишь, и лучше сразу перейти в бухгалтерию или в плановый отдел.

Работал этот Маус, по молодости лет, по последнему классу, как говорится, «на подхвате». Потому что в высотной бригаде вакансии не часто освобождаются: из высотников не уходят (уносят — это еще случается: работа рисковая, на высоте). Но тут, слава богу, никто не упал, а Мауса все-таки допустили в бригаду: началась монтажная горячка на главном корпусе, и мобилизовали всех, «способных носить оружие»...

Пока он там осваивался и зеленел, пролезая по балкам на сорокаметровой высотище, его не трогали. В такое время над человеком смеяться нельзя, а то он из гордости выкинет какую-нибудь штуку, какой-нибудь излишний подвиг — и все. На этот счет монтажники ученые.

Они его даже нахваливали: «Давай, давай, Крыси! Молодец, ничего парень!»

«Ничего» — это была высокая похвала для понимающего человека. Надо учесть, что о самом космическом полете они сказали: «А ничего слетал Гагарин!» Они вообще не считали свое дело ниже, чем гагаринское. Они считали — примерно наравне. Тут тоже высота, а если полетишь, то не в космос, а в противоположную сторону. И без ковровой дорожки и без поездки в Лондон, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро. Так что Крыси мог гордиться, когда ребята ему сказали: ничего!

Но вот прошло месяца полтора, и стали Крыси-Мауса страшно дразнить. А он, по неопытности, даже не догадался, что это его праздник. Вроде бы выдача аттестата или диплома: теперь он монтажник как монтажник, чего ради с ним нежничать?

Особенно его доводил Митя Сморгон — мордастый, здоровущий парень в тельняшке. Он каждый день что-нибудь такое придумывал... Вот однажды в прорабке рассказывает:

— Я варю на тридцать пятой отметке кронштейн. Смотрю, этот Крыси-Мыси по балке ползет и кричит: «Мама!»

— Да я не «мама» кричал! — взмолился тот.— Я матюкался! Потому что электроды паршивые.

— Матюкался? Тогда извини, пожалуйста. Тогда ты молодец, истино християнська душа...

А надо сказать, что монтажники — народ грубоватый. И они даже немножко задаются этим. На сей счет есть разные теории. Самую лучшую сочинил Вовка Леонов, в прошлом начинающий писатель, ныне законченный монтажник.

Он приехал сюда позапрошлым летом, чтоб поработать несколько месяцев, собрать, так сказать, материал из гущи жизни. Ребята над ним измывались, как только могли, из-за этого «материала из гущи». Но Вовка все стерпел, и ему даже вдруг понравилось, и он тут остался насовсем. Бригада уже давно считает его своим, а он все оправдывается, все что-то доказывает и ведет себя с ненужной лихостью.

Так вот, этот беглый интеллигент утверждает, что ругань на высоте есть производственная необходимость. Не станешь же ты, сидя на подкровельной балке, кричать соседу в другой конец главного корпуса: «Что же ты, коллега, варишь первый стык, который понадобится только к вечеру, между тем как должен бы варить седьмой»?! Нет, тут просто крикнешь: «Мишка, трамтарарам...» — и сразу все ясно.

Этой гнилой теории дали достойный отпор, когда присваивали звания ударников коммунистического труда. Но потом, к сожалению, все-таки оказалось, что отпор был недостаточный...

Однажды в прорабке после наряда Крыси-Маус воспользовался тем, что вся бригада была в сборе, и сказал речь:

— Хлопцы, я вас очень прошу. Вот эти шесть дней, начиная со вторника, не называйте меня... ну этим, Маусом, и вообще... не очень. Сделайте одолжение.

— А что случилось? Почему шесть дней, а не восемь? Лично я больше трех не выдержу! — радостно завопил Яшка Кирячок.

— Тут одна знакомая приезжает,— жалобно сказал Крыси-Маус.— Школьный товарищ...

— Ага! — сказали монтажники.

И больше ничего не сказали. И загнали обратно в глотки уже готовые остроты и каламбуры. Было ясно, что они учли и приняли к сведению.

Точно во вторник на площадке появилась девчонка — хорошенькая, черненькая, с гордым носиком. Бригада осмотрела ее со своей высоты и одобрила. Утвердила, как говорят руководящие товарищи.

Она приехала на ГРЭС черт-те откуда, из запорожского техникума. Считается, что на практику, хотя вряд ли за казенный счет ее послали бы практиковаться так далеко. Она чего-то там копалась на нулевой отметке и время от времени посматривала наверх, на своего прекрасного Крыси.

В первые дни разведка доложила, что ничего особенного у них, кажется, нет. Ходят себе за полметра друг от друга. Действительно, товарищи по школе, разные там воспоминания детства, «тебя с седыми прядками над нашими тетрадками, учительница старая моя» и так далее...

Но на третий день у них состоялся какой-то разговор. И потом они уже весь вечер ходили в обнимку по пустынным недостроенным кварталам, поскольку парка культуры в поселке еще не было.

Тут этот Кры... то есть Костя Каретников, совершенно одурел от излишнего счастья. Он пренебрегал монтажным поясом и не привязывался. Он бегом бегал по балкам, ссыпался по дрожащим монтажным лестничкам через две ступеньки на третью, как Иисус Христос ходил по облакам. Так что Митя Сморгон в конце концов сказал ему на ухо:

— Брось эти штучки! Ты доиграешься: оставишь нас без свадьбы. А мы все мечтаем погулять на твоей свадьбе.

Конечно, глупо давать советы, когда человек в таком состоянии! И Митя плюнул. Тем более, что сам он тайно верил в судьбу и считал, что счастливые не падают. Он только предупредил:

— Не будешь привязываться — набью рыло. При ней!

И вот надо же было, чтобы в тот великолепный четвертый день Костя сделал промашку. Он пропустил один важный стык и побежал варить дальше. За такие вещи на монтаже вообще не милуют. Но он еще, на свою беду, напоролся на прораба, на самого Степана Иваныча.

— Шо ж ты, сопляк, делаешь? — заорал тот на весь главный корпус.— Это ж кронштейн, а не мамкина титя.

Работавший неподалеку Сморгон сделал бросок к прорабу:

— Ша, Степан Иваныч, тихо. У него тут девчонка.

Но он и сам ни на что не надеялся: разве Степана Иваныча закроешь, когда тот злой?

— Дермо, понимаешь, крыса-мыша, и тоже в монтажники лезет! — вопил прораб еще пуще прежнего.— А ну, слазь к черту! Иди домой или куда хочешь. Вон отсюда!

— Девчонка у него тут. Во-от стоит, рот раскрыла,— грустно сказал Митя.— Просил же человек учесть.

— Нет! — взревел прораб.— Я еще буду амуры учитывать! Серенады! Тут, понимаешь, Иващенко треклятый нашу арматуру затяг. И еще этот лезет, сопля мышиная...

— Ти-хо! — сказал Митя, да как-то так убедительно, что Степан Иваныч вдруг замолк. Он плюнул себе под ноги и пошел искать треклятого Иващенку...

Еще счастье, что это был конец рабочего дня. Костя кое-как доварил тот несчастный стык и убежал домой задами, через углеподготовку, через сборно-укрепительную площадку, на которой навалено разное механическое железо. Девочка поискала-поискала его и ушла...

Бригада по дороге провела совещание.

— Невдобно,— сказала Яшка Кирячок.

— Степан должен извиниться. Надо прямо потребовать! — воскликнул интеллигентный Вовка Леонов.

— Как же, жди, он извинится...— мрачно пообещал Митя.

— Может, еще сами договорятся — наш и эта девчонка,— примирительно сказал старик Кононов.— Поцелуются три раза — и все...

Вечером при встрече у пивного киоска «Голубой Дунай» Митя намекнул Кашлакову. Но Степан Иваныч слушать его не пожелал, а только заметил, что грех из-за какого-то пацана унижать старого монтажника, который, между прочим, из всех вас, щенков, людей поделал.

Митя думал, что Крыси-Маус на работу не придет. Но он пришел. Только попросил, чтоб его на главный корпус не посылали, а куда-нибудь в другое место. Например, на химводоочистку.

Ему, конечно, сказали: пожалуйста. А Митя еще провел небольшую беседу. Мол, не надо особенно на прораба обижаться. Он всегда такой. Он раз даже заместителя министра шуганул (когда еще было министерство). И он для монтажников, как бог, на которого нехорошо зло иметь. И он еще с самого Днепрогэса вкалывает — все на нервной работе. И девчонка тоже может понять...

— Она у тебя в каком техникуме? — спросил Митя.— В строительном? Тем более должна понимать такие вещи. На производстве пригодится. Спасибо скажет. А то их там как в гимназии держат, а потом сразу на стройку, в грубую жизнь. Ведь верно? А?

Он все это говорил почти заискивающе. Кто знает Митю, никогда не поверил бы. Но, с другой стороны, может, и поверил бы, если бы знал, по какому это он поводу роняет себя...

Перед обедом девчонка подошла к Яшке Кирячку и спросила, где можно видеть Каретникова Костю.

— Он срочно послан на особый участок,— ответил Яшка, который редко терялся.— Назначен для проведения ответственной спецработы по первому классу «А».

Никакого такого класса и нет вовсе, но пусть такая-сякая чувствует!

От старика Кононова, который тоже работал на химводоочистке, стало известно вот что: мучается Крыси, даже обедать не ходил, чтоб случайно не встретить эту.

А она после смены ушла с какими-то трубачами, трубопроводчиками, нижними людьми, которых высотники всерьез не принимают. Она шла с ними как ни в чем не бывало и смеялась их неинтересным шуткам.

Тут уж стало ясно, что Маусовы дела плохи. Хотя, может, это и к лучшему, что она сразу себя так показала. Если она смогла смеяться подобным образом, когда ее Крыси страдает морально, то, может, это слава богу, что сразу все расстроилось! Не такая подруга нужна монтажнику в его суровой кочевой жизни, полной тревог и высоких стремлений. Теперь ребята ее не уважали, эту, из запорожского техникума. Но все равно, что-то надо было делать. Надо починить то, что нарушили, а там пускай сами разбираются. На эту мысль особенно нажимал Митя.

— Ты что, ненормальный? — сказали ребята.— Другой работы у нас нету?

— Хорошо вы рассуждаете,— сказал Митя.— Точно, как единоличные крестьяне.

Вечером Митя разыскал Крыси-Мауса в общежитии. Тот подбирал на баяне песню «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю». Печальная песня от его неумелости звучала уж совсем плачевно.

— Брось базикать,— приказал Митя, которому не понравилась эта музыка.— Ты когда именинник?

— Зачем тебе?

— Тебя спрашивают, ты отвечай!

— Девятого января,— уныло усмехнулся Маус.— В кровавое воскресенье.

— Она помнит, когда у тебя рождение?

Маус только пожал плечами: ну, для чего пристают к страдающему человеку с какими-то дурацкими глупостями?..

— Так вот. Хлопцы решили, что ты завтра будешь именинник. И мы устроим по этому случаю бал. И позовем эту твою, из Запорожья. И все поправим, что там Степан наломал. А твое дело маленькое: будь именинником — и все...

— Что уж тут поправишь, когда я сопля и дермо.

— Будь уверен,— сказал Митя.— Поправим. Тут лучшие умы планируют. У нас в детдоме в сорок девятом были такие именины — и во прошло!

На другое утро Вовка Леонов, еще не вполне изживший свои писательские замашки, намалевал плакат:

«Сегодня в 21 ч. вечера в ИТРовском зале столовой № 3 состоится ужин «Металломонтажа» по случаю дня рождения лучшего рабочего тов. Каретникова К.».

Но постройком Попов не дал наклеить. Он кричал, что Каретников не является лучшим рабочим. И для чего тогда вообще профсоюз старается, собирает процент выполнения и подводит итоги соревнования, если каждого можно вдруг ни с того, ни с сего объявить лучшим! Но партгрупорг — сварщик Илюхин сказал, что ничего, можно вешать, это ж для пользы...

Плакат все-таки не повесили. Сами ребята раздумали: это уж перебор какой-то, хватит с него именин. Навязался Митя с этой ерундой. Девяносто кило весит, рожа

бандитская, а такой чувствительный.

Митя придумал целый план, как его чествовать, Крыси-Мауса, как показать все монтажное величие. Это был прекрасный план. Но с главным звеном было еще неясно. Надо бы, чтоб во главе стола сидел Степан Иваныч и оказывал Крыси-Маусу какое-нибудь уважение. Но Яшу Кирячка, который ходил его приглашать, прораб просто прогнал. Без объяснений, только с указанием адреса.

Потом еще ходил старик Кононов. Этого, естественно, он погнать не мог. Но Степан Иваныч долго смеялся горьким смехом: значит, он обязан еще и явиться на эту комедию, затеянную специально против него! Против него, отдавшего тридцать три года жизни этому паршивому тресту «Южэнергоспецтехмонтаж», выучившего всех этих неблагодарных гадов-монтажников. Ему это даже смешно.

— Ты, Степа, всегда был чересчур гордый,— сказал Кононов.— И это сильно снижало...

У ребят тоже была небольшая дискуссия: надо дарить подарок или не надо? Не за что ему особенно дарить подарки! Что он, лучший рабочий? Или именинник? Выручить человека можно, но без излишеств...

Но, с другой стороны, праздник, так хай будет праздник. Монтажники не такой дешевый народ, чтобы считаться из-за какого-то там подарка. Скинулись еще по полтиннику и купили в раймаге черную китайскую шкатулку с золотыми драконами: пускай отдаст ей.

Митя пошел приглашать виновницу. Он отыскал ее в общежитии у девочек. Они там сидели втроем на одной кровати и говорили все разом. (Знаете, у девчат бывают такие семинары, по обмену опытом.)

Митя вызвал ее в коридор и сообщил, что вот такое приятное событие, что Косте устраивают ужин как лучшему монтажнику и что она тоже приглашена. В числе других.

— Как к т о приглашена? — спросила она и стрельнула своими прекрасными глазками так, что опытный человек Митя малость смутился.

— Как школьный товарищ,— сказал он.— Как свидетель первых его шагов....

— Ладно,— кивнула она и засмеялась Мите в лицо.— Приду. Как свидетель шагов. Можете ему передать: я приду.

— Он здесь ни при чем,— поспешно возразил Митя.— Почему это вам пришло в голову? Он даже не знает...

Она явилась в столовую, когда все уже собрались. Показала свои тридцать два белых, сказала «добрый вечер» и села. Только не рядом с Маусом, а в противоположном конце стола.

Старик Кононов открыл торжество. И сразу всем стало ясно, что это была грубая ошибка — поручать именно ему говорить столь ответственную речь. Старик развел какую-то канитель: ты, мол, еще молодой, Костя, и не можешь понимать, в чем смысл монтажного сословия...

Между тем надо было поскорей подчеркнуть заслуги Крыси-Мауса и вообще брать быка за рога, потому что именинник совершенно сник, а нахальная девчонка просто смеялась.

— Улыбки строишь,— обиделся вдруг на нее Кононов.— Быть монтажниковой женой — это не то же самое, что какой-нибудь другой! Тут тяжело, тут на улыбочках не проедешь...

После этих слов Крыси-Маус, совсем уже некрасивый и несчастный, вскочил со своего места и хорошим шагом пошел к двери.

— Т ы к у д а о б о ж д и,— пролепетал Митя чуть слышно.

Девчонка не спеша поднялась и тоже пошла к выходу. Ее, конечно, никто не удерживал.

— Богатая была идея,— сказал Яшка Кирячок, уныло оглядывая закуски и вина, не чересчур густо заполнявшие стол.

И все стали помаленьку жевать колбасу любительскую, и колбасу польскую полукопченую, и сыр голландский по три рубля кило. И без особенных тостов пить красное вино «Крымське червоне», а также белое вино «Биле столове».

В самый разгар этих похорон вдруг широко открылась дверь, и в зал, помирая со смеху, ввалился Яшка Кирячок, отлучавшийся к прорабу с последним ультиматумом: либо пусть приходит, либо пусть пеняет на себя. За Яшкой шел-таки сам Степан Иванович. В мрачнейшем расположении духа.

— А где же именинник и его именинница? — спросил Яшка, неуместно гыкая.— Так я вам могу сказать, где они. Они на старой автостанции. Целуются, гады,— аж дым идет! Но вам от меня спасибо, что не все сожрали.

И тут все разом задвигались, зашумели. И кто-то вдруг подарил китайскую шкатулку официантке Рае за культурное обслуживание. И все как-то более энергично накинулись на еду и питье. И немедленно забыли этого Крыси-Мауса, будь он неладен. Ей-богу, сколько беспокойства с какой-то соплей мышиной!

А Степан Иваныч весь вечер горько жаловался, что вот такое надругательство ему устроили из-за любовной ерунды. И вообще все тут неблагодарные, и не стоило их учить, трепать зря нервы, и не стоило с самого начала идти на этот проклятый монтаж, где все такие [illegible] не имеют сочувствия...

...Два месяца спустя Крыси-Мауса взяли в армию на действительную. И он недавно прислал на ГРЭС письмо, что является отличником боевой и политической подготовки и всегда готов ответить двойным ударом на удар поджигателей войны. А та девчонка из Запорожья (может быть, помните?) его ждет и даже один раз приезжала в гости в часть как невеста воина Советской Армии. Зовут ее Виктория.

Конечно, ребята ее помнили. Степан Иваныч, конечно, тоже помнил. И все еще сильно обижался. Судя по этому его «тресту имени Мопассана».

Континентальный характер

Стояла поздняя осень. Она и в Гапоновке была красива, хотя стройка уже вломилась в село, растолкав плечами хаты и деревья.

Здесь все уже гудело, звенело железом, орало хриплыми голосами монтажников, рявкало сиренами самосвалов, стучало дизелями, шипело и свистело компрессорами. В одной луже, как в премированном фотоснимке «Старое и новое», отражались сразу клуня, крытая соломой, и башенный кран.

Но что-то все-таки осталось от осенней деревенской грусти... И сломанный бульдозер, приткнувшийся к стене столовой, был весь осыпан красноватыми кленовыми листьями, похожими на детские ладошки — сморщенные, с приподнятыми концами-пальчиками.

А нам и без всякой осени было бы грустно. Кончилось наше дело, сдан наш объект. И теперь — кому совсем увольняться, кому хлебать эту самую «романтику дальних дорог», кому (всего лишь двадцати, наиболее ценным) оставаться на месте, загорать на средней ставке, пока начнут следующую турбину.

Мы сидели небольшой компанией в дальнем углу нашей кормушки за двумя сдвинутыми впритык столами. И пили «Советское шампанское», закусывая салом, круто посоленными помидорами и богатым осенним винегретом, называвшимся в меню «Салат Весна».

Мы могли бы пить и водку (хотя это строго запрещается и, если кто попался,— сразу фото в «Комсомольском крокодиле»: «Не проходите мимо!!!»). Но сейчас дружинники — вон они ходят, скучают с красными повязками — нам бы и слова не сказали.

Потому что дружинники тоже люди, они не какие-нибудь посторонние общественники, а тоже монтажные ребята и хорошо понимают, какой у нас момент...

Но мы пили все-таки не водку, а этот квасок с серебряной головкой за три двадцать бутылка. Потому что Иван Грозный вообще не допускал водку, как монтажного врага номер один.

Столовая жила своей отдельной громкой жизнью. У раздаточных окошечек топталась очередь черных спецовок с белыми подносами. Иногда кто-нибудь пытался пролезть под перила и ухватить без очереди борщ или биточки. Но его щелкали по лбу и гнали вон: нечего, нечего, не больной постоять, у всех свидание, все заочники, у всех трое детей плачут.

Но некоторых, однако, без звука пропускали вперед. Например, котельщиков с шестого. Им, бедолагам, и так страшно доставалось, и очередь «входила в положение».

Еще позавчера и нас так пропускали. Потому что тогда г о р е л и мы. А сейчас все в порядке, мы уже не горим, мы вообще ничего — вот сидим в хороших костюмах из материала «метро», едим, пьем, беседуем и смотрим по сторонам.

Черт-те какое настроение, даже смеяться не весело.

Время от времени к нашей компании кто-нибудь подходил. Подкатились, например, два подсобника, которые в последнее время работали с нами. Культурные ребята, с десятилетним образованием — и в дымину пьяные.

— Значит, все! — с жалким нахальством сказал один.— Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!

Иван Грозный, наш старший прораб, который нахальства не выносил, а когда видел пьяного монтажника, вообще впадал в страшную лютость, тут вдруг стал их ласково обнимать, и трепать по плечу, и уговаривать:

— Бросьте расстраиваться, ребята. Такое дело особое — нельзя обижаться. Новый объект когда еще будет! Как же всех столько времени держать? Народные деньги зря переводить? Что же страшного: можно здесь на эксплуатации устроиться, не хочешь — пожалуйста, страна необъятная, работы, как говорится, непочатый край...

— Мерси! — еще нахальнее сказал второй десятиклассник.— Прекрасные слова. Можно, я запишу?

Потом к нам подсел Гончарук, небольшой такой, аккуратный парень, лет, наверно, двадцати пяти. Он с нами всего месяца три работал или четыре. И все молчал. Какая-то в них, что ли, заграничность есть, в этих львовских ребятах: вот замкнутость, и такая прическа прилизанная — волосок к волоску, и костюмчик слишком хорошо сидит, как на артисте.

— Ну, что? — говорит Гончарук.— Закурим, хлопцы, чтоб дома не журились.

И он вывалил на стол из всех карманов десятка два голубых патронов из какого-то тонкого металла. На каждом нарисована корона и написано «Корона-коронас».

— Вот. Берите, хлопцы. Гаванское производство...

Мы развинтили эти патрончики, и в каждом, как абиссинская принцесса, покоилась темно-коричневая сигара, запеленатая в особую бумагу — прозрачную и ломкую, как ледышка. Женя — наш младший — тоже взял сигару и повертел: с какого она боку зажигается?

И мне вдруг вспомнилась Австрия, где я был тем летом по туристской путевке. Бад-Гастейн — роскошный курорт в Альпах, с водопадом, рычащим прямо посреди главной улицы, для удобства отдыхающих миллионеров, чтоб им далеко не ходить.

В этом Бад-Гастейне, в самой дорогой гостинице «Пум гольден гирш», в которой когда-то останавливался император Франц-Иосиф, я видел, как один бельгиец закуривал такую сигару. Он распеленал ее, повертел, понюхал и вставил в рот. И швейцар, наверно, досыта навидавшийся всяких миллионеров, все-таки смотрел на эту операцию с почтением и восторгом: очевидно, человек, запросто курящий «гавану», не обычный человек...

— Ничего,— сказал Женя, сделав первую затяжку,— крепкая... По типу махорки...

И мы продолжали свой свободный разговор, как нарочно, не имеющий отношения ни к чему нашему.

Игорь Лошадинский, самый умный у нас монтажник, вылил себе на ладонь последнюю каплю

из фужера. И сказал ни с того, ни с сего:

— Известно ли вам, ребята, что в одной капле воды содержится десять в двадцатой степени атомов? Столько же, сколько песчинок на побережье Черного моря!

И мы все опечалились от такого количества атомов. Мы в этот день от всего печалились.

Иван Грозный положил на стол свои огромные, не по фигуре, ручищи. И я вспомнил, как мы были на монтаже под Харьковом и как кондукторша в троллейбусе велела ему брать багажные билеты — на каждый кулак по билету. Веселая такая девочка, кондукторша. У Жени, по-моему, потом с нею что-то было.

Теперь ручищи Ивана Грозного лежали на столе. Они отдыхали, как люди, нежась на теплой от солнца клеенке, иногда, словно бы во сне, шевеля пальцами.

— Вот такí дела,— вздохнул Гончарук и вдруг нарушил пятерней свою знаменитую прическу.— А что, товарищи, никак нельзя мне у вас остаться?

— Нельзя,— сказал Иван Грозный.— Ты же знаешь. И чего вам тут медом намазано? Чего тут такого прелестного? Вот я уже сколько лет мотаюсь по монтажу, всю страну раз двадцать проехал. Или двадцать пять! И могу тебе сказать авторитетно: не стоит приучаться. Я за это время больше мебели купил, чем миллионер Морган.— Он произносил миллионерово имя по-свойски, по-украински, напирая на «гэ».— Тот побогаче, но он сидит на месте, а я все езжу, езжу... Да что мебель! Меня первая жинка бросила, надоело ей это — ушла к леснику. У лесника чем не жизнь? Всегда на месте, среди чудной природы.

Гончарук деликатно вздохнул, не зная точно: сочувствовать или не сочувствовать, лучше стало старшему прорабу, когда жинка ушла, или хуже?

— Погулял на монтаже — иди на нормальную работу. А то задержишься, заболеешь этим делом — и пропал. Тем более, тебе удобное время уходить, с почетом и премией, с приказом министра. Хочешь, подарю приказ?

Он достал из внутреннего кармана белую брошюрку с гербом на первой странице.

— Вот, пожалуйста, номер сто семьдесят, пункт «в»... Так... «рационально используя имеющуюся технику... в сжатые сроки... объявить благодарность...». Теперь читай, кому это рассылается: министру, заместителям, членам коллегии, канцелярии, инспекции при министре, планово-производственному управлению... финансовому отделу — заметь! — восемь экземпляров... главной бухгалтерии, техуправлению, УКСу, управлению руководящих кадров (на случай, если тебя вдруг сделают начальником), управлению рабочих кадров и ЦК профсоюза. Подарить на память? Вдобавок к премии...

— Плевал я на премию,— сказал Гончарук. Разрушив прическу, он, видимо, перестал уже подчиняться своим обычным правилам.

— Но, но, на грóши не плюй. Проплюешься...

— Плевал я на грóши,— упрямо повторил Гончарук.— Теперь я плевал. Когда я сюда приехал, у меня на сберкнижке было шесть тысяч по-старому. А сейчас осталось пятьдесят копеек по-новому, чтоб только счет не закрыть.— Гончарук отчаянно заглотнул воздух и продолжал, хотя он уже наговорил нам за эти двадцать минут больше слов, чем за предыдущие четыре месяца:— У меня, знаете какая специальность? Золотая, в полном смысле. Я каменотес, самой тонкой руки,— еще от батьки это дело знаю. Ты Ремарка «Черный обелиск» читал? Не читал? Ну, а на львовском кладбище бывал?

— Рановато вроде...

— Ты не шуткуй. Там не простое кладбище, а художественное. Там такие кресты, такие памятники — просто произведения! И я по этой специальности работал. Получал по потребности. Приходят родичи, вдовы, плачут и просят, чтоб какнибудь получше отметить покойника, пооригинальнее. А заведующий отвечает: «Поговорите с мастером». От него же в самом деле ничего не зависит. Ну, говорят со мной. И договариваются.

Гончарук выжидательно посмотрел на нас. Наверно, хотел выяснить, осуждаем мы его или как... Но мы просто слушали.

— А потом как-то вдруг занудило, так занудило... я взял и сюда подался. И мне дуже понравилось: такие тут ребята откровенные, и работа — все время, как пьяный трошки или как марафонский бег бежишь! И так я жалкую, что надо мне уходить. И так оно, правда, плохо, что нельзя мне тут остаться. Я слабый на это, я дуже грóши люблю. Еще мой учитель Гнат Захарыч предупреждал: плохой у меня характер, резко континентальный. Это значит — середины нету: или я холодный, или горячий.

Мы еще немножко помолчали, подумали.

— Да,— сказал Игорь.— Поговори, Иван Грозный, с Семеновым. Или с самим Кацом.

— А что Кац? Бог? В него и так бумажками тычут, как пистолетами: сокращай, сокращай. Я уже раз ходил насчет Леньки Волынца. Ничего нельзя сделать...

— А ты еще раз сходи. Насчет Гончарука. Тот Ленька и так не пропадет. А здесь человек может счастья лишиться, может впасть в холодное состояние. С этими художественными памятниками. Представляешь?!

— Ничего, Женя, не выйдет.

— Ты все-таки поговори, старший прораб,— сурово сказал Женька.— А в крайнем случае — если наотрез, тогда...

Он выжидающе посмотрел на Гончарука, и тот понял, что нужно уйти, что сейчас будет какой-то важный разговор, прямо его касающийся. Гончарук поднялся из-за стола и решительно зашагал к выходу. Но у самой двери остановился, подумал-подумал и присел на табуретку. На этой табуретке перед закрытием обычно сидит уборщица тетя Алевтина и ругает опоздавших. Ничего страшного: оттуда все равно не слышно.

— Если с Кацом ничего не выйдет, тогда лучше я уйду! — сказал Женька и задохнулся от собственной самоотверженности.

— Куда ж ты уйдешь? — спросил Иван Грозный, ужасаясь этой жертве.

— Покантуюсь временно в ремонтном. Меня возьмут...

И все вдруг обозлились. Потому что очень неудобно смотреть, как другой на твоих глазах совершает благородный поступок. А ты сам это бы мог, но не хочешь. И неловко перед собой, и все равно не хочешь. Потому что это — страшное дело: вдруг распрощаться со своими ребятами, к которым притерся, которым подмигнешь — и все ясно, с которыми можно на полную откровенность, без политики... Никто из нас этого не хотел, никто из нас этого просто не мог. Нет, хай Гончарук сам устраивает свои дела: безработицы в стране нет, всем открыты сто путей, сто дорог, как справедливо отметил Иван Грозный. Брось дурить, Женька, обойдется без твоих подвигов!

— Обойдется-то обойдется,— сказал Женька, которому и самому, видно, хотелось, чтоб его отговорили.— Но, с другой стороны, объяснил же человек.

— А что он, маленький?

— Но он же честно объяснил: он слабак. А я ничего...— Женька пе-

чально вздохнул.— Я ж ни за что кресты рубать не пойду: «Спи спокойно, дорогой супруг, вечная тебе память».

Он опять уже говорил в своем легком жанре. Видно, все-таки принял решение. Мы больше не стали его отговаривать и позвали Гончарука.

Женька похлопал его по унылой спине.

— Не дрейфь, все образуется.

Я забыл сказать — хотя это и не важно,— что Женька исключительно красивый парень. Природа как будто сделала его для образца: большого, складного, глазастого. И, словно бы художник, она все время в нем что-то подправляла, совершенствовала, дорисовывала. То разгонит за одно лето плечи, то высветлит чубчик и заставит вдруг его виться...

— Спасибо вам,— сказал Женьке Гончарук, хотя раньше говорил ему всегда «ты».— Спасибо большое!

Женя махнул рукой: ладно, мол, бог подаст — и решительно встал из-за стола.

— Ну, все, ребята,— сказал он.— Куба — си, янки — но!

И поспешно ушел, позабыв на столе свою первую сигару. Он боялся опоздать на стадион, потому что мухтеевские химики — это на редкость хваткие ребята: они приезжают за час до игры и занимают все трибуны. (А стадион маленький — трибуны всего в три ряда.)

Стадион маленький, но очень увлекательная игра. Не то, что у мастеров класса «А», которые гоняют, гоняют мяч два тайма и — ноль-ноль (или один плачевный гол забьют со штрафного). А тут совсем другое дело, тут игра результативная. Прошлый раз играли «Шахтер» (Пирогово) — «Химик» (Мухтеево). И счет был 19 : 8!

Что тебе не понятно?

I. Документ

(Из коллективного дневника механического цеха № 2, именуемого в райкомовских отчетах «Летописью трудовой славы»).

«С подсобной работницей литейки Пестовой Н. случилось несчастье, и она была в тяжелом состоянии отправлена в 14-ю горбольницу. И тогда расточница Маша Резванова, член бригады коммунистического труда нашего цеха, приняла к себе ее детей — одного и трех с половиной лет. Вместе с соседкой по общежитию библиотечным работником Ольгой Кашиной, при содействии всего коллектива, она воспитывала этих двоих детей в течение полугода, вплоть до возвращения матери из больницы. И по сей день она не теряет связи... Прекрасный поступок комсомолки является...» и т. д.

II. Почти документ

(Из разговора Маши Резвановой с ближайшей подругой Катей, специально приехавшей из Калуги).

— Зачем ты это сделала? Что ты хотела этим доказать?

— Ничего я не хотела этим доказать.

— Но есть детские дома и эти ясли-пятидневки. Там врачи, нянечки, разные педагоги и музработники. Там хорошо... Родные матери — и те стараются отдать своих туда. Ты в завкоме спроси. Знаешь, какая там очередь на запись! А их взяли бы сразу, безо всяких.

— Но я ж сама захотела...

— Ну почему?

— Ну, не знаю... Я как раз была во дворе, когда ее увозили. Я видела, как она боялась и как детишки плакали. И я сказала: «Не убивайся, Надя, они у меня пока побудут». Я думала, это дней на пять или неделю.

— Ну, ладно, а когда кровоизлияние было? Когда доктор сказал, что полгода — не меньше?

— А мне чего-то стало жалко отдавать. И Оле стало жалко. И все у нас так удобно получается — мы с ней в разных сменах.

— А Витя как на это смотрит?

— Как смотрит? Нормально смотрит. Сперва удивился. Потом ничего. Помогает...

— А если б ему не понравилось?

— Тогда бы, может, и он мне не понравился...

— И ты бы из-за это-го все под от-кос пу-сти-ла?!

— Я не знаю. У нас с ним пока еще не было плохо. Откуда ж я могу знать, что бы я делала, если б было плохо?

— Но все-таки, может, ты этого еще не сознаешь — разные мелочи очень портят любовь. Отравляют постепенно. Я это точно знаю, по себе.

— Пока ничего такого не было. Ну так не пойдем с ним в клуб, дома посидим, с ребятами поиграем. Что тут такого ужасного? Женатики все время так дома сидят. Большинство людей — женатики. И ничего ведь, живут..

— ...Петрович вчера жаловался. За мою доброту и меня, говорит, облаяла. Он же тебе выписал эту премию. За рацпредложение.

— Так никакого же рацпредложения не было.

— Но он ведь не мог иначе оформить. Чтоб тебе денег подбросить. Ему девчонки весь месяц долбили: будь человеком, придумай способ, подбрось ей денежек на детей...

— Не хочу я за них получать премии... Вообще он хороший мужик, Петрович. Он в райздрав два раза бегал, чтоб меня к молочной кухне прикрепили. У них с этим строго: только до года. И Сашке по возрасту уже не положено. Но у него пузик все время болит, и мне соседки подсказали; надо брать такой кефир, специальный, для младенцев. Я теперь хожу за кефиром. Его в таких бутылках дают, длинненьких. А меня эти тетки-раздатчицы, знаешь, как называют? «Мамаша»! Но они всех мамашами называют, кроме папаш. Потому что бездетные туда не ходят.. Вот мы с Витей поженимся, и, наверно, я когда-нибудь буду ходить туда. На законном основании. Смехота вообще...

...Они маленькие, но уже люди. Прихожу раз, а Танечка так серьезно спрашивает: «Ты нас взяла, чтобы поиграться или чтобы жить?» А другой раз я на ночную собираюсь, уже опаздываю, горю, а Оля еще из кино не пришла, запровожалась со своим рыжим. Танька проснулась. «Не уходи,— кричит,— не уходи, Маша! Я бо-

юсь! А вдруг что-нибудь во что-нибудь превратится!» Сказок наслушалась... И Сашка занятный...

...Вообще какие все маленькие хорошие... Откуда ж плохие люди берутся?

— От предыдущих взрослых...

— Но надо же как-нибудь это прекратить.

...У нас ничего, симпатичный народ подобрался в восьмом общежитии. Я как-то раньше не присматривалась. А мужиков я даже боялась, потому что некоторые выпивают и орут там, безобразничают. Но вот с этими ребятишками Надиными все себя проявили с очень хорошей стороны. Приходят, приносят разные гостинцы, полезные советы подают — один одно посоветует, второй что-нибудь другое.

...Понимаю, тебе про трудности интереснее. Трудности очень большие. Особенно, когда ребята болеют. Тут прямо с ума сходишь, сидишь и ревешь, как дура. И соседки меня ругают, что мне нельзя иметь своих детей, потому что с таким дурным характером я все время буду переживать... И что еще очень плохо — это стирка, прямо душу всю выматывает. Я не представляла, что с этими маленькими столько стирки! Один день

поленишься или, Витя придет, пропустишь стирку — и сразу целая гора мелочи, трешь ее, трешь...

— Но зачем тебе? Ты ж ни с какого боку...

— Ну что ты все задаешь вопросы? Что тебе не понятно? Ты что, не человек?

— Я человек. Но я бы так не смогла.

— Это тебе просто кажется. Ты бы смогла...

Двадцать шесть и одна

— Но у нее есть родной дядя. Родной брат ее покойной мамы. Родной сын ее бабушки,— с некоторым вызовом сказал Павел Ильич.

Он сказал это и сам расстроился. Вот сейчас они окончательно решат, что он злобный и жадный старикашка. А он не злой и не жадный. Просто у него плохо с почками, и он дважды в день—перед работой и после работы—должен тащиться на Нижнюю Масловку на уколы. И, кроме того, ему нужна особая пища, а сноха отказывается готовить ему отдельно, без соли и прочего. Ее тоже можно понять — там трое детей, и работает она где-то в Химках, от дома ехать с двумя пересадками. Но от этого не легче.

Сумасшедшие бабы в отделе предлагали готовить ему по очереди, на общественных началах. Но он, конечно же, отказался. Только ему не хватало ходить кормиться по чужим хатам, как деревенскому пастуху Сергуне (был такой у них в деревне пятьдесят лет назад).

Нет, ни по каким божеским и человеческим законам он не должен заботиться о совершенно чужой девочке, которую видел один раз и просто не запомнил... Даже фактически не о девочке, а о девушке — здоровом, вполне взрослом человеке, который уже имеет право избирать и быть избранным, который мог бы уже по годам выйти замуж и сам родить девочку.

Павел Ильич сердито оглядел огромный двусветный зал проектного отдела, где стояли двадцать пять чертежных комбайнов и один письменный стол и где его уважаемые коллеги в белых халатах чертили разные вещи.

— Родной дядя живет в трех часах езды от Москвы,— склочным голосом продолжал Павел Ильич.

— Я не понимаю! — взвился техник Петя, восемнадцатилетний человек с проволочными волосами, которые росли почему-то не вверх, а вперед.— Не понимаю! Это какой-то пережиток общинно-родового строя: родной там, двоюродный, голос крови! У меня вот тоже есть дядя, родной брат моей мамы, родной сын моей бабушки. Он юрист, доцент, но вообще-то он лавочник. У него какие-то халтуры. Приходят разные консультироваться: «Ах, товарищ профессор, мы вам будем так благодарны»,— и суют десятку в руку. И он им говорит благородным научным голосом: «Я полагаю, есть все основания надеяться»,— а сам косит глазом: сколько там положили, не пятерку ли?

Петя в волнении выбежал в проход, где удобнее было размахивать руками.

— Так кто же, по-вашему, мне роднее — этот кровный дядя или, скажем, вы? Я считаю: по мере поступательного движения все это вообще отомрет — родная кровь и тому подобное. Будут друзья и товарищи!

Тут добрейшая Анна Львовна в испуге обрушила на пол готовальню. В ее близоруких выпученных глазах задрожали слезы.

— Ах, Петя, что вы говорите?! Это ужасно, то, что вы говорите! Значит, и мать — тоже пережиток?! Вы все считаете, что это отомрет?

Саша Суворов поглядел на нее из-под толстых своих очков, засмеялся и сказал:

— Анна Львовна, что вы всерьез его слушаете? Все очень просто: он вчера поругался с предками. Ему потребовался велосипедный моторчик за сорок рублей, а они не поняли светлого порыва юности.

— Это запрещенный прием! — завопил Петя.— Ниже пояса! Я ведь принципиальные вещи говорю!

Саша холодно сверкнул очками, взял его своей волосатой рукой за плечо (точно говоря, за загривок) и повел к рабочему месту.

— Где девятый лист, дорогой мэтр?

Он мог себе позволить такое обращение с гордым Петей, так как был главным инженером проекта и просто хорошим парнем. Кроме того, он добавил шепотом несколько слов, вполне оправдывавших все эти маневры:

— Что ты, дурень, Анну Львовну расстраиваешь! Ты же знаешь...

Вообще в проектном зале все про всех все знали. Тут была обстановка почти деревенская, почти семейная. Может быть, даже получше, чем семейная, потому что никто не был главой, никто особенно не диктаторствовал и не капризничал. А нормальные происшествия улаживались по странному принципу, выдвинутому тем же Петей: «Главное — не позволять никому быть отрицательным». На этот раз не позволили ему самому, и он не мог возражать. Так сказать, не имел морального права.

Действительно, Анна Львовна очень переживает такие вещи. У нее дочка Аза в девятом классе...

— Я чувствую, с девочкой что-то происходит,— жалуется время от времени Анна Львовна.— Материнское сердце не может обмануть. И Аза такая скрытная. Не делится...

Что такого особенного может происходить с девчонкой в девятом классе? Мальчишка какой-нибудь? Двойка по алгебре? Тем более эта Аза рослая, краснощекая девушка, выпирающая во все стороны из школьного платьица, и говорит мужским голосом. Но раз мать переживает — пожалуйста, все сочувствуют, все спрашивают:

— Ну как там Аза? Все не делится?

— Все не делится,— вздыхает Анна Львовна, и ей уже как-то легче...

...Но сейчас в проектном зале разговор шел о другой девушке, с которой действительно происходили очень серьезные вещи.

Этой весной умерла ее мать, Александра Ивановна Ковалек, Шурочка. Ровно двадцать четыре года тихонько проработала Шурочка в этом зале, как раз за тем комбайном, над которым теперь философствует Петька. И вот однажды она присела на подоконник и сказала: «Что-то мне нехорошо, девочки». Вызвали неотложку, и неотложка опоздала.

Сослуживцы похоронили ее честь-честью. Возложили венок. Местком «выделил средства», как полагается. Женщины поплакали: бедная Шурочка, в двадцать пять лет овдовела, в сорок пять умерла... Одно утешение, что она все-таки успела вырастить Валентину. Та теперь твердо стоит на своих ногах, студентка, почти инженер...

И вот вчера Анна Львовна встретила в метро эту студентку, твердо стоящую на своих ногах. Вид у Валентины был замученный, глаза ввалились, в одной руке она держала авоську с учебниками, в другой какую-то длинную узкую штуку, завернутую в бумагу.

— Это конверты,— сказала Валентина.— Бабушке дают клеить, как надомнице. Но она уже ничего не может, я сама клею по ночам. Бабушке нужен стаж...

Трудно было узнать Шурочкину дочку, которую Анна Львовна помнит еще совсем крошкой, как она на утреннике в День Красной Армии встала на стул и прочитала стишок. Анна Львовна даже помнит, какой это был стишок:

Когда был Ленин маленький,
С кудрявой головой,
Он тоже бегал в валенках
На горке ледяной...

Как же ее скрутило, Шурочкину дочку!

Валентина не могла задерживаться, она очень спешила, и Анна Львовна поехала в Новые Черемушки ее провожать (хотя тоже страшно спешила, потому что у Азочки вечер интернациональной дружбы, и неизвестно, что ей надеть).

Оказалось, что все очень сложно. Бабушка от горя совсем разболелась и стала как маленькая: чего-то боится, капризничает. Ее даже на два часа оставлять нельзя. А пенсию за маму бабушке не дали, так как у нее есть еще кормилец — сын, тот дядя, который живет в Рязани на чужой жилплощади. Но у дяди вторая семья, и он не очень-то интересуется. И в институте из-за всех этих дел стало просто невозможно... Так что придется бросить и поступать на работу.

...Когда утром Анна Львовна, чуть не плача, доложила все это проектному залу, наступило тягостное молчание.

— Да,— сказала синеглазая толстуха Ира Волчкова, которую Петя называл «Писатель Гаршин — больная совесть наша».— Прекрасные мы люди! Несем в себе зримые черты! Даже не подумали поинтересоваться, как там живет человек!

Петя покойную Шурочку не знал. Он как раз пришел на ее место. Но, как всегда, он больше всех загорелся. И закричал, что Валентину надо взять под коллективную опеку, удочерить вплоть до окончания высшего образования.

Боюсь, что, помимо всего, ему было просто лестно кого-нибудь удочерить и дать кому-нибудь высшее образование, которое ему самому из-за пылкой неорганизованности никак не давалось.

Анна Львовна обожающе посмотрела на Петю и сказала, что он «золотко» и «умничка», чем, кажется, не особенно его порадовала.

— Да,— сухо сказал Саша Суворов.— С четвертого курса уходить нецелесообразно. Меньше двух лет осталось.

Он решительно не желал участвовать во всех этих интеллигентских всплесках и возгласах: удочерение, коллективная помощь в беде... В конце концов он сам с восьмого класса вечерней школы и до последнего курса автодорожного института учился, как говорится, без отрыва. То есть днем таскал контейнеры на кирпичном заводе, а вечером готовил уроки в общежитии (комната на девять человек!) или клевал носом на лекциях.

Правда, никакой бабушки не было у него на иждивении. Но он был рад иметь кого угодно на иждивении, потому что у него всех убило в Харькове... Но Саша не собирается совать свои раны и мозоли в лицо молодому поколе-

нию: если можно прямо окончить «очный»,— почему не помочь...

— Только без этой дамской благотворительности,— брезгливо сказал он.— Надо ей официально назначить стипендию. Нас двадцать шесть. Сложимся по рублю. Нет, мало — по полтора. И ей будет почти сорок в месяц, четыреста по-старому.

Толстая Ира — Больная Совесть Наша — была послана на квартиру к Ковалькам для выяснения обстоятельств на месте. Ей пришлось ждать до одиннадцати часов вечера, потому что Валентина уехала к какой-то бригадирше Фоминишне за конвертами. Потом они разговаривали часа два, так что метро уже не ходило, и пришлось брать такси, чтоб мама не беспокоилась (2.10 на счетчике и еще гривенник, краснея, шоферу «на чай» — кто часто ездит в такси, говорит, так полагается).

На работу Ира пришла с точным планом:

«1) Выхлопотать пенсию бабушке (ее фамилия не Ковалек, а Мякишева Зинаида Фроловна).

2) Дежурить по очереди у этой бабушки, чтоб Валентина могла иногда по вечерам уходить в техбиблиотеку, ей надо...

3) Стипендию посылать как-нибудь так, как будто от учреждения, потому что Валентина исключительно гордая девушка, и она никаких добровольных пожертвований не стерпит».

Пенсионные дела хотели поручить Павлу Ильичу. Но после его речи о «родном дяде, родном сыне бабушки» раздумали. Ничьи одолжения не требуются!

Петя, который, как я уже отмечал, рвался в заботливые родители, хотел сам идти в собес. Но его не пустили. Тут нужен был более мощный ум. Дело в том, что покойная Шурочка, получавшая всего восемьдесят рублей, сама добивалась для матери пенсии. Но так и не сумела собрать нужные справки, никак там не набиралось двадцать лет трудового стажа.

Пришлось взяться Саше Суворову. У него горела диссертация, и дорог был каждый час. Но, с другой стороны, у него был собственный «Запорожец».

Кое-что Саше удалось сделать. Но, к сожалению, не все. Четыре года, где-то в самом начале Советской власти, старуха проработала на фабрике «Красный батрак». Это, видимо, была какая-нибудь мелкая фабричка. И никто теперь не знает, кому она принадлежала. И старуха точно не помнит: то ли Моссельпрому, то ли еще кому.

— О, Моссельпром,— небрежно заметил Петя.— Там было что-то такое, чего больше нигде не было. Об этом еще Маяковский писал: «Нигде кроме, как в Моссельпроме».

Павлу Ильичу надоело смотреть на эту дилетантскую деятельность. Он произнес длинную сварливую речь о том, что «в наши годы мы куда лучше знали свет». После чего вдруг вызвался лично заняться пенсионным делом. (А то с вами старушка успеет трижды преставиться, прежде чем что-нибудь получит.)

Через три дня он торжественно сообщил, что, конечно же, все оказалось проще простого. Надо было только умеючи взяться! Фабрика «Красный батрак» принадлежала на самом деле отнюдь не Моссельпрому, но МОСПО. И была она вообще не фабрика, а артель. И архивы МОСПО сгорели в 1941 году...

Но это ничего... Павел Ильич близко знаком с адвокатом Розенцвейгом (вам, очевидно, известно это имя!)! И тот сказал, что с точки зрения юридической достаточно двух свидетельских показаний, подтверждающих стаж. И ему, Павлу Ильичу, удалось узнать фамилии таких свидетелей — это Быков А. И. и Горюхина П. С. Впоследствии удалось установить также и их адреса.

— Ну что тут скажешь! — воскликнул Петя, но сам же и нашел что сказать: — Силен!

Лично Петя за это же время не сделал ровно ничего. И даже вынужден был отказаться (по уважительной причине) от вечернего дежурства у старухи. Он честно сказал всем, какая это причина: у него давно назначено деловое свидание, и никак невозможно предупредить товарища, чтоб не приходила...

Никто тогда не осудил Петю, никто даже не заметил. А к Ковалькам пошел другой дежурный — все та же безотказная Ира... Но ведь объективно он оказался хуже всех... Даже Павла Ильича, которого считал типичным носителем пережитков...

И вот теперь Петя, чтоб искупить и загладить, взял на себя самого трудного свидетеля — Быкова А. И., живущего черт знает где: в Кратове, по Казанской железной дороге...

Петя сгоряча поехал к этому Быкову в тот же вечер. Ехал в электричке целый час. Потом еще час бродил по полутемным, пахнущим лесной свежестью и самоварным дымом улицам. Под добродушный лай «злых собак» (так про них про всех пишут на дачных воротах) выкликивал хозяев, упрятанных где-то за деревьями в глубине участков: «Будьте добры! Где тут Восьмая Парковая?»

Наконец нужный дом отыскался, и дородная соседка с двумя младенцами — по одному на каждой руке — дала справку:

— Он у зятя гостит, Быков. На днях приедет...

Адрес зятя она, конечно, не знала, и телефона на этой даче, естественно, не было...

Ехать в Кратово во второй раз Пете не так уж сильно хотелось. И он поволынил для страховки неделю, чтоб уже наверняка застать... Но опять не застал.

Петя ехал обратно в вагоне электрички, набитом какими-то девчонками в спортивных брюках и клетчатых ковбойках. Всю дорогу они распевали свои громкие и глупые туристские песни, годные только для диких гор и дремучих лесов:

Тренируйся, бабка, тренируйся, любка.
Тренируйся, ты, моя сизая голубка.

Он слушал, злился и размышлял.

«Вот такая волынка — раз ехать, два ехать, три ехать — может любое благородство отбить,— рассуждал он,— это похуже, чем какой-нибудь поступок. Поступок совершаешь мигом: кидаешься в горящий дом, или в бурлящий водоворот, или еще куда-нибудь, куда нужно, спасаешь кого нужно, рискуя собой... И — если останешься жив,— говоришь: «Каждый советский человек на моем месте поступил бы точно так же!» А потом скромненько идешь домой или уносишься на носилках в больницу — и все...

А такая вот волынка даже из ангела может вымотать душу. Да к тому же он, лопух, опять не догадался написать этому Быкову записку. Значит, и в третий раз может повториться то же са-мое. Озвереешь от этих дел: такие теплые вечера! И Алку — когда он в тот раз ездил — утащил на какой-то закрытый просмотр какой-то сценарист научно-популярного кино. Симпатичный, по ее словам!»

Чтобы покончить к черту с этим, Петя поехал в Кратово на следующий же вечер. И застал Быкова.

В комнате все окна были закрыты и, кроме того, кажется, законопачены: непонятно, зачем человеку дача! Пахло табачищем, таким крепким, что даже у Пети, уже о ч е н ь д а в н о курящего, закружилась голова.

— Так вы от Зины Мякишевой! — почему-то обрадовался маленький квадратный старик с лицом доброго кота.— Садитесь, пожалуйста. Ты кто ей будешь? Не сын?

Он пообещал приехать куда следует, лично засвидетельствовать, потом быстро написал что требовалось: «Действительно подтверждаю... совместно работали... через биржу труда...» И тут вдруг расплавился и стал вспоминать, какая была чудная красавица Зина Мякишева! И какая она была сознательная! Она, между прочим, в 25-м году исключала его из комсомола за моральную неустойчивость. Он тогда с голодухи ходил обедать к сестрину мужу, нэпману, владевшему скорняжной мастерской без мотора. И она, как секретарь ячейки, не могла пройти мимо такого факта.

— Да, Зина, Зина,— сказал старик.— Я ее с двадцать шестого года не видел... Была карточка, очень хорошая, мы с ней на губсъезде кооперации снимались. Так покойница жена порвала. Из ревности. Хотя ничего такого у нас с Зиной не было,— поспешно добавил он.— Просто мы были с ней хорошие друзья.

И когда Петя, почему-то растроганный и оглушенный всем этим, прощался, старик попросил:

— Можно мне Зинин телефон?

Телефона там у них не было, Петя дал адрес. И всю обратную дорогу его мучили удивительные соображения. Что этот прокуренный дед был когда-то таким, как он, Петя... Даже получше был — вон какое победное лицо у него на портрете, где он в летчицком шлеме и кожанке! И Алка... Алка с ее прической «Бабетта», может быть, когда-нибудь станет, как Валина бабушка, с этим носом, достающим нижнюю губу...

Нет, нет, не может быть! К тому времени что-нибудь изобретут, что-нибудь придумают: медицинская мысль идет семимильными шагами...

Вторую справку достала Ира Волчкова. Как всегда, без особых осложнений. (То есть, может, осложнения и были, но никто о них не узнал.)

Еще через три недели в проектный зал позвонила Валентина. Каким-то плачущим голосом она сказала Анне Львовне, что пенсию дали, что все это потрясающе... что она хочет немедля, сейчас же, приехать к ним, чтобы увидеть сразу всех... чтобы поблагодарить...

Но это ведь не такой институт, куда можно взять да приехать... Анна Львовна побежала оформлять пропуск.

— По какому вопросу? — сурово спросил ее однорукий дядя, с которым она уже лет пять была знакома и обедала в одной столовой.

— По вопросу о посещении нас...— неуверенно сказала Анна Львовна.— Ну, я не знаю, Иван Прокофич...

Она немного растерялась, потому что работала в институте давно и помнила эту комнату по другим временам. Но однорукий не стал ее сверлить бдительным взором и задавать разоблачительные вопросы. И она опомнилась — объяснила, что и как.

Пропуска, правда, тот не дал.

— Что вы, шутите? — сказал.— Есть же определенные правила. Вы-то должны знать...

И, закончив официальный разговор, посоветовал, от себя: пусть приходит к обеденному перерыву, а все, кто есть в проектном зале, выйдут к ней на улицу. Выходить же можно...

Так Анна Львовна и условилась с Валентиной: чтоб точно в двенадцать. И все к ней выйдут...

— Только не я!— сказал Саша Суворов.— Не я и не Петя. Мы не будем участвовать в этом идиотском параде благодетелей. И не дадим наши жилетки для слез благодарности.

— И не я, как вы, вероятно, догадываетесь,— сказал Павел Ильич.

— Мужчины правы! — подумав, заключила Ира Волчкова.

В конце концов к Валентине спустилась одна Анна Львовна. Она усадила гостью на чугунно-бетонную скамью напротив главного входа и принялась горячо опровергать ее преувеличенные восторги. Саша Суворов — и тот был бы сейчас доволен Анной Львовной.

Она сказала, что это пустяки по сравнению с неоплатным долгом, который все должны чувствовать перед покойной Шурочкой. Она была замечательнейший человек! Как Данко из произведения Максима Горького! Когда в 42-м году была мобилизация на лесозаготовки под Серпухов и все старались не поехать, Шурочка согласилась почти сразу. Хотя имела преимущество, как вдова офицера и мать малолетнего ребенка (то есть ваша, Валя). Там она простудилась, под Серпуховом. И вот еще... Когда Котова потеряла карточки, Шурочка отдала ей три мясных талона. И сколько для вас она сделала — ведь она восемь лет работала на полторы ставки. А тут и одна не так-то легко зарабатывается. И умерла вот сразу — даже не поболела, не отдохнула...

— Шурочка была, как лиственница: посмотришь — иголки торчат, а дотронешься — шелк... Ах, Валя, что тут благодарить — жизнь так устроена: все всем обязаны...

В проектном зале у огромного, в полстены окна, выходящего на юг, столпилось много народу. Если надо точно — двадцать пять человек. Все смотрели, что там за девушка сидит на скамье, рядом с Анной Львовной. Ничего, как будто милая девушка.

И Павел Ильич тоже смотрел. Он даже не пошел в столовую, хотя давно взял себе за правило являться туда первым, пока гипертоники и почечники не расхватали диетические блюда. К сожалению, много их, гипертоников, почечников и сердечников: время наше было очень трудное...

У книжной полки

Лев РАЗГОН

ЗАКОНЧЕН ТРУД

Фото И. Кошелькова.

Это — одно из самых сильных ощущений — зрелище завершенного труда! Вот они лежат целой горой на столе, десять толстых томов в желтом коленкоре: «Детская энциклопедия»... Первая советская детская энциклопедия! Закончен большой, многолетний труд. И хочется, закрыв последний том, перевести дух, подумать о прошлом, настоящем и будущем этого удивительного издания.

Оно имеет свою — и драматическую — историю. Много лет у букинистов самым ценным и дефицитным товаром был десяток серых томов с картинкой на обложке: мальчик и девочка, с увлечением читающие книгу. Эти тома дореволюционной детской энциклопедии, изданные Сытиным, действительно читались взахлеб, с увлечением. Уже не было в жизни ничего схожего с тем, про что было написано в этой энциклопедии, а по-прежнему она была редким и дорогим подарком для детей. И родители охотились за ними со страстью, непрерывно повышающей цену этих книг на букинистическом рынке. С самых двадцатых годов делались попытки издать свою, новую, советскую детскую энциклопедию. Такая попытка предпринималась издательством «Молодая гвардия» в двадцатых годах. Но в тех условиях, при очень малом количестве людей, пишущих для детей, из этой попытки ничего не получилось. Дальше составления словника и проспектов дело не пошло. В тридцатых годах Детиздат предпринял еще одну попытку издать «Детскую энциклопедию». Уже были готовы планы томов, собраны первые сотни статей, издан пробный первый том... Он вышел в 1937 году, и на этом все остановилось. А сытинская энциклопедия продолжала свою торжествующую жизнь у букинистов и на книжном черном рынке...

Четыре года назад в магазинах подписных изданий появились очереди людей, желающих наконец-то иметь советскую «Детскую энциклопедию». С какой радостью мы встретили первый том, как жадно ждали очередные тома, с каким торжеством взяли в руки завершающий том!

Выход томов «Детской энциклопедии» вызвал самые противоречивые отклики. Одни воспринимали выпуск каждого тома как событие огромной важности и большой радости. Другие осуждали новое издание и безапелляционно называли ее «скукой в желтых переплетах»: они не желали видеть новое и замечательное дело в динамике его развития. Ведь энциклопедия наша делалась совсем не так, как ее делал Сытин, который попросту перевел западную детскую энциклопедию и добавил несколько десятков статей о России. Наша энциклопедия была совершенно новой по замыслу, планам, стилю. Она шла по новым, непроторенным дорогам, впервые создавала и накапливала опыт советской детской энциклопедии. На этих дорогах у нее были и победы и поражения. И побед оказалось значительно больше, нежели поражений и неудач.

Десять больших томов, наполненных интереснейшим и разнообразнейшим содержанием, рисунками, фотографиями... Для молодого читателя каждый том — это открытие мира, познание нового. Многое бесконечно интересно, занятно, захватывающе! Напрасно редакция в своем вступительном заявлении предупреждает, что «Детская энциклопедия» не обычная книга для чтения подряд, страница за страницей. Это — справочное издание; в ней читают отдельные статьи по вопросам, интересующим читателя. Это предупреждение ни на кого не подействовало, и само его появление свидетельствует, что редакция еще не совсем точно учитывала характер своего читателя. Нет, это не только справочник — это именно

книга для чтения. И, как правило, каждый новый, очередной том энциклопедии прочитывался, как новая и необыкновенно увлекательная книга.

Как и всякая настоящая книга, «Детская энциклопедия» оказалась книгой «для всех» — для любого читателя, в том числе и того, кто уже далеко упрятал школьные учебники. Короткие занимательные рассказы о загадочных явлениях природы; сжатый, эмоциональный рассказ о драматических событиях истории; десятки и сотни логических задач — они интересны для всех! Можно не сомневаться, что среди многих сотен тысяч читателей нового издания «взрослый читатель» и особенно молодой занимает место не меньшее, чем тот «средний и старший возраст», которому официально адресована «Детская энциклопедия». И это еще раз подтверждает, что те десять томов, о которых мы сейчас говорим, вовсе не являются облегченным справочником для детей.

Да ведь задачей «Детской энциклопедии» и не является только помощь школьнику в усвоении знаний, получаемых в школе. В этом случае она бы явилась просто вторым учебником, этаким регламентированным пособием для внеклассного чтения в помощь обучению... Такой путь был бы гибельным для этого значительного и интересного издания! Задача энциклопедии не научить, а **заинтересовать наукой.** Не дать систему знаний, а подвинуть на расширение кругозора, потревожить молодое воображение, дать возможность обозреть весь мир в его величии, изменении... И хотя немалое количество статей носит следы «внешкольного пособия», энциклопедия в целом стала книгой для чтения, а не учебником, не сухим справочным изданием. И я не знаю ни одного юного читателя, который, имея на своей книжной полке десять томов энциклопедии, заглядывал бы в нее только время от времени, чтобы получить справку. Нет, они все были прочитаны. Сразу. Немедленно. И только после этого начали выполнять свое «справочное назначение», которое оказалось вовсе не главным.

Главное в энциклопедии, конечно, то, что она дает яркое представление о сложности и величественности мира природы и мира, созданного человеком. Ценность тематического построения энциклопедии в том, что в каждом томе ее содержится компактная картина красоты и сложности мира, могущества человека в его деяниях. В этом смысле энциклопедия выполняет горьковские заветы, она — реализация его постоянных стремлений создать литературу, в которой была бы показана «борьба за власть над силами природы, за здоровье и долголетие трудового человечества, за его всемирное единство и за свободное, разнообразное, безграничное развитие его способностей, талантов». Перед читателями энциклопедии развертывается картина единства человечества в его стремлении к свободе, к знаниям.

В отличие от буржуазных детских энциклопедий наша не ограничивается европейскими цивилизациями. Она рассказывает о народах и исторических судьбах Китая, Индии, Индонезии, раскрывает талантливость народов, чьи цивилизации сотни лет находились под гнетом колонизаторов, чьи истории были преданы презрительному забвению. О Вильгельме Телле и Робине Гуде знали все, но сейчас к свободолюбивым героям истории примкнули и борец против голландских угнетателей индонезиец Дипонегара, и вождь китайских повстанцев Ли Цзы-чэн, и легендарный Боливар.

«Детская энциклопедия» в огромной степени расширила круг знаний и интересов своего читателя. Она познакомила его с десятками и сотнями фактов и событий, о которых он не знал, обогатила его ис-

«Детская энциклопедия» становится настольной книгой во многих семьях.

ториями многих замечательных жизней. Где, в каких учебниках можно узнать о таких замечательных русских ученых, какими были В. М. Севернин, П. С. Паласс, Н. И. Кокшаров, А. П. Ганский, Г. А. Шайн и многие другие! А в десяти томах энциклопедии щедро и интересно рассказывается о тех творцах науки, которых широкий читатель (и особенно молодой) незаслуженно мало знает.

Конечно, трудно рассчитывать на то, чтобы в таком огромном издании все очерки были написаны на одинаково высоком уровне. Но многие из них образцовы по яркости языка и изобретательности авторов. Перечисление таких очерков заняло бы слишком много места. Но нельзя не отметить такие блестящие очерки, как рассказы К. Паустовского о Левитане, Н. Кончаловской о Сурикове, как отличная статья М. Гремяцкого о происхождении человека, как интереснейший очерк «У клумбы с цветами». В каждом из таких очерков есть поэзия новизны, есть внутренний сюжет.

В том, что «Детская энциклопедия» сделана на высоком научном, а в ряде статей и на высоком литературном уровне, несомненная заслуга редакции, сумевшей привлечь к ее составлению крупнейших деятелей науки и литературы. Зарубежные специалисты по детской литературе до сих пор не устают удивляться тому, что в советской детской книге участвуют самые большие писатели и художники нашей страны, люди с мировым именем. «Детская энциклопедия» дает яркий пример того, какое значение наше общество придает изданию книг для детей. На ее страницах можно встретить имена известнейших академиков, крупнейших ученых, выдающихся писателей и художников, начиная с Г. М. Кржижановского и кончая академиком В. А. Фаворским. Перечислять их означало бы необходимость переписывать добрую половину списка членов наших многих академий. Это плод содружества огромного коллектива творцов науки, литературы и искусства.

Самая структура новой советской «Детской энциклопедии» подчеркивает ее стремление дать своему читателю слитную картину итога деятельности человечества во всех областях науки, политики, культуры. Сытинская «Детская энциклопедия» в каждом

томе давала более или менее занимательные очерки о самых разных, не связанных между собой явлениях и событиях — от природы града до крещения Руси, от изготовления лаптей до способа книгопечатания... В нашей энциклопедии каждый том посвящен одной теме.

Уже «название» каждого тома — «Земля», «Растения и животные», «Человек», «Из истории человеческого общества», «Наша Советская Родина», «Литература и искусство» — само по себе говорит о тематической цельности и направленности книги. И, кроме статей по тому или иному вопросу, том дополнен перечнем наиболее важных сведений, библиографией, именным и предметным указателем. Это для тех читателей (а их, конечно, много), которые захотят использовать огромные книжные богатства, посвященные теме того или иного тома. Невозможно указать какое-либо другое издание, которое в одной книге давало бы такое цельное и увлекательное представление о важнейших сторонах деятельности человека. Именно **деятельности.** Потому что даже тогда, когда речь идет о таких явлениях природы, как гейзеры, лавины, град, авторы везде делают упор на вмешательство человека в жизнь природы, на то, как в результате многовековых усилий науки человек научился не зависеть от природы, а управлять ее силами.

Привлекает в энциклопедии и то, что читатели узнают о выдающихся открытиях и событиях не от пересказчиков, а «из первых рук», от людей, непосредственно участвовавших в них. Не кто-нибудь, а И. Папанин рассказывает об освоении Северного полюса; о станциях «Северный полюс-3» и «Северный полюс-4» написали очерки прославленные начальники экспедиций на полюсе А. Трешников и Е. Толстиков. О легендарном дрейфе ледокола «Г. Седов» пишет капитан корабля К. Бадигин. Трудно переоценить тот эмоциональный накал, который создается рассказом человека, который все видел сам, сам пережил незабываемые минуты открытия. Об открытии островов Северной Земли написал очерк человек, который в осеннее утро 1913 года впервые и первый увидел на горизонте очертания неизвестной прежде земли. Это был судовой врач «Таймыра» Л. М. Старокадомский, и его рассказ об этом стоит дороже любых беллетристических переложений этого события. А рассказ делегата III съезда комсомола А. Безыменского о знаменитом выступлении Ленина на съезде... Таких материалов много, они по-настоящему украшают первую советскую детскую энциклопедию.

У энциклопедии есть еще одна важная особенность. Она не описательна, не рассчитана только на то, чтобы ее читали спокойненько, забравшись с ногами на диван. Она активна, она постоянно толкает читателя самого проверить то или иное, самого сделать гербарий, собрать коллекции минералов и насекомых, изготовить примитивный телескоп; понаблюдать за светилами, быть фенологом, изготавливать модели... И это не просто рекомендации, а толковые практические советы, как что сделать, какими инструментами, из какого материала. К активности толкает читателей и справочный аппарат энциклопедии. Он сделан обильно, вкусно, в нем множество сведений. Они не только дают справки о длине рек или расстоянии от Земли до звезд и планет, но и поражают воображение прелестью неведомого.

Хочется среди многих достоинств новой энциклопедии отметить и ее иллюстрации. Все десять томов энциклопедии наполнены множеством рисунков, гравюр, фотографий, цветных вклеек. Среди них радуют великолепные гравюры таких больших мастеров, как В. Фаворский, А. Гончаров. Изобретательно и интересно сделаны многие рисунки к статьям о науке и технике. Очень хорошо подобраны фотографии. Некоторые из них настолько выразительны, что потрясают больше иного рассказа. Невозможно забыть фотографию Зои Космодемьянской, смело идущей на смерть, фотографию чехов, плачущих от горя и бессильной ярости при вступлении немецко-фашистских войск в Прагу...

Огромное значение имеет то, что наша детская энциклопедия — **первая!** Это значит, что изучение ее опыта, ее удач и недостатков имеет принципиальное значение для выпуска новых и новых изданий подобного рода. Как бы ни был велик успех новой энциклопедии, она **не должна оставаться единственной.** Я уж не говорю о том, что младшие школьники имеют не меньше прав иметь свою энциклопедию, нежели их товарищи среднего и старшего возраста. Но и тем, кому адресованы десять томов «Детской энциклопедии», нужны энциклопедии и другие, разные. Дифференциация интересов у школьников сейчас проявляется рано и резко. Нужны энциклопедии исторические, литературные, по различным отраслям естествознания и техники, энциклопедии практических знаний и навыков... Пусть они не будут многотомными, огромными, пусть некоторые из них будут алфавитными, другие — тематическими, но все они должны удовлетворять самые различные, сложные и многообразные интересы советских людей. И ни в коем случае не надо стремиться к унификации типов изданий, характера текста и иллюстраций. Пусть они будут написаны в разной манере, свободно, с максимумом выдумки и воображения!

Мы должны полностью использовать опыт только что вышедшего издания. И не только опыт достижений, но и опыт ошибок. Только-только закончилось новое, интереснейшее издание, а оно уже во многих своих местах устарело. Мы, конечно, понимаем, что такое большое и солидное, неторопливо делающееся издание не может поспевать за фактическими успехами советской и мировой науки. Но читателю бесполезно это объяснять. Ему смешно после полетов в космос Гагарина, Титова, Николаева, Поповича, Быковского, Терешковой, американских космонавтов читать в энциклопедии слова о том, что недалеко время, когда первый человек взлетит в космос...

Как ни странно, но энциклопедия, долженствующая сообщать самые последние сведения о достижении наук, очень робко пишет о самом новом, что сейчас есть в естественных науках. Это относится и к фактам и к людям. Нельзя понять, почему в томе, посвященном физическим наукам, нет не только очерка — даже справки о таких создателях современной физики, как Эйнштейн, Нильс Бор, Резерфорд. Впрочем, в этом томе не найти и выдающихся советских физиков нашего времени. Там нет слова «Дубна». Как будто редакция считала возможным писать только о тех ученых, которые уже стали историей науки, а не сегодняшним и завтрашним днем ее! Известен тот жгучий интерес, который старшие школьники питают к стремлениям ученых объяснить происхождение звезд, к проблемам появления жизни, существования разумных существ во Вселенной. Книга астронома И. С. Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум» передается школьниками из рук в руки. Как захватывающе интересная книга, она пользуется успехом отнюдь не меньшим, нежели пресловутые «приключенческие» книги... А в энциклопедии можно прочесть только об устарелых космогонических гипотезах, она обходит многие жгучие вопросы мироздания.

Понятно стремление редакции дать читателям наи-

более «отстоявшееся», наиболее проверенное. Но наряду с этим следует писать о новых гипотезах, новых предположениях ученых. Это важно и потому, что только так мы сумеем выполнить требование Горького: «Науку и технику надо изображать не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкретный живой человек преодолевает сопротивление материала и традиции». Естественны и закономерны споры в науке, борьба различных теорий и гипотез. Надо ли изолировать юного читателя от атмосферы этих споров?

Не следует, конечно, самую новейшую теорию или гипотезу преподносить ему как нечто доказанное, утвержденное. Но энциклопедия обязана показать своему читателю, что наука создается в борьбе нового со старым, что она требует и воображения, и смелости, и упорства. Нельзя забывать, что главной задачей энциклопедии для юношества является не столько приобретение знаний, сколько воспитание. Хочется, чтобы в очерках о науке обязательно присутствовал романтизм и драматизм поисков, чтобы читатель твердо понял то, что в науке нет «царских дорог» — гладких, спокойных, обязательно ведущих к славе и признанию!

Необходимо, чтобы любой рассказ о научном достижении заглядывал в будущее. И здесь мы также встречаемся с известной робостью. Вот, например, что написано в энциклопедии об использовании человеком энергии приливов: «Приливо-отливную энергию называют синим углем. У советских берегов запасы синего угля довольно значительны. Наступит время, когда люди научатся широко использовать и этот источник энергии». Уф, как скучно! И неверно. Уже научились. Ведь уже имеется в мире опыт строительства приливо-отливных электрических станций. И такая станция проектируется уже и в нашей стране! Читателю энциклопедии об этом не раз рассказывалось в его любимых научно-популярных журналах!

Когда мы говорим о том, как скучно написано о новом виде энергии в «Детской энциклопедии», нельзя не коснуться одного из самых значительных ее пороков — языка. Мы уже говорили, что среди множества очерков и статей, помещенных в энциклопедии, есть блистательно написанные, полные жизни. Их даже немало. Тем более досадно, когда встречаешь статьи, написанные скрипучим языком плохого учебника. «Озером называется замкнутый водоем, образовавшийся на поверхности суши в природном углублении рельефа». «Все растительные сообщества какой-либо определенной местности составляют ее растительность». «Ветром называется перемещение воздуха почти параллельно земной поверхности»... Все правильно, но до чего же скучно и невыразительно! Можно и нужно спорить, неизбежна ли и в учебнике подобная сухотка. Но уж, во всяком случае, она полностью противопоказана книге, которая должна быть живой, занимательной, поэтичной. Ужасно, что так пишут не о чем-либо, не о математических аксиомах, а о природе.

И, кстати, о природе в «Детской энциклопедии». Научить любить нашу родную природу, научить ею любоваться, охранять ее и украшать — одна из задач любой книги, особенно о природе, да еще книги для юношества. А это значит, что о ней надо писать так, чтобы в рассказе о лесах, озерах, реках, лугах блистали все краски природы, присутствовала вся ее прелесть и очарование. Удивительно еще и то, что в «Детской энциклопедии» ничего не говорится о необходимости беречь родную природу, беречь ее леса, ее птиц и зверей. Зато есть целый раздел «молодого охотника». И в нем даются деловые советы, как успешней травить зайца, как убивать лесную и луговую дичь. Понять такое очень трудно! «Охота» с фотоаппаратом — да! С сачком для насекомых, с листами гербария для растений, но только не так: с ружьем, с натасканной собакой!..

Несколько слов о стиле «Детской энциклопедии». Хочется поспорить: нужно ли обязательно добиваться единообразия во всех материалах, публикуемых в ней? А такое стремление к единообразию порою ощутимо. Кое-где «Детская энциклопедия» невольно подражает «взрослой» энциклопедии, где справочность издания, естественно, нивелирует все помещенные справки и статьи. Но «Детская энциклопедия» — это еще и книга, которая читается, как любая детская книга. Надо ли добиваться, чтобы очерки и статьи были схожи друг с другом по манере подачи, языку?.. Не лучше ли предоставить авторам энциклопедии большую свободу в выражении своей индивидуальности! Пусть статьи и очерки будут совершенно разными по своему стилю, пусть будет в каждой из них больше придумки, образности, красок!

Как было бы интересно, скажем, перепечатать в новой «Детской энциклопедии» некоторые страницы старой, сытинской энциклопедии! Показать на одной стороне разворота старую русскую деревню, изготовление единственной почти обуви дореволюционного крестьянина — лаптей, старый кирпичный завод. А рядом дать зарисовки и фотографии современного колхозного села, животноводческой фермы, механизированного тока, огромных поточных линий, выпускающих детали многоэтажных домов... Энциклопедия должна наглядно и убедительно показать дистанцию, пройденную нашей страной за годы Советской власти, дать яркое представление о том, с чего мы начали.

Разговор об энциклопедии и энциклопедиях только начат. Первое издание «Детской энциклопедии» шло по целине, оно открывало путь новым энциклопедическим изданиям для детей и юношества. Оно и издавалось, между прочим, для того, чтобы и взрослые и дети не только насладились ею, но и совместно установили, как надо новые энциклопедии делать еще лучше, еще интереснее. Настанет время, когда на книжных полках будут стоять рядами разнообразные, интересные, постоянно выходящие энциклопедии. И среди них почетное место займут десять томов самой первой, самой отважной «Детской энциклопедии», чье завершение составило целый этап в жизни и учебе молодых читателей.

К 45-летию комсомола

А. КАМШАЛОВ,

секретарь ЦК ВЛКСМ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

СОРОК пять лет отделяют нас от I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи. День открытия съезда — 29 октября 1918 года — стал днем рождения комсомола. Делегаты съезда заявили о полной своей солидарности с партией большевиков и поставили одной из задач комсомола.— распространение идей коммунизма.

Коммунистический союз молодежи прошел нелегкий путь борьбы, выдержал испытание временем и на всех этапах истории нашей страны доказал свою жизнеспособность, непоколебимую идейную стойкость, беззаветную преданность великой партии Ленина. Из маленького отряда, насчитывавшего в октябре 1918 года двадцать две тысячи человек, комсомол превратился в огромную армию, объединяющую в своих рядах двадцать один миллион юношей и девушек. На знамени комсомола пять орденов Советского Союза, и каждый из них — свидетельство славного подвига молодежи, свершенного во имя Родины.

Сегодня, когда вместе со всем народом молодое поколение граждан СССР, поколение шестидесятых годов, штурмует новые рубежи коммунизма, нельзя не помянуть добрым словом сотни первых комсомольцев — тех, кто со всей энергией и страстностью юности, с убежденностью истинных ленинцев закладывал первые камни в фундамент нашего многомиллионного Комсомола.

☆

ВЫСТУПАЯ на III съезде РКСМ, Владимир Ильич Ленин развернул широкую программу работы комсомола. И сейчас, спустя сорок с лишним лет, слова и мысли Ленина, обращенные к комсомольцам двадцатых годов, служат для нынешнего поколения молодежи компасом, который безошибочно направляет ее к коммунизму. «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящим коммунистом»,— сказал Владимир Ильич на III съезде РКСМ. Свято выполняя этот ленинский наказ, комсомол стал замечательной школой коммунистического воспитания. Советская молодежь связывает свое счастье с трудом; в труде, в активной общественной деятельности видит она свое призвание, находит истинное удовлетворение. Трудовой героизм стал у нас нормой поведения молодого человека.

Советская молодежь и ее передовой отряд — Ленинский комсомол всегда были и остаются на передовых позициях борьбы и строительства. Наша молодежь всегда там, куда ее посылала и посылает партия. Она отважно сражалась на фронтах гражданской войны, восстанавливала разрушенные войной заводы и фабрики и несла в массы людей свет знаний и культуру. Молодежь строила первые гиганты нашей социалистической индустрии и перестраивала отсталую, нищую деревню, оставшуюся нам в наследие от царизма. Из среды наших юношей и девушек в годы Великой Отечественной войны против германского фашизма вышли тысячи героев, чьи имена навсегда вписаны в историю нашего народа. Как эстафету передает поколение поколению в нашей стране революционный и трудовой энтузиазм. Старшие поколения создали широкие возможности для учебы, труда и отдыха молодежи, вручили ей материальные и духовные ценности — лучшую в мире научно-организованную экономику, выдающиеся научные и культурные достижения, передовую систему просвещения. Юность с благодарностью принимает созданное отцами наследство, чтобы разумно использовать и приумножить его.

☆

КАК-ТО старейший большевик, член КПСС с 1896 года, Герой Социалистического Труда Ф. Н. Петров беседовал с одним московским школьником. «Вот ваше время было полное романтики,— сказал парнишка.— Вы боролись, сражались, шли на каторгу... А какая

у нас романтика? Кончил школу — в институт, после института — работа».

Наши отцы и старшие братья прошли великую и трудную школу борьбы — это верно. Но давайте внимательно посмотрим: а разве меньшие подвиги выпали на долю нашей современной молодежи?!

Своим трудом на заводах и стройках, на просторах целинных земель, на поприще науки и культуры, в освоении космоса наши юноши и девушки умножают богатство и могущество своей Отчизны. Кто в нашей стране не знает таких великих тружеников, простых хороших парней и девчат, как шахтер Кузьма Северинов, добытчик нефти с морского дна Акиф Джафаров, прядильщица Валентина Гаганова, строитель Герман Ламочкин и многие другие! Их трудовая доблесть и общественная деятельность стали образцом для всей советской молодежи.

Отличительной чертой современного этапа юношеского движения в нашей стране является то, что молодежи целиком доверяются дела огромного народно-государственного значения. Целые отрасли промышленности и сельского хозяйства становятся подшефными молодежи. Комсомол сейчас шефствует над наиболее важными стройками металлургии, химии, энергетики, горнодобывающей, цементной, целлюлозно-бумажной промышленности, прокладывает новые и электрифицирует действующие железнодорожные магистрали и т. д.

Кровное дело всего Ленинского комсомола — всесоюзные ударные комсомольские стройки. Большинство этих строек расположено на востоке и севере страны, в необжитых районах. Туда в первую очередь направляются юноши и девушки с путевкой комсомола, с горячим стремлением трудиться на благо Родины. Их не пугают безлюдные просторы и таежная глушь, бездорожье и палатки, морозы и зной, потому что их ведет на передний край борьбы подлинный патриотизм, желание осуществить своими руками то, что наметила партия. Полтора миллиона юношей и девушек уехали по комсомольским путевкам на ударные стройки Востока, Севера, Сибири.

Сумгаит и Рудный, Дивногорск и Темир-Тау, Гай и Комсомольск-на-Днепре, Светлый и Ангарск — эти названия молодых городов знает вся страна, хотя еще недавно их не было на карте.

Посланцы комсомола шестидесятых годов участвуют в транспортном строительстве: они электрифицировали самую крупную в мире железнодорожную магистраль Москва — Байкал, протяженностью пять тысяч пятьсот километров, построили и электрифицировали более двадцати тысяч километров железных дорог.

А взять строительство крупнейшего в мире газопровода Бухара — Урал. В нем принимает участие молодежь десятков различных национальностей. Через реки, пустыни и горные отроги прокладывают молодые строители магистраль, чтобы ярким пламенем вспыхнул голубой огонь в домнах и мартенах, на электростанциях и в квартирах уральских трудящихся. Всех, кто бывает на трассе, восхищает мужество и героизм людей, прокладывающих трубы, возводящих могучие корпуса компрессорных станций. Эти люди — наши современники — перешагнули Аму-Дарью, штурмом взяли каменный Устюрт, смело встретили песчаные вихри пустынь — и победили...

На стройках коммунизма самоотверженно трудится могучая армия энтузиастов — миллионы юношей и девушек всех национальностей, населяющих нашу страну.

Сто шестьдесят ударных комсомольских строек — это мощные предприятия металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, новые электростанции, линии электропередач, нефте- и газопроводы.

Строители нашего времени имеют большие преимущества по сравнению с их отцами. Те строили, вооруженные лопатой и киркой,— вот и вся тогдашняя «техника». У наших современников могучая отечественная техника, сложные машины и инженерные знания.

Страна кувалды, сохи и прялки, лучины и керосиновой лампы, отсталая, аграрная, шедшая далеко позади наиболее развитых стран Европы и Америки,— такой была всего лишь сорок шесть лет назад наша Родина. Но уже в то невероятно тяжелое время Ленин сквозь десятилетия видел могучую социалистическую державу, идущую во главе прогресса, являющуюся как бы агитпунктом коммунизма, факелом, ярко светящим пролетариату всего мира. И то, что видел он,— сбылось! Хорошо сказал Никита Сергеевич Хрущев: «Если бы Владимир Ильич мог бы посмотреть то, что сделал народ, какие творит чудеса, преобразуя свою свободную страну, он снял бы кепку и низко поклонился! То, чем жил Ленин, что он планировал, о чем он мечтал, сейчас наш народ, партия успешно претворяют в жизнь».

На всех стройках страны — в Сибири и в Закавказье, на Севере и на Украине, на Дальнем Востоке и на Урале — везде и всюду молодые патриоты чувствуют себя не «винтиками», а подлинными хозяевами жизни. Они трудятся, сознавая свой долг и высокую ответственность перед старшими и грядущими поколениями. И в этом повседневном созидательном труде выковывается характер, складываются черты, вырабатываются качества настоящего, убежденного борца за коммунизм.

Все мы хорошо помним: когда партия приняла решение об освоении целины, тысячи молодых патриотов отправились добровольцами в ковыльные степи. Неприветливо встретила степь пришельцев. Они жили в палатках, стойко переносили стужу и поднимали целину. И подняли миллионы гектаров, совершив выдающийся подвиг.

Теперь на целине начинается новый этап: целина должна производить не только хлеб, но и мясо, молоко, шерсть.

И опять, как несколько лет назад, идут эшелоны на восток: советская молодежь едет покорять вторую целину. И так же, как несколько лет назад, подавляющее большинство этой молодежи — комсомольцы. Если спросить их, куда они едут, что будут делать, в чем видят свой долг, каждый ответит примерно так: «На целину еду. Говорят, трудно там, потому и еду».

Тысячу раз прав был старый коммунист Ф. Н. Петров, когда ответил тому московскому школьнику:

«...Встали бы павшие гвардейцы Октября и, я уверен, позавидовали бы нашему теперешнему времени, времени героев, может быть, не столь заметных в общем всенародном порыве, но героев настоящих».

✲

Не посторонним наблюдателем, а рачительным хозяином чувствует себя в своей стране наша молодежь. Она имеет самые широкие возможности для проявления инициативы, выступает с различными патриотическими починами, которые затем подхватывают миллионы. В движении за коммунистический труд сейчас участвуют свыше двадцати четырех миллионов человек.

Особо хочется отметить деятельность «Комсомольского прожектора» — движение, начатое полтора года назад по инициативе комсомольцев Москвы, Ленинграда и Киева. «Пусть каждый комсомолец,— предложили они,— каждый юноша и девушка поведут непримиримую борьбу с бесхозяйственностью, равнодушием, очковтирательством, бюрократизмом, хищениями социалистической собственности. Пусть они осветят ярким лучом народного контроля эти безобразные явления, которым не должно быть места в нашем обществе». В отрядах «Комсомольского прожектора» около трех миллионов молодых энтузиастов. Бороться за использование всех резервов для роста производительности труда на каждом рабочем месте, участке, предприятии, стройке, «не сигналить, а действовать!» — таковы принципы, на которых строится вся деятельность «Комсомольского прожектора».

...Идут годы. Время и люди изменяют облик страны. И пусть не огорчается московский парнишка, что он родился слишком поздно, что не бился с Колчаком, не строил Комсомольск-на-Амуре, не водружал наш флаг над гитлеровским рейхстагом, не восстанавливал разрушенные города, не поднимал целину, не покорял Енисей. Эти подвиги выпали на долю старшего поколения Ленинского комсомола. А у него, у этого парнишки, тоже обязательно все будет свое, большое и героическое.

✲

Нам, современной молодежи, предстоит участвовать в выполнении Программы Коммунистической партии, предстоит создать невиданную по своей мощи материально-техническую базу коммунизма, которая обеспечит самый высокий в мире уровень жизни народа. В решении этих исторических задач, в созидании, в творчестве юноши и девушки находят счастье свое. Партия высоко оценивает деятельность молодежи в коммунистическом строительстве, доверяя ей самые ответственные задания. «Есть одна прекрасная черта, которая связывает воедино Валентину Терешкову, Валерия Быковского, Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича,— сказал Н. С. Хрущев 22 июня 1963 года на торжественной встрече космонавтов в Москве.— Это молодые люди нашего времени, воспитанники комсомола, коммунисты! Не выдам большого секрета, если скажу, что и космические корабли, и двигатели к ним, и топливо создавали, главным образом, молодые люди... Этому поколению отцы вручают эстафету революционных дел борьбы за завоевание Советской власти, за победу социализма».

В полетах наших славных космонавтов еще и еще раз были испытаны — и снова победили — завоевания нашей науки, техники, экономики, культуры. В этих полетах держало экзамен и все поколение советской молодежи, пришедшее на смену легендарным поколениям Корчагина, Матросова, Зои Космодемьянской. На это поколение партия Ленина может уверенно положиться.

С первых же дней образования нашего государства партия коммунистов уделяла особое внимание коммунистическому воспитанию молодого поколения, его идейной закалке. На долю каждого поколения выпали свои задачи, свои трудности, свои подвиги.

Хочется напомнить пламенные слова Николая Островского: «Вы что же думаете, на нас солнце не светило, или жизнь не казалась нам прекрасной, или для нас не было привлекательных девушек, когда мы носились по фронту и переживали боевые бури? В том-то и дело, что жизнь нас звала. Мы, может быть, больше других чувствовали ее очарование, но мы твердо знали, что самое главное сейчас — уничтожить классового врага и отстоять революцию. Это сознание подавляло все остальное...»

Эстафету от поколения Корчагина приняло в свои руки нынешнее поколение молодежи.

Славные дела старших поколений служат и будут служить вдохновляющим примером для всей советской молодежи. А тем, кто пытается внести разлад в нашу дружную семью, советские люди устами Никиты Сергеевича Хрущева заявили твердо и недвусмысленно: «Ничего у вас из этого не выйдет!»

Советские юноши и девушки решительно отвергают такое понимание счастья, которое присуще всякого рода «духовным пижонам» и некоторым «рано созревшим» литераторам, воображающим себя властителями дум советской молодежи. «Счастье заключается в том,— сказал рабочий из Курской области Василий Алехин,— что я нужен людям, народу, партии, могу быть им полезным... Все, что помогает нам строить наше будущее, с нами. И к черту все остальное, что будет мешать нам на нашем пути».

Хорошо сказано! Ведь нет большего счастья, чем сознание, что ты нужен людям, что твои интересы и интересы других неотделимы, что вместе со всеми ты не только мечтаешь о будущем, но и сам создаешь его.

Юноши и девушки нашей страны, создавая прекрасное на свете, хорошо помнят, что есть еще на земле люди, которые мечтают о том, чтобы выросли смертоносные, атомные грибы. Что ж, недаром поется в старой боевой комсомольской песне: «Мы — мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» Да, мы мирные люди, мы за мир на всей планете. Но если кому-нибудь вновь захочется посягнуть на великие завоевания Октября, то вместе со всем народом наша молодежь в любую минуту даст сокрушительный отпор любому врагу, да так, чтобы он больше не поднялся.

Хорошо сказал по этому поводу в своем докладе на Пленуме ЦК КПСС тов. Л. Ф. Ильичев: «Мы никому не советовали бы испытывать стойкость, боеготовность советской молодежи. Советская страна не только создала оружие могущественной силы, но и воспитала молодое поколение, в руках которого оно сразит насмерть любого агрессора».

Наша молодежь глубоко убеждена в бессмертности идей Ленина и полна решимости твердо следовать за ленинской партией, выполнять ее задания, пусть самые трудные.

К 45-летию комсомола

ОНИ

В июле 1919 года Центральный Комитет партии большевиков обратился с воззванием к партийным организациям: «Все на борьбу с Деникиным!» Оно было написано Ильичем. В нем говорилось о резервах революции, о молодой смене, о новых силах для управления государством, для осуществления задач диктатуры пролетариата.

«...Новые рабочие силы... подрастают быстро в лице той рабочей и крестьянской молодежи, которая всего более искренне, горячо, беззаветно учится, переваривает новые впечатления от нового строя, сбрасывает с себя скорлупу старых, капиталистических и буржуазно-демократических предубеждений, выковывает из себя еще более твердых коммунистов, чем старое их поколение».

В ноябре девятнадцатого года, выступая с речью о второй годовщине Советской власти, Владимир Ильич снова останавливает внимание на молодежи, испытавшей гнет помещичьего и буржуазного общества и видевшей героизм старшего поколения в преодолении неслыханных трудностей. Про это первое поколение комсомольцев Ленин сказал, что молодые резервы идут к нам тем более широко, с тем большим самоотвержением, чем нам труднее.

Под руководством партии Ленина рос и закалялся комсомол, неизменно оберегая и укрепляя тесные, кровные связи поколений революции. Советская молодежь может гордиться своими первыми шеренгами комсомольцев, юность которых расцветала при жизни Владимира Ильича.

Линогравюра А. Априля.

А. МИЛЬЧАКОВ

БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Наша страна любовно отмечает 45-летие многомиллионного Ленинского комсомола, неустанно воспитывающего нашу чудесную молодежь в коммунистическом духе и своими бессмертными подвигами в труде и бою получившего всенародное признание.

В эти дни мне, старому комсомольцу, хочется рассказать о некоторых своих товарищах из числа тех, кто по заданию Ленина организовал коммунистическое юношеское движение в России, кто возглавлял его в преддверии Октября, в дни Октябрьского штурма, в годы гражданской войны, в годы первых пятилеток.

Общеизвестно, что многие из них в период культа личности Сталина были оболганы, оклеветаны, стали жертвами беззакония. Жизнь некоторых из них трагически оборвалась.

Как прав был Н. С. Хрущев, сказавший на XXII съезде партии о погибших в годы культа личности верных ленинцах: «...а ведь каждый человек — это целая история». Не столь давно «Правда» писала, что теперь, «когда выйдет в свет подлинная, свободная от наслоений культа личности Сталина история Ленинского комсомола, в этой еще не написанной книге, несомненно, будет сказано немало теплых слов в адрес людей, которые под руководством партии, в неимоверно трудных условиях создавали и сплачивали комсомол, руководили деятельностью его Центрального Комитета, были подлинными вожаками героической советской молодежи».

Восстановить для комсомола их славные и честные имена — наш долг.

☆

На комсомольских собраниях приходилось не раз слышать вопрос: кто был самым первым руководителем Центрального Комитета комсомола?

Таким самым первым, единодушно признанным комсомольским вожаком был председатель Центрального Комитета РКСМ первого состава Оскар Рывкин.

Аптекарский ученик из Петрограда, Рывкин прошел путь, типичный для комсомольских работников тех лет. Он вступил в ряды большевистской партии в марте 1917 года, сразу после Февральской революции. В месяцы, предшествовавшие Октябрю, молодой Рывкин неустанно работал в среде пролетарской молодежи Петрограда: он был одним из основных организаторов Социалистического союза рабочей молодежи. Вскоре его избрали секретарем Петроградского комитета союза.

Рывкин владел даром оратора и пропагандиста. Он убедительно защищал линию большевиков в частых схватках с меньшевиками и эсерами. Когда враг стоял на подступах к Питеру, Рывкин в составе группы комсомольцев-добровольцев уехал на линию огня, сплачивая и увлекая за собой молодых революционных бойцов... Позднее в анкете он скромно писал: был на фронте рядовым в 1918 году.

29 октября 1918 года в Москве открылся I съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, учредительный съезд комсомола. Съезд выразил свою полную солидарность с рабоче-крестьянской властью и партией Ленина в их борьбе за коммунизм. Съезд назвал союз молодежи коммунистическим. Решено это было не без споров. Из 176 делегатов с решающим голосом 6 голосовали против коммунистического наименования союза и 17 воздержались.

Рывкин на съезде ясно выразил волю передовой пролетарской молодежи: «Дело в том, что мы хотим носить не только в сердце, но открыто название коммунистов... Названия нам бояться нечего... В Петрограде все новые организации приняли названия коммунистических... все остальные названия устарели...»

На I съезде комсомола Рывкин делал доклад об уставе союза.

И вполне естественно, стойкий большевик-ленинец, выдающийся деятель коммунистического юношеского движения стал председателем Центрального Комитета РКСМ.

Я вспоминаю Рывкина, ведущего

Оскар Рывкин.

заседания II Всероссийского съезда комсомола, на котором было уже 429 делегатов, представлявших свыше 96 тысяч членов. Молодую республику враги окружили огненным кольцом фронтов. Съезд юных коммунистов принял историческое решение: провести для защиты республики поголовную мобилизацию членов союза от шестнадцати лет в губерниях, близких к фронту, и треть комсомольцев — в остальных организациях. Рывкин выступил на II съезде с отчетом Центрального Комитета союза и с докладом о социалистическом воспитании рабочей молодежи и реформе школы. Докладчик проводил такую мысль: мы ратуем за создание нового, свободного, сильного, здорового физически и нравственно поколения строителей коммунистического общества. Основой социалистического воспитания должен явиться производительный труд, дополняемый общим развитием.

В новый состав ЦК Рывкин прошел первым по списку: он был избран наибольшим количеством голосов.

Летом двадцатого года Рывкин приехал к нам в Омск на первую Сибирскую конференцию комсомола. Небольшого роста, в потертом плаще и невзрачной кепке, он не выглядел солидным «представителем центра». Вдобавок порыжевшие ботинки представителя ЦК, видимо, давно «просили каши»... Он поселился в нашей комсомольской коммуне и скоро покорил всех своей простотой, остроумием и доброжелательной общительностью. «Свой парень!» Мы заставили его «примерить» новые сапоги (незадолго перед этим нам выдали обновки по ордерам), кто-то заменил его потрепанный брезентовый портфель красивой папкой для бумаг... А на конференции Рывкину жадно внимали делегаты-сибиряки: он подробно и содержательно говорил и о работе ЦК, и о рождении Коминтерна Молодежи, и о задачах комсомола Сибири...

На III съезде комсомола, озаренном бессмертной речью Ленина, было представлено уже около полумиллиона членов. Снова о деятельности ЦК отчитывался Рывкин. Снова выступал он горячим поборником партийного руководства молодым поколением, страстным защитником большевистских принципов в жизни и деятельности комсомольских организаций.

На II конгрессе Коминтерна молодежи (1921 год) Рывкин участвует в дискуссии по вопросу о создании секций молодежи при профсоюзах и делится с западными товарищами опытом Российского Коммунистического союза молодежи.

Рывкину принадлежит значительная роль в правильной постановке вопроса о взаимоотношениях комсомола и партии, о чутком партийном руководстве комсомолом, о таком партийном контроле, который не превращается в опеку и мелочное вмешательство и учитывает необходимость всемерного развития самодеятельности и инициативы комсомольцев.

В качестве представителя комсомола Рывкин участвует в работе ряда партийных съездов и конференций.

На IV Всероссийском съезде союза молодежи (1921 год) Рывкин делает доклад об очередных задачах РКСМ. Комсомол, родившийся в годы гражданской войны, должен был приспособить методы своей работы к послевоенному мирному труду. В докладе был разработан вопрос о взаимоотношениях комсомола с органами пролетарского государства в условиях мирного социалистического строительства. Рабочая молодежь не имеет надобности в особой молодежной профессиональной организации, она сама часть рабочего класса. Следовало организовать участие молодежи в работе государственных учреждений и профсоюзов в области ее труда, образования, быта.

Выступление Рывкина на IV съезде РКСМ было его «лебединой песней» в комсомоле. Ему стукнуло 23 года. Он вполне сформировался как видный партийный работник. После двухлетней партийной учебы он направляется в Выксу, где заведует агитпропом уездного комитета РКП(б). Вскоре он был выдвинут на пост заведующего агитпропом Нижегородского губкома партии.

На XV и XVI съездах партии Оскар Рывкин был избран членом ЦКК ВКП(б). Работал он в Москве, в аппарате ЦКК—РКИ. В 1937 году он секретарь городского комитета партии в Краснодаре.

Хочу рассказать о Лазаре Шацкине, с которым часто встречался начиная с двадцатого года.

Вот «анкета» Шацкина:

Родился в 1902 году в буржуазной семье, учился в гимназии.

Вступил в ряды РКП (большевиков) в мае 1917 года (значит, было ему тогда 15 лет).

Член комсомола с июня 1917 года, секретарь Московского комитета союза молодежи при МК РСДРП(б) в 1918 году.

Участник гражданской войны на Южном фронте в 1918 году.

Член ЦК РКСМ четырех составов, первый секретарь Центрального Комитета союза в 1920—1921 годах.

Шацкин чаще всех других комсомольских работников встречался с Лениным, приходил к нему за советом всякий раз, конечно, по поручению ЦК комсомола. Он был делегатом ряда конгрессов Коминтерна и КИМа, неоднократно избирался в состав Исполкома Комин-

Лазарь Шацкин.

терна и Исполкома КИМа. Участвовал в работе семи съездов партии; на XV и XVI съездах его избрали членом ЦКК ВКП(б).

Лазарь был очень талантлив, часто выступал в прессе, создал ряд книг о комсомоле и международном юношеском движении.

Политическую линию комсомола всегда определяла партия. Но в разработке программных вопросов юношеского движения немаловажную роль играли и деятели комсомола; они же выступали проводниками и популяризаторами партийных принципов в комсомольской деятельности. Нельзя забывать также, что руководящие кадры комсомола проводили большую пропагандистскую работу по защите ленинской линии от наскоков разных оппозиций. Первым среди теоретиков юношеского движения следует назвать Лазаря Шацкина.

На I и III съездах РКСМ Шацкин выступает с докладами о программе комсомола, на IV, V и VIII съездах он докладывает о проблемах международного юношеского движения.

В нашем союзе молодежи и в комсомольских организациях Запада некоторые товарищи предлагали обособить рабочую молодежь в отдельных молодежных секциях при профсоюзах. Шацкин аргументированно выступал против этих взглядов, справедливо называя их «юношеским синдикализмом».

Он теоретически разбил защитников идеи «юной коммунистической партии», желавших подменить комсомол как массовую организацию «союзом избранных», союзом передового, вполне сознательного коммунистического юношества.

Шацкин блестяще ответил и товарищам, выступившим на партийных конференциях и в печати за организацию отделов по работе среди молодежи при партийных комитетах вместо самостоятельных организаций комсомола, имеющих свои выборные органы, свой устав, созывающих свои съезды и т. д. С таким же блеском он ответил на статью одного видного партийного работника, сомневавшегося, «нужен ли Интернационал Молодежи».

В книгах и статьях Шацкина, в его докладах на съездах комсомола и международных конгрессах дано исчерпывающее освещение вопросов о партийном руководстве юношеским движением, об отношении союза к крестьянской молодежи, к интеллигенции, о роли союзов молодежи в политической борьбе, о коммунистическом воспитании подрастающего поколения.

Провожая Шацкина на VIII съезде, делегаты единодушно приветствовали его, как почетного комсомольца. Лазарь ушел в Институт красной профессуры. Потом он был на партийной и государственной работе в Москве, Свердловске и Ташкенте.

Известно, что впоследствии Шацкин допустил ряд ошибок. Его взгляды по некоторым вопросам партийной политики и деятельности Коминтерна были партией отвергнуты и признаны «левацкими». Но антиленинские порядки, насаждавшиеся в стране в годы культа личности Сталина, привели к расправе над Шацкиным.

Восстановление ленинских норм в жизни партии и государства привело и к реабилитации Шацкина.

☆

С 1921 года я был членом ЦК комсомола почти десять лет. Живо помню, как выбирали мы первым секретарем ЦК Петра Смородина. Можно пожелать любому руководителю, чтоб его любили так, как комсомольцы любили Смородина, чувствовали его сердечность, честность, правдивость. И всегда звали любовно и ласково: Петя.

Если бы меня спросили, кто был самой яркой, колоритной, выдающейся пролетарской фигурой в комсомольском движении, я бы, не задумываясь, ответил: петроградский рабочий-большевик Петр Смородин, всегда и во всем верный сын партии, подлинный вожак трудовой молодежи в ранние годы Советской республики, в годы, когда жил родной и великий Ильич.

Жизненный путь Петра Смородина ясен и красив. Молодой рабочий, вступивший в ряды большевиков в мае 1917 года, яростно дерется с меньшевиками, эсерами и «беспартийными социалистами» в юношеской организации «Труд и Свет» еще летом 1917 года. Он, естественно, находится в числе первых организаторов и вожаков Социалистического союза рабочей молодежи Петрограда. Это о них, передовых юных пролетариях, писал Ленин в октябрьские дни, перед восстанием: «Выделить САМЫЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ элементы (наших «ударников» и РАБОЧУЮ МОЛОДЕЖЬ, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и ДЛЯ УЧАСТИЯ их везде, во всех важных операциях...»

Это их, юных коммунистов, молодых рабочих и крестьян, не раз напутствовал Ильич перед отправкой на фронты гражданской войны, и бойцы революции руководствовались наказом: «Погибнуть, но не пропускать неприятеля». Рабочая молодежь оправдала доверие вождя.

Петр Смородин провел на фронте два с половиной года, из них два года он был любимым красноармейцами комиссаром полка.

Однажды Петр был контужен, угодил в лазарет. В Питер прилетел слух о гибели Смородина. В это время проходила Петроградская комсомольская конференция. Петра помянули как погибшего. А он, удрав из лазарета, с обвязанной головой, незаметно прошел в задние ряды зала и запиской попросил «дать слово фронтовику...». А выйдя на трибуну, загремел: «Вы что это, черти драповые, хоронить меня задумали? Я вам покажу «покойничка»! Я вам в лицо скажу, где вы плохо работаете!..»

Зал сотрясался от грохота аплодисментов и восторженных криков: «Ну и Петя! Вот отмочил штуку, прямо разыграл!»

Петр Смородин.

За отвагу в боях Петр был награжден орденом Красного Знамени, позже за успехи ленинградцев на трудовом фронте грудь его украсил и орден Ленина.

У гроба умершего Ленина мы все, тогдашние члены ЦК комсомола, стояли в почетном карауле. На траурном заседании в Большом театре простую и скорбную речь от комсомола, клятву верности молодежи заветам Ильича произнес Петр Смородин.

Весной Петра Смородина выбрали почетным комсомольцем и отпустили на учебу.

А потом он вернулся в Ленинград, где работал секретарем районных комитетов и горкома партии. XVI и XVII съезды партии избирали его кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

☆

В 1921 году на IV съезде РКСМ состав ЦК комсомола пополнился рядом местных работников, ставших видными деятелями комсомола; это были Николай Чаплин с Урала, Оскар Тарханов из Крыма, Василий Васютин из Одессы, Сергей Белоусов из Тулы, Андрей Шохин с Украины и другие.

Политическая жизнь юного Чаплина началась в Смоленске. В 1918 году Николай становится одним из организаторов Социалистического союза рабочей молодежи имени III Интернационала. В 1919 году, семнадцати лет, вступает в партию. В этом же году его выбирают председателем Смоленского уездно-городского комитета РКСМ.

Чаплин неутомимо ездит по деревенским дорогам, организуя и инструктируя ячейки комсомола. Революционная молодежь участвует в борьбе с разрухой, трудится на субботниках, идет в продотряды, ведет культурно-просветительную работу в клубах и кружках, подымает деревенскую бедноту на борьбу с мироедами-кулаками.

Раз во время поездки Николай попал в лапы кулацкой банды. Бандиты избили его, связали и посадили в клеть, отложив окончательную расправу до утра. А ночью местные комсомольцы освободили его и помогли бежать...

В 1920 году я работал в Омске секретарем Сиббюро ЦК РКСМ. В «ведении» Сиббюро находилась и Тюменская губерния. Чаплин к этому времени был уже известен Центральному Комитету. Его направили в Тюмень председателем губкома комсомола. Тюменские комсомольцы избрали его делегатом III съезда РКСМ.

Николай никогда не гнался за личными удобствами, всегда на первый план выдвигал соображения общественного характера, партийной дисциплины, коммунистического долга.

Я не пытаюсь сейчас дать полное жизнеописание Чаплина. Мне хочется вспомнить черты живого человека, коммуниста двадцатых годов, стремившегося следовать ленинским принципам личной скромности и идейной чистоты.

...Стократ оплакан Николай родными и близкими. Утрата эта незабываема. Сердечно вспоминают о нем все, знавшие этого замечательного большевика. С той поры прошло уже четверть века. Сидим мы с вдовой Чаплина, Розой, и тихо беседуем. Она говорит: «Когда мы с Колей решили, что судьбы наши связаны навеки, он меня предупредил: «Я коммунист, значит, всегда и во всем буду руководствоваться интересами партии. Сегодня я здесь, завтра могу быть переброшен на самую далекую окраину, сегодня я на одной работе, завтра найдут нужным перевести меня на другую работу, самую маленькую и низовую. Так что будь готова к переездам, трудностям и лишениям...»

После Тюмени последовало возвращение в Смоленск, председателем губернского комитета, потом в Екатеринбург (Свердловск), в Москву, в Закавказье, опять в Москву.

Помню, провожая меня на московском вокзале в заграничную поездку — в Берлин и Париж,— Чаплин вздохнул, сжимая мои руки: «Завидую тебе. Это так поучительно — увидеть другие страны, новых людей, познакомиться с борьбой западных братьев...»

Николай Чаплин.

Спустя несколько лет Николай вместо отпуска нанялся матросом на пароход, чтобы побывать в странах Европы.

Ему было двадцать два года, когда по инициативе Серго Орджоникидзе и С. М. Кирова Центральный Комитет партии рекомендовал комсомольцам избрать Чаплина генеральным секретарем ЦК комсомола. На этой вышке изумительно развернулись способности Николая как организатора и вожака молодежи. Он много ездил по стране, его лично узнали и полюбили тысячи комсомольских работников, он завоевал уважение партийного актива.

Многие из нас многократно наблюдали, как внимательно и любовно относились к Николаю Чаплину чуткие наставники молодежи, старшие друзья комсомольцев — Орджоникидзе и Киров, Калинин и Косиор, Крупская и Луначарский, Ярославский и Бубнов, Подвойский и Семашко...

Николай Чаплин выступает как борец за ленинскую линию партии, как полемист и пропагандист, разрабатывающий вопросы теории, истории и практики юношеского движения.

Он оставил большое литературное наследие. Известны его обстоятельные доклады, брошюры и статьи.

Четырежды съезды партии (XIII, XIV, XV и XVI) избирают его кандидатом в члены Центрального Комитета ВКП(б).

Последние годы жизни Чаплин работал в Ленинграде и Воронеже начальником политотдела Мурманской железной дороги и начальником Юго-Восточной железной дороги.

«Правда» в день шестидесятилетия со дня рождения Чаплина писала: «Партия и комсомол чтят память своего славного сына Николая Чаплина, неутомимого труженика, бесстрашного бойца за дело Ленина».

☆

Моя первая встреча с Александром Косаревым относится к лету 1925 года.

Мы сидим в президиуме IV Всесоюзной конференции комсомола— Ярославский, Чаплин, Соболев, Ломинадзе и другие товарищи. Обсуждается доклад о деятельности Коммунистического Интернационала молодежи.

Председатель объявляет: «Слово имеет товарищ Косарев, секретарь Пензенского губкома комсомола». На трибуну быстро поднимается задорный паренек. Было что-то располагающее в улыбке и, я бы сказал, в ухватках энергичного юноши. Мы переглянулись: «Боевой парень!»

Чаплин, знавший массу комсомольских активистов, рассказал, что Александр Косарев прошел суровую школу комсомольской работы в ранние годы Советской власти в Москве, шестнадцатилетним подростком вступил в ряды большевистской партии в 1919 году.

Оказалось, оратор недоволен частой сменой работников в составе делегации ВЛКСМ в Исполкоме КИМа. Он хочет, чтобы жизнь и борьбу зарубежной молодежи шире освещали наши газеты и журналы, чтобы проводилась повсеместная и настойчивая интернациональная пропаганда. «Если в Москве и Ленинграде мы мало знаем о КИМе и его работе, то могу вас уверить, товарищи, в провинциальных и деревенских организациях о нем ничего не знают. Крестьянский парень не знает о жизни заграничной рабочей и крестьянской молодежи!» В этом восклицании сказалось прекрасное стремление — посмотреть на международные дела глазами крестьянского парня!

На VII съезде ВЛКСМ, в марте 1926 года, Косарев представлял Ленинградскую организацию, где рабочие-комсомольцы избрали его секретарем крупнейшего Московско-Нарвского райкома.

Не раз наблюдал я, как разговаривал Косарев с рабочими ребятами и девчатами, не тушуясь, когда возникали острые вопросы, и не чванясь, не отделываясь «начальственными» общими фразами. Комсомольцы чувствовали в нем своего товарища, понимающего их запросы и интересы.

Месяцы работы Косарева в Ленинграде, когда после XIV съезда партии ленинградские коммунисты и комсомольцы сплотились вокруг ленинской линии партии и довершили полный идейный разгром оппозиции, являются яркой страницей биографии Косарева.

Косарев «воевал» за душу каждого рабочего-активиста. Бывало, уведет парня в угол комнаты и внимательно, дружески растолковывает ему весь вред ошибок. А потом с торжеством говорит: «А знаете, секретарь этой ячейки — прекрасный парень. Он честно понял свои заблуждения и теперь станет решительно бороться за партийную линию».

И вот собрался VII съезд ВЛКСМ. Совсем недавно отгремели бои с троцкистами и зиновьевцами. Делегаты и гости заполнили Большой театр. Партер и ложи, низ и верх перекликаются песнями, всюду царит воодушевление.

Радостно было приветствовать на съезде новых руководителей Ленинградской организации комсомола — Сергея Соболева, Георгия Иванова, Александра Косарева и других товарищей, сплотивших ленинградских комсомольцев вокруг ленинского знамени партии. Через год Косарев стал заведующим организационно-инструкторским отделом ЦК комсомола. Он как бы принес с собой из районов и заводских ячеек Ленинграда деятельное желание всемерно направлять усилия комсомола соответственно возросшим требованиям масс, запросам молодежи. А у кого

Александр Косарев.

в руках ключи оживления комсомольской работы? У актива, конечно. Вот этому вопросу Косарев и посвятил свое выступление на V Всесоюзной конференции комсомола. Его выступление изобиловало примерами, фактами, именами.

...Жил-был комсомолец Клячин, рабочий парень. Выбрали его агитпропом ячейки. Одновременно сделали членом райкома, членом губкома. А помощи не оказали. Провалился парень «под тяжестью мандатов и постов»... Была комсомолка Щукина, выдвинули ее секретарем ячейки, вскоре провели в райком и губком комсомола, избрали членом райкома партии. И опять поспешное выдвижение сослужило плохую службу: «срезалась» выдвиженка, не справилась с работой, «зашилась» от одних только заседаний... Косарев привел и другие примеры, свидетельствующие о том, что мы порою не замечаем общественного роста новых активистов. Комсомолец Гаврилов, помимо ячейки, вошел в торгово-кооперативную секцию совета, стал работать секретарем правления кооперативного союза, руководить лавочными комиссиями, секцией уполномоченных. Он вдумчиво изучал вопросы торговли и кооперации, пошел учиться в техникум, специализировался в избранной области, рос как государственный человек. А комсомольские комитеты недостаточно уделяли внимания таким активистам.

Досталось некоторым комсомольским работникам за плохую связь с массами. «Я знаю лично присутствующих здесь парней, которые подолгу не говорили с рабочей молодежью, кроме как на языке докладов». Косарев не постеснялся назвать отрыв комитетчиков от молодежи «аристократическим отношением к массам». Он призывал объявить войну чванству, высокомерию и подхалимству. А делегаты одобряли оратора возгласами: «Правильно!» Он призывал актив упорно работать, стремиться усваивать ленинский стиль в работе, во всей своей жизни.

К VIII съезду ВЛКСМ Александр Косарев стоял во главе столичной комсомольской организации. В марте 1929 года он становится генеральным секретарем Центрального Комитета ВЛКСМ, проявив себя прекрасным организатором молодежи и выдающимся работником партии.

На XV съезде ВКП(б) он был избран в состав ЦКК, на XVI съезде — кандидатом в члены ЦК и на XVII съезде — членом Центрального Комитета партии.

В речи на XVI съезде партии Косарев подчеркивал, что вопросы хозяйственного строительства начинают все больше занимать внимание ленинского комсомола, считающего главным средством коммунистического воспитания молодежи расширение фронта участия комсомола в различных областях общественно-политической, хозяйственной и культурной жизни страны, ни в коем случае не замыкаясь в одних только «молодежных вопросах».

На XVII съезде партии, в 1934 году, Косарев сказал, что задача участия комсомола в хозяйственном строительстве переросла в задачу сделать Ленинский комсомол школой разносторонней государственной деятельности. И под бурные, продолжительные аплодисменты делегатов и возгласы «браво» Косарев закончил: «Ленинский комсомол прекрасно сознает свою роль, как ударной бригады, которая должна наиболее самоотверженно, наиболее героически драться на фронтах в будущей войне, которой нам грозят... И смею нашу партию в лице ее съезда заверить в том, что эти миллионные пополнения будут являться самыми выдержанными, самыми смелыми бойцами».

Так оно и было. Комсомольцы

и молодежь в суровые годы Великой Отечественной войны дали невиданные в истории примеры массового героизма и беззаветной любви к Родине.

Только не было среди отважных воинов «комсомольского бригадира» Александра Косарева.

☆

В годы 1922—1928-е я участвовал в работах III, IV и V конгрессов Коминтерна Молодежи.

В Исполкоме КИМа работали замечательные деятели коммунистического юношеского движения: Чжан Тай-лэй, представитель комсомола Китая, герой китайской революции, руководитель Кантонской коммуны в 1927 году, погибший в Кантоне вместе с рабочими-красногвардейцами; Конрад Бленкле, комсомолец — депутат рейхстага, замученный гитлеровцами в лагере смерти; славная дочь немецкого рабочего класса Ольга Бенарио; представитель комсомола Болгарии Благой Попов, вместе с Георгием Димитровым сидевший на скамье подсудимых во время Лейпцигского процесса; ставшие впоследствии руководящими деятелями компартий посланцы комсомола Франции, Италии и Англии — Раймон Гюйо, Франсуа Бийу, Луиджи Лонго, Джон Голлан; работавшие секретарями Исполкома КИМа Рихард Шиллер (Австрия), Альфред Курелла (Германия) и другие товарищи.

Оскар Тарханов.

Наш комсомол в Исполкоме КИМа представляли после Шацкина Оскар Тарханов, Бесо Ломинадзе, Рафаэль Хитаров, Василий Чемоданов.

Оскар Тарханов — коммунист с июня 1917 года, был в числе отважных руководителей подпольных комсомольских организаций в Одессе и Крыму в годы господства там белогвардейцев. С 1921 года он работал в Москве, был членом ЦК РКСМ четвертого и пятого созывов, первым председателем Центрального бюро юных пионеров, потом секретарем Исполкома КИМа.

В 1926—1927 годах он был в Китае и непосредственно участвовал в революционной борьбе китайских коммунистов и комсомольцев. В 1929 году за подписью О. Эрдберг вышла его книга «Китайские новеллы», посвященная самоотверженной борьбе китайского народа за свое освобождение.

...В памяти возникает образ чудесного товарища Рафаэля Хитарова. В конце 1924 года, пробираясь «нелегалом» на конгресс французского комсомола, я встретился в Берлине с Хитаровым. Там его называли Рудольф, он был работником ЦК германского комсомола.

Как это вышло?

Молодой большевик Хитаров (все его звали ласково Рафик) работал активным пропагандистом в Тифлисской комсомольской организации в 1919—1920 годах, когда в Грузии хозяйничало меньшевистское правительство. В мае 1920 года Хитарова арестовали и заключили в Метехский замок, а в октябре того же года меньшевики приговорили восемнадцатилетнего юношу к высылке из Грузии.

Вот тогда семья и товарищи помогли Рафику уехать в Германию. Здесь после двухлетнего труда рудокопа его выбирают секретарем комсомольской ячейки, затем — райкома, окружкома. Полиция охотилась за Рудольфом, его заочно приговорили к тюремному заключению.

Потом Хитаров вернулся в Советский Союз. ЦК ВЛКСМ избрал его председателем делегации нашего комсомола в Исполкоме КИМа.

На V Всемирном конгрессе КИМа в 1928 году Хитаров делал политический отчет Исполкома КИМа.

В последние годы жизни он работал секретарем партийной организации Кузнецкого металлургического комбината, секретарем Магнитогорского горкома партии. На XVI съезде партии он был избран членом Центральной Контрольной Комиссии.

Рафаэль Хитаров.

☆

Недавно в редакции одного московского журнала была устроена встреча «комсомольцев четырех поколений». В центре общего внимания находилась приехавшая из Ленинграда персональная пенсионерка Р. Я. Юровская.

Кто же такая Р. Я. Юровская?

«В восторге от Валентины Терешковой. Вот тебе и женщина!»— писала мне недавно Римма Юровская, выдающийся ветеран юношеского коммунистического движения, первая девушка, работавшая секретарем Центрального Комитета комсомола в 1919—1920 годах. Дочь старых большевиков, соратников Ленина, юная Юровская вступила в партию в начале 1917 года и была в числе основателей и руководителей Социалистического союза рабочей молодежи в Екатеринбурге (Свердловске) еще весной 1917 года. Члены союза — юноши и девушки революции — активно участвовали в Октябрьские дни в захвате власти большевиками.

На первом Уральском областном съезде социалистических союзов (ноябрь 1917 года) Юровскую избирают в областной комитет, и она становится председателем Уральского комитета союза.

Когда вспыхнул мятеж казачьего атамана Дутова, на борьбу против белогвардейцев вместе с рабочими-большевиками ушел цвет уральской революционной молодежи — «боевой отряд ССРМ», в санитарной части которого была и Римма Юровская.

Страстный оратор на митингах в грозные годы гражданской войны, Юровская была также ярким комсомольским журналистом. Редактируя первый молодежный журнал «Юный пролетарий Урала», Юровская написала в декабре 1918 года знаменательную статью «Год пролетарской диктатуры и рабочая молодежь на Урале». Перечитываешь эту статью — и словно слышишь шаги боевых отрядов комсомольцев. Статья оживает как документ эпохи, как реликвия славной истории комсомола.

«Красной нитью в жизни союза проходит гражданская война. Лучшие сыны революции пошли на фронт. Дутовское восстание — на фронт идет дружина членов союза Екатеринбургской, Новоляминской, Теплогорской организаций. Чехословацкая авантюра — кто первый пошел на фронт? Лучшая часть молодежи Екатеринбурга, Златоустовского, Чусовского, Миньярского и Аша-Балашовского заводов.

С товарищем Блюхером ушли на фронт Белорецкий и Верхнеуральский союзы. Самыми смелыми разведчиками, пулеметчиками, неутомимыми, отважными бойцами были юные пролетарии. Революция делала их героями...

Работают, растут союзы молодежи. Пройдет еще год, и эти нынешние юнцы, получив в союзах свое политическое воспитание, будут достойными сынами революции, творцами будущего».

Римма Юровская.

Много сил отдала Римма Юровская воспитанию достойных сынов революции. Она была делегатом первых четырех съездов РКСМ и членом ЦК комсомола первых двух составов. После II Всероссийского съезда она стала секретарем Центрального Комитета комсомола.

Мы, комсомольские работники тех лет, учились работать у таких более старших и опытных товарищей, как Юровская. Мы ее очень уважали, ласково звали «мамашей».

В 1921 году Р. Юровская работала секретарем Кавказского и Юго-Восточного бюро ЦК РКСМ, восстанавливая комсомольские организации в освобожденных от белых областях и республиках Северного Кавказа и Закавказья. Позднее Юровская перешла на партийную работу...

✲

С понятным волнением, как и все участники XIV съезда ВЛКСМ, слушал я в Кремлевском Дворце съездов речь Н. С. Хрущева — напутствие от имени партии молодым строителям коммунизма.

И сейчас вслед за Н. С. Хрущевым мне хочется повторить:

«Я горжусь своим поколением, горжусь тем, что мы жили какое-то время вместе с Владимиром Ильичем Лениным, что мы участники свершения Октябрьской революции, участники гражданской войны, войны за утверждение Советской власти, завоеванной в великие Октябрьские дни...

...Да, мы гордимся своим временем. Гордитесь и вы нашим временем, потому что мы — ваши отцы, ваши деды, ваши старшие братья и сестры!»

И мы от всего сердца желаем вам, наши дети, наши внуки, наша надежда, гордо и уверенно нести вперед и вперед эстафету строительства коммунизма!

Еще несколько слов...

Вы только что прочли рассказ о вожаках Ленинского комсомола первой половины его славного 45-летнего пути. Наряду с этими замечательными руководителями комсомола тех лет по праву должно стоять еще одно имя — имя автора этого рассказа Александра Ивановича Мильчакова. Один из лучших организаторов и запевал комсомольского племени в первое его десятилетие, А. Мильчаков в 1928—1929 годах был генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. «Наш Саша» — так называли Мильчакова многие и многие комсомольцы, знавшие и любившие его.

В октябре 1963 года А. И. Мильчакову исполняется 60 лет. Возраст, скажем прямо, солидный. За плечами этого поседевшего человека большая жизнь, трудные испытания. Но, право же, его боевому большевистскому духу, его неукротимому темпераменту, кипучей энергии, жизненному, мудрому оптимизму может позавидовать каждый юноша. Он не устает выступать перед молодежью как историк юношеского коммунистического движения, как живой носитель его боевых революционных традиций, как яркий партийный пропагандист, пламенным словом борющийся за воспитание новых поколений юных в ленинском духе.

От имени читателей нашего журнала редакция «Юности» сердечно приветствует славного ветерана юношеского коммунистического движения, одного из своих постоянных авторов, Александра Ивановича Мильчакова, и желает ему многих лет жизни, как всегда, наполненной кипучей, творческой работой во имя нашего общего дела — построения коммунизма.

А. И. Мильчаков
в юношеские годы.

Елене Дмитриевне Стасовой — девяносто лет

ИСПОЛНИЛОСЬ 90 лет со дня рождения Елены Дмитриевны Стасовой, одной из виднейших ветеранов Коммунистической партии, верной соратницы и друга великого Ленина.

Выйдя из среды передовой русской интеллигенции, Елена Дмитриевна — дочь известного общественного деятеля Д. В. Стасова, внучка выдающегося архитектора В. П. Стасова, племянница знаменитого художественного и музыкального критика В. В. Стасова — с юных лет связала свою судьбу с судьбами русского и международного революционного движения.

Член Коммунистической партии с 1898 года, одна из руководителей дореволюционного партийного подполья, агент ленинской «Искры», не раз подвергавшаяся арестам и ссылке, опытнейший большевистский организатор и пропагандист, активный участник Октябрьской революции, Е. Д. Стасова снискала искреннее уважение всех советских людей. Ее жизнь, насыщенная самоотверженной борьбой за дело рабочего класса, является ярким примером для нашей молодежи.

Старейший революционер, Герой Социалистического Труда, она и сейчас ведет большую общественную деятельность, выступает со статьями и книгами, страстно пропагандирующими идеи коммунизма. Редакция «Юности» гордится тем, что Е. Д. Стасова является одним из наших активных авторов, чьи статьи всегда вызывают живой интерес у читателей журнала.

Горячо поздравляем дорогую Елену Дмитриевну Стасову с 90-летием со дня рождения, сердечно приветствуем ее и желаем ей долгих лет, здоровья и бодрости.

Очерк

Анатолий БЕРКУТ

МЫ, СЛЕСАРИ...

Рисунки Ю. Ракутина.

Анатолий Беркут впервые выступает в центральной печати. Молодой, 26-летний рабочий, сантехмонтажник треста «Главюгводстрой», Анатолий уже прошел довольно сложный жизненный путь. Отец его погиб на фронте в 1943 году. Семье, где было четверо детей, жилось трудно. После 8-го класса Анатолий пошел работать на стройку подсобником, одновременно заканчивал десятилетку, учился в техническом училище. Служил в армии, но был демобилизован по болезни.

По призыву комсомола поехал в Казахстан, на целину, работал прицепщиком, трактористом, заведовал клубом. Потянуло в Сибирь, на большое строительство. И вот он на Енисее. Принимал участие в строительстве Красноярской ГЭС. Был шофером, монтажником. И опять болезнь дала о себе знать. Юноша переехал в г. Орджоникидзе, где живет и работает, попутно занимаясь журналистикой. Отсюда он ездил в командировку в знакомые места, на Красноярскую ГЭС.

Беспокойный дух тянет его все же снова туда, где зачинаются трудные, интересные дела. Он мечтает подлечиться и поехать на Север, чтобы, как он говорит, «построить какой-нибудь городишко».

I

В Дивногорске называют нас «водяными духами». Мы не обижаемся. Нам даже нравится это прозвище. Все на стройке знают, что без нас не обойтись. Без нас любой дом — пустая, холодная коробка. Судите сами: если каменщики возводят здание, а маляры заботятся о красоте его и уюте, то мы, «водяные духи», своими руками оживляем дом, как бы даем ему душу. Мы слесари-сантехмонтажники. Монтируем отопление, проводим газ, воду. Работаем на острых сквозняках чердаков и в темных подвалах, на высоте этажей и на улице.

Вот уже несколько дней мы тянем водопровод. Знаете ли вы, что это такое? Это глубокая, узкая, как якутские нарты, траншея с деревянным креплением, метров триста в длину, петляющая, точно хитрый заячий след. Наша задача — протянуть триста метров труб, зачеканить стыки. А затем с помощью пресса испытать их прочность под высоким давлением.

И останутся эти трубы в траншее. Трудолюбивые бульдозеры засыплют их землей. Грейдеристы покроют асфальтом. И жильцы домов спокойно будут ходить по тротуарам, даже не подозревая, что под ногами, на глубине нескольких метров, словно кровь в жилах, беспрестанно пульсирует вода.

Летом здесь благодать. На строительных лесах невыносимая жара, каменщики и монтажники пóтом соленым обливаются, а у нас прохладно, как вечерком на реке. Зато теперь... Бр-р-р!.. Очищаем траншею от снега, выравниваем дно, укладываем чугунные трубы. Из-под тяжелых острых ломов летят голубые искры. По крепости земля не уступает застывшему бето-

ну. Обледеневшие трубы выскальзывают из рук, точно здоровенные рыбины, когда их вынимаешь из сетей.

Мы за час работы замерзли настолько, что лица наши посинели. От такого мороза не спасает ни добрая одежда, ни теплая обувь. Сперва руки, ноги, затем все тело начинает бить крупный озноб. Я с надеждой посматриваю на Як Якыча: неужели не замерз? Неужели не замечает, как дрожат ребята? Или ему наплевать?

Як Якыч — наш бригадир Яков Яковлевич Краснов. Он коротким ломиком ловко выравнивает стыки труб и, как всегда, хмурится. Роста он невысокого, широкие плечи сутулятся, отчего кажется, будто глядит он на людей своими маленькими цепкими глазами исподлобья.

Заработок у нас солидный. Как подходим к окошку кассы за получкой, рабочие других бригад, лукаво перемигиваясь, неизменно шутят:

— Мешки-то взяли с собой?

— Может, помочь донести деньги-то?

— Мужики, да у них, у красновцев этих, одних премиальных куры не клюют!

За этими беззлобными шуточками я всегда чувствую уважение, хотя его и стараются спрятать за нарочитой грубоватостью, за показной завистью.

II

Ребята озябли окончательно. Следовало бы отдохнуть; «бендешка» — наша слесарка — совсем рядом. Эх, и теплынь же там, как в бане! Мишка Федоров и Володька Ефремов, не выпуская из рук ломов, то пританцовывают, то постукивают нога об ногу, но, видно, это мало помогает. Федоров искоса смотрит на бригадира, просительно тянет:

— Перекури-ить бы... А, дядь Як?

Тот согласно кивает.

— Сходи, сходи, пообжимайся с «буржуйкой»-то.

Миша Федоров обидчиво хмурится: как же он пойдет греться, когда вся бригада работает? За кого его принимают? И, сердито сплюнув, он с еще большей яростью принимается долбить неподатливую землю.

Володя Ефремов недовольно ворчит:

— Работа есть работа. А только и о людях думать надо.

На ругань Володьки Ефремова никто не обращает внимания. Всем уже порядком надоела его воркотня. К ней привыкли, как привыкают к хроническому насморку: неприятно, ужасно неприятно, но что поделаешь!

Я никогда не мог бы сказать, как поступит этот невысокий, худой, с злыми зелеными глазами рыжеватый парень.

Вот он ворчит и ругает все на свете: свою трудную профессию, начальство, лютый мороз, глубокую траншею, товарищей по работе, работников торговли за скверное снабжение, ворча натягивает жесткие брезентовые рукавицы, ворча берет инструмент, лениво идет на свое рабочее место, и его вечно недовольный голос раздается даже во время работы.

И в то же время он никогда не идет греться в «бендешку». Раньше всех взяв инструмент, домой уходит последним, торопясь, сутулясь от холода. Его куцая рваная телогрейка с разноцветными заплатками во многих местах «заштопана» тонкой медной проволокой, старенькие серые валенки обшиты черной резиной. Курит он самые дешевые папиросы. В аванс и получку, когда ребята устраивают складчину, он с подозрительной поспешностью уходит, чем вызывает насмешливые улыбки товарищей.

Ребята наградили его обидным прозвищем «Злыдень». Трудно сказать, кто именно придумал эту кличку, но пристала она к нему крепко, как сурик к железу. И только один Як Якыч относился к Злыдню по-дружески. Это удивительно: молчаливый, как индеец, бригадир, не терпящий болтунов, явно готовит Володьку на свое место: через полгода он должен уйти на пенсию, вот и нашел себе преемника.

Смешно! Любому ясно, что с таким прозвищем, как у Володьки, нечего и думать о бригадирстве, да еще в бригаде, которую до сих пор вел Краснов — дядя Як.

Дядя Як — самый искусный в поселке слесарь и сварщик. За многие годы трудной работы Як Якыч обучил слесарному делу не одну сотню людей. И не просто обучил. Крутить ключом гайки, резать ножовкой дюймовые трубы не так уж сложно, каждый сумеет. Краснов же требует от слесаря не только виртуозности в обращении с любым инструментом, но и умения читать чертежи и «работать чисто, как ювелир, честно, как человек, а не халтурщик». Его учеников можно встретить всюду, на любой стройплощадке. Совсем еще «зеленые» парни, солидные мужчины, которые не умели когда-то даже правильно держать ключ и молоток, не знали, как согнуть самую паршивенькую «утку», теперь — энергичные начальники крупных участков, толковые прорабы, умелые мастера, знатные бригадиры, продолжающие с гордостью называть себя «птенцами гнезда Краснова».

...Бригадир сообщает нам, что несколько дней должен участвовать в какой-то конференции. Перед тем как уйти, он внимательно оглядывает каждого из нас, будто впервые видит, и говорит:

— Володя, останешься тут за меня. Можете покурить маленько.

— Ладно,— буркнул тот и язвительно добавляет: — Гляди, Як Якыч, штанов не протри на заседаниях на этих. Толку от них, как от осы меду.

Краснов ушел. А мы заторопились к желанной «бендешке».

И вот держим над «буржуйкой» красные руки. Раскаленный кокс, теплый сверху, огненно-бел изнутри. Курим. Медленно разминаем все еще непослушными, словно опухшими от холода, пальцами сигареты и папиросы. Прикуриваем от раскаленных боков «буржуйки», жмуря глаза от нестерпимого жара.

— Ребята, а где же Злыдень? — удивленно спрашивает кто-то.

Действительно, где он? Каждый сидящий у «буржуйки» поднимает голову и обводит глазами всю слесарку, будто Ефремов мог спрятаться где-нибудь в полутемном углу или за длинным металлическим верстаком.

— Шабашки, небось,— угрюмо говорит Шестаков.— Всякие там зажигалочки, замочки ремонтирует... Помешался на деньгах, как Плюшкин!

— Ну и что? — вызывающе спрашивает Федоров.— Материал-то у него свой! И калымит он не в рабочее время. Ты, Колька, вечно из мухи слона лепишь.

— Может, Володька машину мечтает купить,— усмехается Саня Забазнов.— Всей бригадой в шикарном лимузине будем кататься. Верно, Анат? — весело подмигнув, обращается он ко мне.

Хотя я, как и все, недолюбливаю Володьку, но сейчас мне неприятно слышать, как за глаза осуждают человека. Николай то и дело называет его «несознательным элементом». По-моему, это перегиб. Мало ли тех, кто на первый взгляд казался сознательным, бежал отсюда, со стройки! Бежал при первых же лютых морозах. Бежал, да-

же не взяв расчета. А вот Володька не убежал. Работает. Ворчит на все и всех, ругает все и всех, но когда какой-нибудь приезжий журналист или писатель пытается расспросить о трудностях нашей работы и быта, Володька удивленно пожимает бетонно-крепкими плечами, лениво цедит:

— А чего там! Работа как работа... Трудности? Хм... А где их нет? Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. В любой работе свои трудности и радости...

Жара между тем всех разморила окончательно. Ребята сонно клюют носами, только Шестаков беспрестанно поглядывает на ручные часы, зло жуя мундштук папироски. Он явно досадует на Злыдня, который где-то запропастился.

III

Володька стремительно ворвался в «бендешку» и сразу же обрушился на нас с руганью:

— Ага! Кейфуем?! Сачка давим? Может, за вас дядя родной вкалывает? А?..

Мы возмутились. Мало того, что Злыдень неизвестно где шатался целых полчаса, он смеет еще и обвинять нас черт знает в чем! Что мы, «фабзайцы»? Или он на самом деле возомнил себя вторым Красновым?

Шалишь, дружок! Тебе до дяди Яка ох как далеко!

Что-то в этом роде Шестаков ему и высказал, добавив почему-то, что наши руки и сердца должны быть чистыми.

— У меня что — грязные? — угрюмо спросил Володька.

«Ух, и начнется сейчас заваруха!» — с досадой подумал я.

Но, к моему удивлению, никакой заварухи не произошло. Володька Ефремов как-то вдруг весь обмяк, ссутулился. Устало махнув рукой, присел на деревянный ящик с инструментом. Достал из кармана телогрейки пачку «Байкала». Торопливо размял папироску красными пальцами, опухшими в суставах от мороза. Тихо, как бы самому себе, сказал:

— Сорок семь градусов сегодня. Свободно можно лапы отморозить. И без копыт остаться...

Мы демонстративно промолчали.

Он поднял голову, внимательно посмотрел на нас. В зеленых глазах его — усталость и грусть. Так и не закурив, сунул папиросу себе за ухо. Тяжело вздохнув, принялся стаскивать с правой ноги огромный валенок. Оставшись в толстых шерстяных носках, сказал своим обычным злым голосом:

— Все, все снимайте валенки! Мишка, волоки сюда канистру.— Он кивнул в сторону двери, где оставил у порога канистру.

— Ноги олифить будем, что ли? — добродушно-насмешливо обронил Саня Забазнов.

Канистра была полна спирта.

— Откуда? — удивился я.

— Откуда? Взял взаймы у верблюда,— ворчливо отозвался Володька, осторожно переливая драгоценную жидкость в металлический бачок. И уже без насмешки: — На складе дали. Парторгу спасибо скажите, черти бесхвостые! Это дело он провернул.

От сибиряков я слышал, что в лютые морозы рабочие-строители только спиртом и спасают руки и ноги от стужи. Но как это делается, не знал. Это была моя первая зима здесь, на Енисее. И надо сказать честно, для меня, выросшего на стремительном Тереке, она казалась бесконечно долгой, мучительно трудной.

По примеру Володьки мы тщательно просушили у печки свои шерстяные носки и рукавицы, а затем, намочив их в спирте, отжали и надели. Когда все были готовы, Ефремов, быстро укладывая инструмент в свой деревянный ящик и не поднимая головы, резко сказал:

— За то, что час проволынили, будем вкалывать без обеда.

— Это как понять? — возмутился было Федоров, но Володька перебил его:

— А вот так! Сидеть будем — шиш с маслом заработаем! Не знаю, как вы, а я не сын миллионера. Что руки мои сделают, за то они и получат. Кто против?.. Ага! Нет таких? Ну и добро.

— Вечно ты, Володька, все на деньги сворачиваешь! — уверенным тенорком отозвался Шестаков.— Лично мне на деньги наплевать, я долг выполняю...

И я впервые подумал о Николае Шестакове: искренен ли он?

IV

Ох, и трудное это дело — чеканка! Летом забиваешь зазоры в стыках труб чуть влажным цементом, а сейчас — свинцом. Приходится то стоять на коленях, то на живот ложиться, то принимать положение, похожее на партер в классической борьбе.

Спасибо Володьке за спирт. Теперь мороз не отгрызет наши «лапы» и «копыта». Правда, ужасно холодно, особенно мерзнут щеки, нос, колени. Но терпеть можно.

Стук... стук... стук... Бьют молотки, звенит на морозе металл, как натянутая струна. Впереди и позади меня поют работяги-молотки.

Каждый работает на свой лад.

Вот Мишка Федоров. Он, пожалуй, излишне суетится: то на одно колено опустится, то на живот ляжет. Молоток в его руке так и пляшет, так и поет высоким голосом. Можно подумать, будто Федоров работает стремительнее всех, но я-то отлично знаю, что это далеко не так.

Саня, движения которого кажутся вялыми, ленивыми, на самом деле обогнал Мишку на один стык. А я — на целых два.

Николай Шестаков большей частью находится в «партере». Работает он с какой-то степенной медлительностью, как будто даже с неохотой. Но так только кажется. Шестаков оставил далеко позади и Забазнова и меня. А весь секрет в том, чтобы суметь с большой точностью рассчитать все свои движения. Чтобы ни один удар молотка не был холостым. И Николай давно добился виртуозности в чеканке. Но все же работа его не зажигает других, в ней нет задора, нет страстности, как у Володьки.

Вот кому можно позавидовать — Володьке Ефремову. Работает он быстро, азартно, весело. Он ласково разговаривает с молотком, как если бы тот был живым существом, что-то тихонько бормочет себе под нос, чему-то задумчиво улыбается или недовольно хмурит редкие рыжеватые брови.

Я вижу, как Мишка, словно невзначай, отгибает рукав телогрейки и украдкой смотрит на часы. До шабаша еще далеко!

Я чеканю стыки и стараюсь думать о том дне, когда по трубам пойдет вода. Поднимется на этажи домов, чтобы там, в сотнях уютных квартир, озорно разбежаться на тысячи звонкоголосых струй.

От этих мыслей мне становится как-то теплее. Чугунные трубы уже не кажутся такими ледяными.

V

После работы Володька против обыкновения не стал задерживаться в слесарке, а вышел со мной в числе первых. Шагая рядом, коротко сказал:

— Домой надо пораньше. Дело есть.

Однако по его медленной походке я бы не сказал, что он спешит домой. Устало опустив плечи, он шел молча, глубоко спрятав руки в карманы телогрейки. Я попытался завести разговор о минувшем дне, но Володька продолжал угрюмо молчать, буркнув только:

— А, день как день! Мороз как мороз.

— Полторы нормы дали сегодня.

— Ха! Это у «буржуйки»-то? Рядом с ней мы и три нормы бухнем! Тепло, светло, и мухи не кусают.

Я с досадой нахмурился. Опять он за свое. И что за человек!

— Послушай,—сказал он вдруг,— ты это... мм... ну, как насчет математики?

— А что?

— Да так... гм... к слову пришлось... Говорят, ты в институте учишься...

— Да, в строительном.

— На каком курсе?

— Летом на второй перейду.

— Так ты того... Может, подкуешь меня по математике?

Это была для меня приятная новость. Володька хочет учиться! Только, вот чудак, чего он смущается и краснеет, словно речь идет о чем-то постыдном?

— В институт хочешь?

— Куда мне! В техникум попробую.

— А заниматься где будем? У нас в общежитии шумно. Правда, есть комната для заочников... Но там особенно не разгуляешься.

— Почему?

— Тишина должна быть. А нам придется вслух учить.

— Мм-да-а... И все же... знаешь, лучше у вас. Я буду по вечерам приходить.

И он своим обычным сердитым голосом принялся рассказывать о себе.

Семья у них — дай бог каждому! Кроме него, у матери еще четверо: сестренка и три братана — школьники. Отец?.. Да нет, не умер. Семь лет назад бросил семью, уехал куда-то на Север. С тех пор ни слуху ни духу.

Ему, Володьке, работать пришлось рано. Еще пятнадцати не было, как слесарный ключ в руки взял. Жилось, конечно, туго... Да и теперь не мед. А впрочем, что об этом толковать? Жизнь бывает легкой только в сказках. Мать все время болеет, редко встает с постели. Ему приходится крутиться, как белке в колесе. Самое главное для него сейчас — поставить братанов и сестренку на ноги. Они уважают и слушаются его.

— Я так думаю: если у нас заниматься, то, знаешь, петрушка получится,— смущенно улыбаясь, сказал он.— Пацаны, они ведь какие? Скажут: нас учишь, а сам-то мелковато плаваешь. Соображаешь теперь?.. Этак-то я весь свой авторитет, как гайки из дырявого кармана, растеряю начисто!

Чтобы не рассмеяться, я принялся с трудом кашлять, закрывая лицо рукавицей. Я был не согласен с Ефремовым, но, шут его знает, быть может, он прав с педагогической точки зрения? Легко об этом рассуждать, а вот что бы делал я на его месте...

Он осторожно постучал кулаком по моей спине, сочувственно сказал:

— Либо легкие застудил? С этим шутить нельзя. Ты... того... к нам приходи, что ли... Мать тебя живо от простуды вылечит.— И улыбнулся добродушно.— Крепко жмет сибирский мороз кавказского человека?..

— Жме-ет.

— Привыкнешь. Ты, я погляжу, крепкий, выносливый, не то, что другие. А Сибирь... ее полюбить надо. Крепко полюбить...

VI

Между пятью и шестью часами общежитие полно шума и движения. Кто принимает душ, кто бреется, кто рассказывает друзьям о случившемся за день. Сидят на койках в одних трусиках: за день надоест в робах. Часам к семи становится значительно тише. Многие уходят на занятия в вечерние школы, на курсы, в техникум, на тренировки в спортивные секции. Наконец, дела сердечные тоже требуют времени, внимания и не позволяют ребятам преждевременно становиться домоседами.

Мы с Саней Забазновым и Мишей Федоровым живем в одной комнате.

Саня Забазнов то весел и ироничен, то молчалив и грустен. Девушка, с которой дружил несколько лет, вышла замуж, хотя обещала ему приехать в Дивногорск. Отсюда мрачные взгляды на любовь вообще. Саня считается меланхоликом.

А мне нравится, что он охотно помогает многим ребятам решать задачи по физике и алгебре, вообще оказывает помощь в учебе каждому, кто в ней нуждается. Сам он готовится к поступлению в политехнический институт.

Миша всегда чем-то крайне возбужден. Войдет с улицы, не присаживаясь, даже не снимая щегольских кожаных перчаток, возьмет газету, журнал, мельком взглянет, небрежно бросит. Однажды спросил меня, как дела в Конго. Сказал, что мечтает поехать на строительство высотной Асуанской плотины.

Сирота. До пятнадцати лет жил в детдоме. Одинок. Ни с кем не дружит, вечерами бесцельно слоняется по улицам поселка.

Как-то уговорили его сходить в клуб на встречу с группой московских поэтов. После этого он

стал посещать лекции народного университета культуры.

Сегодня Миша идет на дежурство в новую котельную. Эта котельная сдана в эксплуатацию всего две недели назад. Штатных дежурных слесарей пока не хватает. Дежурство поручили нашей бригаде. Сегодня на это дежурство идут Миша и Николай Шестаков. А в клубе большой концерт московских артистов.

Миша со вздохом говорит:

— Небось, в клубе будут исполнять и музыку Глинки... А?

— Возможно.

— Люблю Глинку. Музыка — сила! — Озабоченно хмурится.— Короче, я потопаю.

— Володька пойдет в клуб? — поинтересовался Саня, ловко завязывая маленький узел черного галстука.

— Обещал забежать за нами.

— Шестаков на него обиделся.

— А чего обижаться? — говорю я.— Каждому охота на концерт попасть. Все отдежурили свое. Очередь Кольки с Мишкой.

Дверь отворилась, входит Володя Ефремов, необычно оживленный, веселый.

— Здорово, духи водяные! Готовы, что ли?

— Привет! — дружно отзываемся мы.

В коридоре первого этажа нас окликает воспитательница общежития:

— Ребята, Шестаков в вашей бригаде?

— В нашей,— отвечает Володька.— Сейчас на дежурстве.

— Телеграмма ему. Вот, передайте.

Ефремов с минуту рассматривает текст телеграммы, хмурится. Протягивает нам.

«Коля выехала поездом двадцать вторым вагон четвертый встречай целую Аня».

Я вздыхаю. Саня с восхищением произносит:

— Девушка что надо! Молодчина! Везет Шестакову.

Володька задумчиво сдвинул лохматую шапку-ушанку на затылок.

— Что же, хлопцы... Я в котельную пойду. Сменю Кольку.

Мы предлагаем ему идти в клуб, а на дежурство послать кого-нибудь другого.

— Нет,— отвечает решительно.— Раз дядь Як поставил меня старшим, значит, мне положено быть чуточку впереди вас. Во всем. Соображаете?

Мы знаем: спорить с ним бесполезно. Соглашаемся. Но решили сделать небольшой крюк, чтобы проводить его до котельной.

VII

Мы неторопливо шли мимо громадного здания. Когда-то здесь был обширный пустырь, лишь недавно построили и заселили пятиэтажный дом. Вокруг — еще дома, обросшие строительными лесами. Сейчас над стройплощадкой стоит удивительная тишина, даже не верится, что завтра утром она нарушится шипением автогена, визгом ножовок, перестуком кельм...

Вдруг дверь последнего подъезда с грохотом раскрылась. На улицу стремглав вылетел чумазый, насквозь промокший Мишка Федоров с испуганным, растерянным лицом. От грязной его робы валил пар, искривленные в страхе губы подергивались, в широко раскрытых глазах — ужас.

Увидев нас, он подбежал к Ефремову и, словно боясь упасть, судорожно схватил его за рукав куртки-«москвички». Пытался объяснить что-то, но вместо связных слов с губ его срывалось мычание.

Володька схватил всхлипывающего Мишку за узкие плечи, с силой затряс его, заорал:

— Что-о?! Что случилось?!

Но Федоров мотал головой, бессвязно бормоча:

— К-котел... д-давление... вода... вода уходит... телефон испорчен... в-в-взорвется...

Острое ощущение опасности ударило в сердце.

Володька бросился к подъезду — туда, в подвальное помещение, где находилась котельная. Мишка бежал следом за нами и постанывал.

Тяжелая, обшитая металлом дверь в котельную была плотно закрыта. Володька с разбегу рванул ее, и в ту же минуту к нашим ногам выкатилась, пенясь, вода. Поплыл удушливый пар. Я покачнулся, боясь упасть, обеими руками ухватился за бетонную стену. Со зловещим свистом выше щиколоток струилась вода. Бешено гудели топки трех котлов. По-змеиному шипел пар, и в этом гуле зазвенел голос Ефремова:

— Заходи... заходи... Дверь затвори, хлопцы... Не робей, ребята! Не робе-ей!

Он стоял почти у самых котлов, по колено в воде, пытаясь разобраться в причине аварии.

Я сделал два шага вперед. Теплая вода тотчас хлынула мне за голенища валенок. Я инстинктивно подался к двери, столкнулся с Санькой и Мишкой, нерешительно топтавшимися у порога.

— Куда-а? — грозя кулаком, крикнул Володька.— Стой, черти!.. Да дверь, дверь-то закройте, черт вас возьми!..— И снова погрозил кулаком.— Душа в пятки прыгнула?

— На воздух взлетим, Вовка,— сказал я, глядя на манометр.

— Ерунда! Не так страшен черт, как его малюют.— Но, оглядев меня, он прибавил потише и мягче: — Взлететь вверх тормашками и дурак сумеет. А ты вот мозгой пошевели... Понял? — И громко: — Эй, Санька!.. Санька, жми во все лопатки за аварийкой! Ну, мигом!

Забазнов исчез за дверью.

Вода журчала и плескалась. Становилось невыносимо жарко и душно, как в русской парной бане. Мы с Володькой скинули шапки, пальто, валенки. До колен засучили штаны. Страшная силища бродила в котлах и, казалось, распирала их железные могучие бока.

Жуткое ожидание взрыва наполняло сердце страхом, ослабляло ноги и мышцы рук, вызывало подступавшую к горлу тошноту. А в душе росло, разгоралось подленькое желание: распахнуть тяжелую дверь и одним махом выскочить на улицу, глотнуть морозного воздуха, увидеть прозрачное небо.

— Сюда-а!..— яростно закричал Ефремов.— Давай сюда!..

Он суетился возле стояка. Лицо у него было красное. Глаза блестели зло, решительно. Мокрые рыжие волосы липли ко лбу.

Мы с Мишкой бросились на зов.

Только теперь я понял причину аварии. Бронзовый вентиль на трехдюймовом стояке дал, видимо, сильную течь. Это случается. Федоров хотел, вероятно, сменить сальник вентилятора, но то ли по неопытности, то ли в спешке перекрыл на чердаке совсем не тот стояк. Вода перестала поступать в котлы. А Федоров, ничего не подозревая, принялся отвинчивать контргайку. Сильнейший напор горячей воды вышиб сальник, обжег Мишку, который слишком поздно понял свою ошибку.

Мы прибыли в то время, когда каждая минута могла оказаться роковой. Успеет ли Саня приехать с аварийной машиной?

— Ты... с-салага! — закричал Володька Федорову, трясясь от злости и сжимая кулаки.— Тебе не слесарем быть... Бочку олифы тебе в глотку! Что рот раскрыл? Где Шестаков?.. Хватай ключ, марш галопом на чердак! Живо, дай воду котлам... Да шевелись, шевелись, труба дюймовая, ну!..

Мишка мигом схватил с полки ключи. Бледный, дрожащий, метнулся было к выходу, но вдруг

остановился, резко обернулся. Лицо, мокрое то ли от воды, то ли от слез. Известково-белыми губами произнес, впиваясь сумасшедшими глазами в манометр:

— Н... н-не поспеть... Все одно... крышка... крышка нам...

Я бросил тревожный взгляд на манометр — стрелка прыгала за красной чертой. Котлы уже не гудели. Они выли, тонко, зловеще.

И внезапно, перекрывая этот пронзительный вой, раздался дикий крик Ефремова:

— Убью-ю!!! — Он кинулся к громадному ящику с инструментом, стоявшему напротив стояка, схватил кувалдочку, замахнулся ею на Федорова: — Живо на чердак, гайка ржавая! Живо!

Мишка как-то странно всхлипнул, вобрал голову в узкие худые плечи и кинулся к двери, взбивая фонтаны брызг.

Володька швырнул кувалдочку на ящик. Принялся торопливо натягивать на плечи мокрую «москвичку».

«Куда он? Зачем? Струсил? Бежит?..» — мелькнули у меня мысли.

— Да... черт... можем опоздать... Эх, дьявол...— бормотал он, с лихорадочной поспешностью натягивая валенки, шапку, рукавицы. Схватил мое пальто и тоже накинул себе на плечи.

— Вовка!

Он стремительно повернулся. Секунду-другую смотрел на меня пристально, изучающе. Крупные скулы его худого лица как-то заострились, вокруг тонких губ пролегли две резкие морщинки. Он весь собрался, напружинился, точно боксер на ринге перед боем.

И я понял, понял, на что он решился. Несмотря на жару, озноб пробежал по моей спине, противно задрожали ноги. Мне захотелось закричать, что этого делать нельзя, что это смертельно опасно...

Но я ничего не мог сказать. Я лишь повторял бессвязно:

— Вовка... Вовка... Ну, Вовка-а...

— Не скули. Слышишь? Не ной! — сурово оборвал он.— Садись на ящик. Ну-да, на ящик!

Я послушно сел.

Володька, крадучись, точно охотник, стал подходить к стояку, из которого мощной свистящей струей била горячая вода с паром. Уже в полуметре от стояка он на миг обернулся. Сказал спокойно:

— Упрись спиной в стену, ногами — мне в грудь.

И тут же, прикрывая лицо брезентовыми рукавицами, боком прыгнул на струю. На какой-то миг сбил ее, с непостижимой быстротой повернулся лицом ко мне и закрыл спиною трехдюймовое отверстие.

В этот момент мне было бы легче быть на месте Ефремова, чем сидеть на ящике. Только усилием воли удалось заставить себя поднять ноги и прижать товарища к стояку.

Ефремов стоял, широко расставив ноги по колено в воде, мертвой хваткой уцепившись за трубы обеими руками. Едва разжимая цементно-серые, искусанные в кровь губы, он хрипел:

— Крепче... жми... Ч-черт... давление... д-дьявольское...

Лицо его стало под цвет белил. По подбородку текли розовые струйки крови. На лбу, меж бровей, вздувалась от неимоверного напряжения широкая фиолетовая вена. Тяжелое, хриплое дыхание с трудом вырывалось сквозь стиснутые зубы...

Трудно сказать, сколько времени прошло,—пять, десять, а может, пятнадцать минут: минуты казались часами. Володька, глядя поверх моей головы, радостно, горячечно прошептал:

— Пошла-а... пошла водичка...

Я повернул лицо в сторону манометра. Стрелка едва-едва шевелилась деления на три ниже красной черты.

Вскоре прибежал Федоров. Увидел нас, и у него жалко сморщилось лицо, запрыгали губы, задергались покрасневшие веки. Он пытался сказать что-то, но только слабо махнул рукой.

А Ефремов старался ободряюще улыбаться, но улыбки не получалось. Мускулы осунувшегося лица болезненно подергивались. Нам с Мишкой с большим трудом удалось разжать его руки, судорожно сжимающие горячие трубы. И если бы мы не подхватили его под руки, он бы непременно упал. Мы почти донесли Володьку до ящика, уложили на бок. Он не стонал, лишь поскрипывал зубами от жгучей боли. Шея его представляла собою сплошной багровый волдырь. Руки и спина были обварены.

Вода все еще текла из стояка. Но теперь это было уже неопасно. Котлы ежесекундно наполнялись. Да и аварийка прибыла.

Мы разговаривали почему-то шепотом.

— Где же Шестаков? — спросил я Мишку.

— Ушел. На концерт. Ты, говорит, подежурь — я часа через два вернусь. Ничего, мол, не случится. Ну, а я что? Как ему запретишь-то?

— Н-да?.. Фру-укт,— протянул я, вспомнив телеграмму от незнакомой мне девушки Ани. Может быть, в эту минуту ее поезд подходит к станции. Мне захотелось, чтобы он промчался на полном ходу, не останавливаясь...

...Падал снег густой, почти теплый, и нам очень хотелось лечь в этот пушистый снег — забыться в сладкой дреме. Мы шли, промокшие и усталые, к санитарной машине, стоявшей в пяти шагах от подъезда, а на белом снегу оставались бурые отпечатки, оттиснутые подошвами наших разбухших от воды валенок.

Дивногорск—Орджоникидзе.

Наш фельетон

Леонид ЛИХОДЕЕВ

Возвращение д'АРТАНЬЯНА

Рисунки И. Оффенгендена.

О романтике не писали еще только фельетонисты.

Во всех прочих жанрах она описана настолько подробно, что можно уже систематизировать ее как особую дисциплину для преподавания на специальных курсах.

Библиография этой дисциплины безбрежна. Бригантина поднимает паруса. Зовут пути-дороги. Мы с тобой два берега у одной реки. Давай, геолог, валяй, геолог. Только смелым покоряются моря. Вперед — и нет пути назад...

И тысячи других примеров, без которых жить уже просто невозможно.

А жить все-таки надо. Тем более, в библиографии сказано: «и нет пути назад».

Впрочем, так ли уж нету этого самого пути? Давайте проверим.

Когда гасконский парнишка по фамилии д'Артаньян достиг восемнадцати лет, папа сказал ему, что пора начинать самостоятельную жизнь.

Папа взял лист хорошей бумаги и написал письмо своему влиятельному земляку, который работал капитаном мушкетеров в городе Париже. Папа просил этого ответственного работника не оставить мальчишку милостями и пристроить его в столице.

Д'Артаньян взял письмо, сказал папе: «Приветик!» — и поехал в Париж. Но не успел он немного отъехать от родительского дома, как письмо у него стащили. А надо сказать, что устроиться в столице без блата было трудно уже и в те времена.

Что должен был делать умный парень ввиду такой нехорошей перспективы? Он должен был немедленно повернуть назад и честно заявить: «Папа! Не волнуйся. Документ увели. Заготавливай новый!»

Это решение вопроса подсказал мне другой парнишка, также достигший восемнадцати лет и прочитавший к тому же все романтические книги, наличествующие в его новенькой библиотеке.

Я удивился:

— Как же так? Ведь если бы д'Артаньян поступил по-твоему, не о чем было бы просто рассказывать!

— Ну и что? — ответил он.— Зато было бы новое письмо, и д'Артаньяну не пришлось бы рисковать жизнью.

И я представил себе, как бы встретил сыночка папа д'Артаньян. Папа д'Артаньян был солдат и применительно к своему времени человек строгих правил. Скорее всего он отрекся бы от своего трусливого сына. Скорее всего он посадил бы от позора, поскольку его здоровый байбак не может и шагу ступить без протекции, а тоже болтает о романтике.

Но как бы ни реагировал папа, можно быть твердо уверенным, что веселой романтической книги Александра Дюма «Три мушкетера» не получилось бы. Потому что парень, который сдрейфил перед обстоятельствами, не годится в мушкетеры, и писать о нем просто глупо. Он не годится не только в мушкетеры. Он не годится в геологи, в шахтеры, в шоферы, в инженеры, в космонавты, во врачи — он вообще никуда не годится.

Итак, из этого древнейшего примера можно сделать вывод, что если в молодом парне нет бесстрашной уверенности в своих силах, настойчивости и

духовной самостоятельности, ему не помогут никакие папины письма. И наоборот...

Мой начитанный парнишка вовсе не трус. В нем, вероятно, есть задатки хороших качеств. Но он слишком трезв, слишком рассудителен в свои восемнадцать лет. Его интересы слишком практичны, а взгляды слишком утилитарны.

В самом деле, если у папы есть связи, почему бы ими не воспользоваться? Почему бы, скажем, не достичь чего-нибудь распрекрасного без дополнительных усилий?

Это логическое положение таит в себе не менее заманчивую перспективу. Я не склонен утверждать, что именно так вырастают дармоеды. Отнюдь. Все гораздо хуже. Так вырастают **бескрылые.**

Мы постоянно говорим о романтике, о зовущих далях, о подвигах, о славе и даже о почестях, которые нас ожидают, если мы совершим общественно полезный подвиг. Конечно, в наше кибернетическое время, когда ординарной мечтою становится, как минимум, космический полет, смешно говорить о каких-нибудь менее значительных вещах.

Но романтика — увы! — не обязательно подвиг. Это — совсем другое. Это — просто веселое чувство приподнятости над ординарным потребительским рефлексом. Мне всегда казалось, что это — обычное стремление к необычному.

И начинается это чувство с простого умения — с умения шагнуть через порог. Все равно, через какой — через родительский порог, через порог собственных знаний, через предел своего любопытства, через забор ограниченности или через частокол догмы и канона. И, преодолевая эту преграду, просто нужно никогда не думать о том, «что я буду с этого иметь».

Когда-то один великий летчик пролетел под фермой моста, на котором его ждала любимая женщина. Нашлись люди, которые совершенно справедливо посадили его за это на «губу». Это были хорошие, веселые люди, потому что, сажая его, они все-таки гордились, что у них есть такой необыкновенный мастер.

Конечно, он должен был приехать на трамвае, не рискуя ничем. Но ему не было жалко тратить себя, и он был влюблен. А это — чрезвычайно решительное сочетание.

— Что он выиграл? — удивятся сверхрассудительные люди.

А что он должен был выиграть? И почему это каждый поступок человека нужно рассматривать с точки зрения того, что он «выиграл»?

Что выигрывает парень, который приносит своей девушке первый подснежник? Первые подснежники растут в холодном лесу, где можно простудиться. Да и зачем вообще носить подснежники? Разве без этого нельзя, скажем, жениться? Женятся же люди!

Ну и пускай себе женятся...

Один великий актер спрашивал у своих учеников:

— С чего начинается полет птицы?

— Как с чего? С того, что она расправляет крылья...

— Нет. Полет птицы начинается с того, что она хочет лететь.

Сокол не мог расправить крылья потому, что был ранен. Но он хотел лететь и поэтому полетел.

— А что он выиграл? — удивятся сверхрассудительные люди.— Он же все равно разбился!

Совершенно верно. Ему никто не постелил соломки. Но он хотел лететь и поэтому полетел.

Как у вас насчет крыльев, дорогой читатель? Как у вас насчет обычного стремления к необычному?

Недавно я видел картину. На леопардовой шкуре стоит необыкновенно стройная девушка, прикрытая легким, заманчивым флером, и флер этот развевается в виде крыльев, и девушка смотрит задумчиво вдаль. Все необычно, не правда ли? И вдаль смотрит, и шкура под ней леопардовая, не собачья все-таки; и обычное стремление она вызывает у зрителя.

Это тоже романтика, дорогой читатель. И ядовитые лебеди, рисуемые на фоне ресторанных пальм, и белые голубки с письмом в клюве,— тоже романтика. И семь слонов — тоже романтика.

Но семь слонов охраняют счастье. Заметьте: охраняют, а не добывают. Они охраняют леопардовую шкуру, которая лежит у порога и не дает его переступить. Жалко уходить от такой красивой шкуры в неизвестную даль. Жалко жить на свете, не зная точно, что ты с этого будешь иметь...

Говорят, что бывают сугубо романтические профессии. Многие промыслы, связанные с отъездом, зачисляются в этот разряд. Особенно геология, мореходство, дорожное дело. Конечно, эти профессии связаны с главным романтическим условием — шагом через порог. Но только это внешняя форма романтики, ее мундир.

Но сугубо романтических профессий просто не бывает. А бывают люди с веселой душой — и человеки, знающие, «что они будут иметь». И ушлый дока в

самом распронаиромантическом месте все равно будет лакать водку и копить деньги.

Гнетущая романтика мещанина убивает людей, вдавливает их в землю, лишает желания приподняться над нудным, самоцельным рефлексом жратвы и барахла. И можно при этом петь романтические песни, и читать романтические книги, и даже писать романтические стихи. Семь слонов — надежная охрана.

И регламентированная романтика с приманкой — это те же семь слонов. Потому что в приманке точно указан прейскурант, что̀ и за что̀ причитается...

Конечно, д'Артаньян д'Артаньяном. Он фигура литературная, так сказать, символическая. Вообще-то, глядя на него, можно подумать, что время выглядит романтичным лучше всего в отдалении. Капитаны, обветренные, как скалы, уже пооткрывали свои архипелаги. Уже были пронзены шпагами черные сердца злодеев. Уже были сброшены в пропасть заслужившие возмездия враги. Но разве парень, который в пургу бросается крепить болтающуюся между небом и землей ферму, думает, «что́ он будет с этого иметь»? Разве парень, пробирающийся по тундре на лыжах делать операцию, думает о чем-нибудь, кроме того, как добраться поскорее?

Романтика обостряет чувства. Благородный герой ее бесконечно честен, смел, мужествен, предан и всегда готов пронзить так называемого романтического негодяя шпагой, кинуть в пропасть или обсудить на комсомольском собрании. И, несмотря на то, что романтический негодяй попадается редко,— его все равно много, и хочется с ним покончить поскорее.

Но для того, чтобы чувства обострились, нужно, чтобы они были, эти чувства. И это уже абсолютно современный, абсолютно конкретный разговор о большом деле, о большой пользе, об острой необходимости быть полезным своему обществу. Вот почему романтика умирает, когда умирает уверенное чувство приподнятости над потребительским рефлексом. И недобитые романтические негодяи начинают плодиться, прикидываться, подлаживаться. Они уже выходят из книг и толкутся в подворотнях, уменьшив своей челочкой и без того не великие лбы. Они втихаря подставляют ножку и шумно разевают свою поганую пасть, чтобы облаять слабого, чтобы дать ему под дых, чтобы навалиться впятером на одного и двинуть сильного в спину. Они резвятся, если нет на них д'Артаньянов, если последние вернулись за новой рекомендацией в отчий дом...

Но о «романтике» негодяев — в другой раз...

...С некоторых пор физика стала считаться прикладной наукой. Бешеные мамаши стараются сунуть в эту физику своих недорослей, полагая, что век романтики кончился и наступил век так называемых «земных благ». Конечно, физика вбирает в себя, кроме всего прочего, также и процессы кипения супа. Но в размышлениях Эйнштейна и Курчатова не меньше приподнятости, чем в великих стихах. Увлеченность всегда сопутствовала и будет сопутствовать всякому делу. Люди задыхаются без идеалов. Без идеалов они начинают хрюкать. Вы это, вероятно, замечали.

И трижды счастлив тот, кто порывом сердца бросается крепить ферму, спасать человека, открывать землю, строить города, отстаивать правду и рвать цветы для любимой женщины. Вот это и есть наша романтика, дорогой читатель.

Это романтика Овода, Левинсона и Павла Корчагина, Раймонды Дьен и Зои Космодемьянской, это романтика баррикад и революционного подполья — великое самоутверждение чести, совести и принципов, романтика Октября.

Этого никогда не понимали нудные доки, специалисты «что-нибудь с чего-нибудь иметь». Они предлагают своим д'артаньянчикам протекции, обещают им безвозмездные златые горы и надевают на неокрепшую грудку демагогическую кольчугу. Д'артаньянчики хватают «тепленькие местечки», им никогда не приходится обнажать шпагу, они примериваются только в спину.

А жизнь двигают совсем другие д'Артаньяны. Поэты, для которых суп — еда, а не цель жизни. Они обнажают шпаги и подставляют свою грудь. Потому что ими владеет великое чувство приподнятости над обыденным.

И если отказаться от этого чувства, полетят в тартарары и великая музыка, и великие полотна, и великие книги. Потому что вместо обеденного меню они могут предложить только ощущение прекрасного.

И вместо них, заслоняя солнце и звезды, высунется равнодушная морда, довольная своим умом и недовольная своим обедом.

А д'Артаньяны не возвращаются.

Они скачут вперед, навстречу неизвестному, не боясь его, атакуя его, весело приподнимаясь над ним и видя его широкими веселыми глазами.

И грудь у них без кольчуги. Она открыта и другу и врагу. Потому что им не жаль себя, не жаль шагнуть через порог и, самое главное, не жалко жить на этом свете...

Трибуна Юности

СЛОВА, СЛОВЕСА И СЛОВЕЧКИ...

Представьте себе на секунду (прошу вас, на секунду, не более!), что эта статья моя начиналась бы так:

«Радостная весть, как молния, облетела все уголки швейной фабрики № 4. Бригада закройщицы Федориной, самоотверженно работая в обстановке огромного трудового подъема и высокого творческого энтузиазма, добилась выдающегося успеха, пошив в процессе напряженного предпраздничного соцсоревнования сверх установленной программы 50 распашонок для фабричных детских яслей...»

— Эк его понесло! Заблаговестил... Бухает из пушки по воробьям,— в сердцах сказали бы вы и уж вряд ли бы читали статью мою дальше.

Но не спешите, махнув рукой и высказав в мой адрес слова, которые не всегда лезут в печатную строку, перевернуть страницу. Погодите! Это шутка... С известным умыслом я нарочно выписал эдакое громогласное велеречивое сообщение. Я, разумеется, сгустил краски. Но, ей-богу же, только немного! В самом деле, разве не приходится нам встречать кое-где еще в газетах, слышать иногда с трибуны, а подчас — увы! — и в радиопередачах вот такие, не в меру патетические, не к делу и не ко времени сказанные, раздутые словеса?! Они в таких случаях, я уверен, вместо того, чтобы порадовать людей простым деловым сообщением о каких-то пусть скромных, но жизненно важных делах наших, вызывают раздражение или скучный зевок у читателя и слушателя.

Вот я и позволил себе продолжить давно уже начатый разговор о том, что у нас иной раз в силу дурной казенной привычки пускают в ход слишком громкие слова по поводу вещей, о которых следовало бы говорить скромно, без крика и звона. Еще великий композитор Гуно как-то очень хорошо сказал, что добро не делает шума, а шум не делает добра. То есть настоящие, хорошие, добрые дела не вызывают оглушительного фурора да и не нуждаются в излишней шумихе. А крикливая сенсация редко приводит к добру. Мне уже приходилось писать, что такие тирады, как «в обстановке неслыханного подъема», «с огромным энтузиазмом» и некоторые другие, часто механически и не к месту повторяемые, не соразмеряемые с поводом для произношения их, стираются в своем звучании, теряют свой глубокий первичный смысл, становятся недопустимо ходовыми: для них уже у стенографисток имеются заготовленные знаки — один на целую фразу. Подобного рода готовенькие фразы, вписанные в шпаргалки, без которых не обходятся иные агитаторы, так же засоряют наш прекрасный русский язык, как и лихие обороты речи, на которые так падки некоторые наши молодые люди.

Тут будет уместно напомнить, что культуре языка, смысловому качеству и эмоциональному полно-

Лев КАССИЛЬ

звучию разговорной речи вредят с диаметрально противоположных сторон две категории словесных шаблонов. С одной стороны, «слова-дистрофики», оторвавшиеся от корня, иссушенные применением их не по существу, обескровленные тем, что они частенько не питаются ни мыслью, ни искренним чувством. С другой — «слова-калеки», изуродованные неправильными и вульгарными оборотами, особым пошибом, которым кокетничают те, кто полагает, будто жаргонное, лихо вывихнутое словцо годится для борьбы с казенным речевым штампом. Ложнокрасивые словеса и залихватские словечки проникают в язык через разные двери, но одинаково портят, засоряют и мертвят живую речь.

И словеса и словечки эти несоразмерны с тем истинным смыслом, который предназначено выразить ими. Нескромная манера речи часто входит уже и в языковый обиход. Особенно злоупотребляют этим в быту молодые люди, полагающие, что им за словом в карман лазить не приходится и чем хлестче слово соскочит с языка, тем оно покажется умнее и оригинальнее. То и дело слышишь из уст этих бравых словорубов: «Мне дико некогда», «Потрясающая погода» (да еще иногда для шика: «Потрясная погодка»), «Время провели колоссально!», «Гуляли мы исключительно», «Танцевали мы с ней гениально!»...

Я уже не говорю о том, что многие из этих речений с легкой руки, а вернее, с легкой мысли пустомель, ставшие ходовыми, грубо нарушают правила грамматики. Они должны были бы просто, как кость, застревать в горле у мало-мальски культурного человека. Но пока что они звучат и завязают у нас в ушах чаще, чем в горле тех, кто любит порезвиться эдакими «колоссальными», «исключительными», «потрясающими» и «гениальными» тирадами.

Бывает, что и речь совсем неплохих, толково думающих, работящих и как будто тянущихся к культуре девушек и юношей уснащается выражениями, в которых слышится то блатной код уголовников, то бравада дешевого, чуждого нашей молодежи снобизма. Встречаются такие, что и слова в простоте не скажут. Только и слышишь от них: «чудик», «шмакодявка», «приветик», «законно», «железно», «хана». Компанию своих товарищей такие ухари называют «кодлой», привлекательную девушку — «кадришкой», принадлежности костюма — «шмотками». Вместо того чтобы пригласить друзей на прогулку, они скажут: «Прошвырнемся»,— или: «Двинули, похряем?» Человека, который чем-нибудь поразит их, похвалят: «От, дает жизни! Силен, бродяга!» Зовя вас в столовую, они предложат: «Айда, порубаем щец!» В ответ на разумный товарищеский укор тотчас же последует презрительное: «Ах, рыдаю!» А если подобному «речетворцу», а вернее, пустобреху, сообщат что-нибудь немаловажное, всех касающееся, он немедленно отмахнется: «Мне все это до лампочки!»

Замечал я, что иногда употребление нарочито грубых, жаргонных словечек вызывается скрытой застенчивостью, которая свойственна ребятам, из скромности чурающимся громких слов. И вот тогда, вместо того чтобы сообщить, скажем, о дружной и успешной работе бригады, вам бросят: «Да, уж вкалывали на всю железку!»...

Видно, мнится таким ребятам по простоте душевной, что они ушли от ходовой, казенной формулы. Но большей частью, если вдуматься как следует, всякие эти нарочитые небрежности речи, все эти «вольные словечки» не что иное, как те же шаблоны, от которых омертвевает живая душа слова. Они порождены или ложным стыдом, заставляющим человека прятать свои искренние чувства, или погоней за мнимой оригинальностью и боязнью показаться банальным, или штампованным острячеством, а чаще всего неумной потугой заявить свою независимость при всех обстоятельствах. Но разве самостоятельное мышление, уверенная свобода человека, с умом и душой делающего свое дело, не терпящего благостно-умильных словес, выражается подобными словечками, назойливо рядящимися в грубо простецкую форму, а бывает, и в откровенно хулиганские штампы!

Где-то, возможно, при известных обстоятельствах и в определенной обстановке такие слова были впервые произнесены и к месту, соответствовали, допускаю, какому-то настроению, особым условиям, при которых они звуча-

ли даже как меткие и находчивые выражения. Но потом они были подхвачены людьми, у которых собственный запас слов весьма скуден, а желания прослыть остроумным и всему на свете цену знающим — хоть отбавляй! Так и возникает невзыскательный, малоопрятный строй речи, пошлая манера и дурная привычка придавать во что бы то ни стало наплевательский тон разговору о многих серьезных вещах, требующих строгих, скромных слов.

А ведь словесный мусор рано или поздно, если человек вовремя не избавится от такого словесного поветрия, занесется и в душу. Хорошо еще, если подобное увлечение жаргоном было преходящим, ну просто временной данью подхваченной понаслышке моде. Но ведь постепенно это может стать привычной сущностью человека, постоянным ощущением, что нет для него ничего в мире святого. И тогда уж ему действительно все будет, как выражаются сами любители жаргона, «до лампочки»...

В самом деле, может ли, скажем, человек, искренне полюбивший девушку, даже в своей интимной мужской компании говорить о ней, что она «девуля — класс! На большой с присыпкой! Своя в доску на все сто...». Право же, не скажет он так, если по-настоящему, искренне и уважительно любит!

Тут я уже заранее слышу упреки в адрес некоторых молодых писателей, которые, мол, пропагандируют в своих произведениях жаргонные словечки. Да, для таких упреков, к сожалению, есть достаточно много поводов. Действительно, в книгах иных молодых писателей некоторые персонажи, случается, злоупотребляют выражениями, которые я приводил выше. Авторы объясняют это стремлением жизненно, правдиво нарисовать того или иного героя, передать определенный живой колорит, часто необходимый для создания атмосферы, в которой живут изображаемые люди. Но дело тут, конечно, в чувстве меры. И надо помнить, что не всякое лыко, путающееся у нас в обиходном просторечии, должно обязательно лезть в строку. Здесь, разумеется, необходимы художественный такт, точный вкус, взыскательный и умный отбор. Без этого писателю грозит опасность оказаться во власти языкового натурализма, отвратительного, как и всякий другой натурализм в искусстве. Истинный художник сумеет передать живую, ершистую, может быть, иной раз и режущую слух речь избранных им персонажей смело, точно, правдиво, не щеголяя чересчур смачными оборотами, но искусно воссоздавая жизненность передаваемых интонаций.

Теперь возвратимся опять к тому, о чем мы говорили в начале статьи. Становится очень обидно за большие, хорошие слова, которым надлежит выражать понятия самые дорогие, самые важные, а подчас и священные для нас. Нельзя швыряться ими как попало! Вспомним-ка, что в прежнее время в семьях верующих и в старой школе ребятам запрещали божиться и вообще, как тогда выражались, употреблять имя божье всуе... Что же, в этом был свой резон, свой смысл! Осуждались божба, злоупотребление всякими словесными формулами, приуготовленными для молитвы и торжественных случаев. Тем самым оберегали священный для религиозно настроенных людей смысл высокого, «божественного» слова.

У нас, у советских людей, давно уже выработались свои собственные и притом весьма высокие представления обо всем, что является сутью и смыслом нашей жизни, заполненной дружным всенародным трудом и уверенно устремленной в завтра, которое, как мы неколебимо убеждены, будет коммунистическим, то есть отвечающим самым лучшим, самым заветным помыслам человечества. Было время, когда нам приходилось впервые на весь мир, перешибая злобный вой и крик наших недругов, на каждом шагу и во всеуслышание заявлять о своих идеалах. Октябрьская революция придала им глубокую реальность и открыла впервые в истории путь к тому, чтобы эти идеи восторжествовали, стали бы новой, прекрасной формой существования миллионов людей. И нет ничего удивительного в том, что в народный язык, в повседневную речь, в домашний обиход и уличный говор запросто вошли высокие, прекрасные слова о революции, о свободе, о труде, о творческом энтузиазме масс. Эти полные вдохновляющего смысла, веские и звучные слова насытили и поэзию нашу. Они поныне остались дорогими для нас, и мы произносим их с гордостью и уважением, когда речь идет о делах значительных, о явлениях важных, волнующих, требующих веских и звучных формулировок. И не вина таких слов и понятий в том, что их слишком часто и совсем не к месту произносят кое-какие записные ораторы...

Иногда, например, они очень любят шумно распространяться на тему о подвиге, не вникая, по существу, в смысл этого гордого и требовательного понятия. Выполнит, скажем, завод план производства, то есть сделают честные люди то, что им полагается сделать за установленный срок,— вместо того чтобы сердечно поздравить хорошо, добросовестно выполнивших свой прямой долг тружеников, бюрократ-говорун называет сразу всех чуть ли не героями-подвижниками, кричит, что совершен подвиг. Школьник увидел, что прохожий обронил кошелек с деньгами, поднял его и вернул владельцу,— умиленный любитель неумеренно громких словес опять вопит о подвиге, вместо того чтобы простыми, человеческими словами сказать, что мальчик поступил, как должен был поступить всякий честный, порядочный, имеющий совесть школьник, не желающий вырасти ворюгой.

Нельзя, нельзя так снижать представление о подвиге! Истинный подвиг — это не рядовое, обычное, повседневное выполнение того, что тебе полагается делать, это что-то более славное и волнующее, чем нормальное следование простейшим и элементарным правилам, которые обязан выполнить каждый сознательный человек. Подвиг — это преодоление каких-то особых трудностей, а подчас и прямых опасностей. Это часто акт самопожертвования, результат героической решимости или сверхчеловеческого напряжения сил. Это — дело, свидетельствующее о героических свойствах души, об истинном мужестве ее.

Да, вот Гагарин, его небесные «братья» и «сестра», первыми проникшие в дали космоса, совершили подлинный подвиг, ибо, как ни совершенна могучая техника, которой их оснастила советская наука, все же риск первых проникновений в неизведанное всегда огромен.

Да, молодежь наша, по призыву партии устремившаяся осваивать и заселять целину, возводить гигантские плотины и новые предприятия на Дальнем Востоке, показала, что такое настоящий массовый подвиг!

Да, проявляет подлинную самоотверженность человек, добровольно отказывающийся от удобного для него, привычного рабочего места и идущий, несмотря на потерю части заработка, в отстающую бригаду, чтобы помочь ей.

И ученый, на себе пробующий еще не изведанное лекарство с риском для жизни, творит истинный подвиг.

И школьник-комсомолец, который, как недавно сообщали газеты, бросился спасать ребенка из-под колес поезда и сам погиб при этом,— вот он настоящий герой, и то, что он совершил,— великий подвиг!

Так будем беречь в своем сердце и сознании высокие представления об истинном человеческом подвиге! Разве можно позволить бойкими и визгливыми подчас словесами обесценивать высокие, величественные и трепетные понятия?!

В недавно вышедшей интересной книге литературоведа и критика Г. Ленобля «От слова — к образу» хорошо говорится о том, как мысль и чувство должны взыскательно отбирать для своего выражения нужные слова:

«Слова расположены в нашем сознании не так, как в словарях, или не порознь, не по алфавиту и не по грамматическим категориям. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощущениями. Нам не придет на память гневное, острое, меткое слово, пока мы по-настоящему не разгневаемся. Мы не найдем горячих, нежных, ласковых слов, пока не проникнемся подлинной нежностью».

Эти верные строки еще раз напоминают о том, что режим слова органически связан с истинным состоянием дум и чувств человека. Речь идет, так сказать, о гигиене слова. Выполнение требований ее необходимо для сохранения морального здоровья человека и общества. И прав К. И. Чуковский, который в своей известной книге «Живой как жизнь», говоря о зловредности казенных шаблонов и бюрократической фразеологии, называет их аморальными:

«Какой удобной ширмой для злостных очковтирателей служила штампованная казенная речь с ее застывшими словесными формулами...»

Был период в нашей жизни, когда неумеренно и торжественно, при всех подходящих и в самых неподходящих случаях, в любой публичной речи непременно славили одного человека... Тогда и пошли везде в ход всевозможные словесные, риторические излишества. А подобные нагромождения слов без нужды и повода не украшают, не проясняют, не расширяют горизонты истинной мысли, а лишь заслоняют их и темнят.

Серьезному и культурному человеку одинаково претят как словечки с ухарски жаргонным присвистом, так и велеречивые фразы, где истинный смысл глохнет в анфиладе пустых, холодных словес. Ведь не станет же он, объясняясь сегодня в любви девушке, говорить: «Вы лучезарная владычица моего пышущего страстью, с магнетической силой влекомого к вам сердца...» Или: «Разрешите проинформировать вас, что весь истекший период я прожил в состоянии страстного любовного подъема и исключительного энтузиазма личных чувств, выразившихся в неуклонном стремлении по вашему адресу...» Нет, не будет он говорить ни так, ни эдак, если только уважает свое чувство, если какой-нибудь бюрократический слон не наступил ему своей казенной печатью на ухо...

Нельзя позволить, чтобы за брызгивали слюной казенного умиления или заляпывали смачными площадными словечками то, что нам дороже всего на свете!

Сегодня горизонты нашей жизни очищаются от всего громоздкого, фальшивого, закрывавшего от нас большие заветные дали. Многим важнейшим понятиям возвращен их первоначальный, единственно верный смысл. С новой реальной и горячей силой прозвучали в Программе партии такие слова, как Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство, Счастье.

Но это слова-знамена. Их не выносят по любому поводу. С ними не отправляются на базар или на семейную прогулку. С такими словами идут на большой труд или на истинный подвиг. Знамя обычно стоит в почетном углу. Самые дорогие слова и понятия живут в заветных уголках нашего сердца. Ленинградский поэт Вадим Шефнер хорошо сказал об этих словах:

Повторять их не смею на каждом шагу,—
Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Надо беречь такие слова! Нельзя превращать дорогие для нас понятия в ходовые словеса, как нельзя допустить, чтобы молодую душу поганили циничные и развязные словечки. Борясь со злоупотреблениями, пышными словесами, наносящими такой урон нашему общественно-разговорному обиходу, надо противопоставлять им не жаргон, не разнузданные, бульварные манеры речи, а язык живой, полногласный, звучащий в гармонии с делами, думами, ощущениями и чувствами, которые дано ему выразить.

Путевые заметки

Ю. ИВАНОВ

За тунцами к экватору

Фото автора.

Вкают-компании среднего рыболовного траулера «9029» собралась, за исключением вахты, вся команда. Матросы, механики, штурманы внимательно и настороженно смотрят на нас. Мы — на них. «Мы» — это научная группа: четверо сотрудников Атлантического научно-исследовательского института. С сегодняшнего дня мы стали членами экипажа тунцелова «Обдорск».

У карты стоит помощник капитана «Обдорска» по научной части Виктор Леонтьевич Жаров. Он водит указкой по синему полю, затянутому в сетку параллелей и меридианов, и докладывает:

— Нам предстоит обследовать громадные площади Атлантического океана у берегов Западной Африки...— Его указка скользит вниз, пересекает экватор, спускается в южное полушарие.— Особенно большое внимание следует уделить Гвинейскому заливу: по имеющимся сведениям, в этом районе сконцентрировано значительное количество тунцовых косяков. Необходимо детально изучить районы добычи тунца, чтобы рекомендовать промысловикам наиболее богатые. Кроме того, будем продолжать изучение биологии тунца, чтобы лучше знать, где он обитает, чем питается, когда и в каких районах Атлантики нерестится,— все это поможет нам точнее давать прогнозы по концентрации его в том или ином участке океана.

Я перевожу взгляд на соседа справа — это Юрий Афанасьевич Торин, инженер-гидролог. Рядом с ним сидит гидромеханик Саша Хлыстов. Юрию и Саше предстоит очень важная и ответственная работа — путем исследования морских глубин, анализа океанской воды определить места обитания тунцов. И в том месте, где они скажут, будут ставить яруса. Замыкаю научную группу я. Мне предстоит помогать Жарову в проведении биологических исследований и собирать коллекции крупных океанических рыб.

I. ПЕРВЫЙ ТУНЕЦ

Миля за милей остаются за кормой. Солнце целыми днями не покидает голубого небосвода. В туманной дымке маячат желтые берега Северной Африки. Если ветер дует с материка, над океаном повисает желто-красная пелена: это «граматан», сухой ветер, несущий из Сахары мельчайший песок. Он скрипит на зубах, от него зудит все тело. Днем на палубе жарко, а ночью Африка дышит пронизывающим холодом, и мы корчимся под тонкими одеялами.

На четырнадцатый день нашего похода я проснулся очень рано от необычно спокойного движения судна. Проснулся, взглянул в иллюминатор — там расстилался совершенно чистый и гладкий, как зеркало, океан. Просто не верилось, что сердитый и злой Атлантический океан может быть таким спокойным. Около самого борта тунцелова плыла стайка дельфинов. По временам они выпрыгивали из воды и самодовольно пофыркивали. Динамик захрипел, и раздался голос вахтенного штурмана:

— С добрым утром, товарищи! Мы в тропиках. Несколько часов назад пересекли тропик Рака.

Итак, наконец-то мы пересекли незримую географическую черту и «вплыли» в тропики. На судне оживление.

Всех интересует температура забортной воды. Нет, не для того, чтобы купаться. О купании не может быть и речи: наш капитан боится воды как огня и даже в самую одуряющую жару не разрешает никому купаться, мотивируя это наличием в океане акул... Нам нужна температура, равная +16 градусам. В такой воде уже можно ожидать встречи с тунцами. Но северо-восточный пассат длительное время гнал вслед за нами холодные массы воды. И тунцов мы не встречали.

Наконец температура сразу подскочила до +22 градусов. И в тот же день с кормы судна были спущены троллы — капроновые шнуры пятидесятиметровой длины. Они заканчивались двухметровым металлическим поводцом с большим крючком на конце. А на крючке

бился и трепетал в воде маленький кальмар. Но не настоящий — резиновый.

Соблазнившись забавным резиновым моллюском, на один из троллов попался наш первый в этом рейсе тунец. Проглотив наживу, ужаленный острием крючка, он сделал гигантский прыжок над водой и упал, взметнув столб брызг. Судно сбавило ход, и вскоре мечущуюся из стороны в сторону рыбину подтянули к борту. Небольшой, килограммов в пятнадцать, желтоперый тунец быстро успокоился в руках кока. А час спустя на тролл попалась золотая корифена — красивейшая рыба Атлантики. У нее крутолобая, в профиль похожая на бульдожью голова, высокий ярко-синий спинной плавник и ослепительно золотая, в синих брызгах пятен расцветка упругих боков и спины. Упав на горячие доски палубы, корифена, как хамелеон, начала менять свою окраску: из золотой она стала ярко-голубой, потом зеленой, розовой и, наконец, совершенно белой. Потом по ее телу пробежала волна судорог, злые, янтарно-красные глаза потускнели, и рыба замерла и опять приняла свой обычный золотисто-бронзовый цвет.

Вечером кок приготовил из тунца отбивные: недаром мясо тунца сравнивают с говядиной и даже с курицей. Во всех приморских странах эта рыба известна как «курица с плавниками».

Тунец привел всех в восторг. Лишь второй штурман, Петр Николаевич Долиненков, ткнув вилкой в сочный, душистый кусок мяса, нахмурился и вызвал с камбуза кока.

— В чем дело? — недовольно сказал он.— В обед — говядина, за ужином — тоже говядина. Так нам не хватит мяса и на полрейса!

Кок зарделся и скромно опустил глаза. Может быть, впервые его похвалили столь необычным способом. Штурман, большой знаток мясных блюд, не отличил на сей раз тунцовое мясо от говядины.

Инцидент вскоре был ликвидирован. Петр Николаевич извинился, съел свою порцию и, ласково улыбнувшись коку, попросил добавки.

II. ТРАЛ УХОДИТ В ГЛУБИНУ

На палубе тунцелова кипит работа — команда готовится к спуску яруса. Все вокруг завалено белыми пенопластовыми буйками, связками капроновых «концов», свернутыми спиралью стальными поводцами. Работа идет ходко: всем надоел длинный, утомительный переход, и матросы сноровисто, без излишних «перекуров» прилаживают к поводцам крючки, механики проверяют работу ярусоподъемной машины.

Но чтобы поставить ярус, нужна наживка: сардина, скумбрия. И в устье реки Сенегал мы делаем несколько тралений. Глубины здесь незначительные, и мы с большим нетерпением ожидаем результатов: очень интересно познакомиться с тропическими обитателями прибрежных вод Африки.

Натужно гудит лебедка. Из прозрачной воды медленно выползает гигантский сачок. В нем бьется, трепещет рыба. Вот кто-то из матросов развязывает куток, которым заканчивается трал, и на палубу хлынул серебристый живой поток. Чего только здесь нет! Крабы, раки, моллюски, губки и, конечно, различнейшие рыбы.

Мы с Виктором Леонтьевичем Жаровым копаемся в этом богатстве: здесь примерно двадцать различных видов рыб! Рядом с тазиком в руках стоит и задумчиво смотрит судовой кок Юра Смирнов. У него просто глаза разбежались: что же взять для обеда? Вон того толстого длинного угря или вот этого ярко-красного морского ерша? Но угорь очень скользкий, а ерш невероятно колючий: их трудно будет чистить. И Юра кладет в таз несколько тяжелых, покрытых твердой кожей рыбин с костяными, величиной с палец, шипами на спине. Он уже собирается идти на камбуз, но его останавливает Жаров.

— Ну-ка, что там у тебя? — Он рассматривает рыб и... выбрасывает их за борт. Кок удивленно смотрит на него: как это понять? Такие симпатичные на вид рыбы — и вдруг за борт?

— Как понять? — говорит Жаров.— А очень просто. Эти рыбы ядовиты.

Тут же мы показываем матросам и коку еще несколько опасных для человека рыб: вот извивается среди морских звезд и губок пятнистая, похожая на змею мурена. У этой неприятной на вид рыбы имеются ядовитые зубы. Укус ее очень опасен для человека, раны долго не заживают, доставляя большие мучения. А там лежат несколько небольших морских дракончиков. У них большие головы и сжатые с боков тела. А на спине, у основания спинного плавничка, имеются ядовитые железы. Если нечаянно уколоться об острые колючки плавничка, то яд может попасть в ранку, и рыбак получит долго не заживающую, болезненную царапину.

Ну, а те, что попали коку в тазик? Чем опасны они? У рыбин, которые отобрал кок, ядовитое мясо. От остальных рыб их легко отличить по плоскому телу с высоким спинным плавником и костяным шипом на спине. Очень опасна для употребления в пищу и рыба кувалда. У нее круглое, короткое тело, плавно переходящее в голову с большими выпуклыми глазами. Вместо чешуи — твердая, шершавая кожа, а во рту торчат два белых, похожих на клюв попугая зуба... У кувалды очень вкусное мясо, но внутренности ядовиты.

Если плохо промыть рыбу, то яд может попасть в желудок человека и вызвать мучительную смерть в течение 15—20 минут. Рыба кувалда известна в Японии под названием «фуку». Японцы — большие любители рыбных блюд. Несмотря на риск, они все же употребляют фуку в пищу. Правда, статистики подсчитали, что за 22 года в Японии отравилось ею 3 106 человек. И 2 090 любителей этого опасного блюда отправились на тот свет.

III. КАК ПОЙМАТЬ АКУЛУ

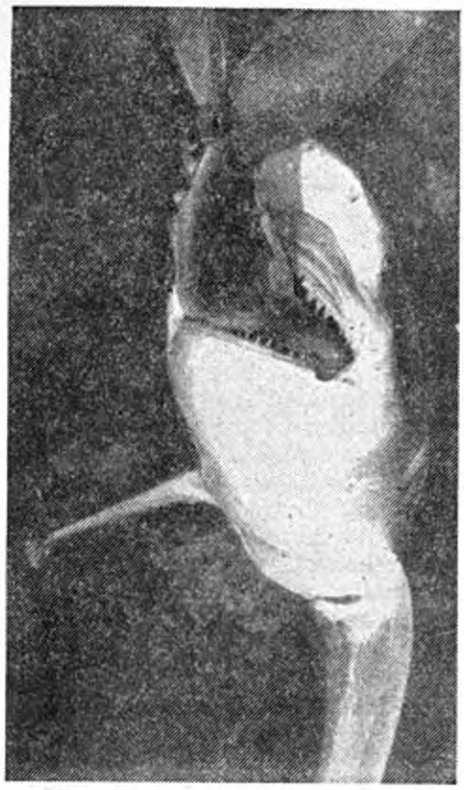
Если бы мне раньше сказали, что обычного речного пескаря поймать труднее, чем акулу, я бы рассмеялся такому шутнику в лицо. Сравнил — акула и пескарь! А теперь сам могу сказать кому угодно: да, вытащить акулу в центнер весом куда как проще, чем поймать пескаря. Да тем более крупного. С ладонь величиной.

Мы были милях в 50 от Гвинейского побережья, когда неожиданно вышло из строя рулевое управление. Вахтенный штурман передвинул ручку телеграфа на положение «стоп», и двигатель остановился. Все, кто был свободен, вышли из душных помещений на палубу подышать прохладным утренним воздухом. Был абсолютный штиль. В прозрачной воде можно было видеть все, что делается на глубине до двух-трех десятков метров.

— Смотри-ка,— подозвал меня к борту судна Саша Хлыстов,— целая эскадрилья!

Я склонился над водой. К теплоходу подплывала тройка крупных акул. Это были «быки», акулы, получившие свое название за широкие, тупые морды.

«А ведь и действительно «эскадрилья»!» — подумал я. Акулы плыли, широко расставив свои большие треугольные плавники, и сверху напоминали тяжелые бомбарди-



...Выпрыгнув из воды, акула вцепляется зубами в подвешенную рыбу.

ровщики. А вокруг них, по двое и по трое, стремительно мчались, словно самолеты боевого охранения, ярко-синие, черно-полосатые, как зебры, рыбы-лоцманы. Они всюду и везде сопровождают акул. Они, как разведчики, все время что-то высматривают, выискивают в воде.

— Заловим бычка? — предложил Саша.

— Попробуем.

Через пяток минут в воде закачался кусок мяса, насаженный на большой тунцеловный крючок. Нам не пришлось долго ждать — к мясу подскочили лоцманы и, отщипнув по крошке, умчались прочь, к своим зубастым «быкам». И вот показалась «эскадрилья». Акулы не спеша подплыли к наживке. Один из «быков» разинул пасть, но в этот момент из-под киля судна вынырнула совсем небольшая, в метр величиной, акулка, с лету проглотила наживку и метнулась вниз, в фиолетовую глубину. Я резко подсек — и через мгновение акуленок прыгал по палубе, отчаянно извиваясь всем телом.

Мяса для наживки кок больше не дал, и тогда мы насадили на крючок полуживую акулу и швырнули ее за борт, где парила в воде вся так некрасиво обманутая тройка. Из распоротого бока живой приманки, растворяясь, как дым, вытекала кровь. «Быки» забеспокоились и сомкнутым строем метнулись к розово-мутному облачку. Одна из акул разинула пасть и отхватила у наживки «кусочек» мяса килограммов в пяток. Вторая акула последовала за первой, вода у борта закипела, и вскоре от незадачливой акулки осталась лишь насаженная на крючок голова с лохмотьями кожи и сухожилий. Мы приподняли ее над самой водой, и один из «быков» высунул голову и, хамкнув, как пес, заглотнул ее целиком. Завязав конец поводка на железную «утку», мы отпустили акулу на пяток метров, а затем подсекли.

Ах, как не хотелось «быку» на палубу судна! Он рвался из стороны в сторону, выскакивал из океана и тяжело плюхался обратно, бился толстой башкой о борт теплохода. Но мы были безжалостны: нет в океане отвратительнее и прожорливее существа, чем акула! Мы ненавидели их, этих опаснейших морских хищников, и вскоре четырехметровый «бык» распластался на горячем палубном настиле, злобно поглядывая на нас зелеными с вертикальными зрачками глазами. А у борта судна обеспокоенно металась пара лоцманов: они не могли понять, куда же делся их хозяин.

IV. ОКЕАНСКИЙ ПЕРЕМЕТ

Утром и вечером, днем и ночью раздается из судовых динамиков голос:

— Внимание, станция! Станция, станция!

Станция? В открытом океане? Да, это станция. Только морская, не железнодорожная. На ней никто не входит и не выходит. Морская станция — это определенная точка в океане, где наши инженеры Юрий Афанасьевич Торин и Саша Хлыстов берут пробы морской воды, измеряют ее температуру на различных глубинах. Они ищут тунцов. Вернее, наиболее благоприятные для их обитания места в океане.

Поиск тунцов — очень сложное, трудоемкое дело. Предположим, в океане нужно найти сардину. В ходовой рубке включают «электрический глаз» — эхолот. Он посылает сигналы на дно океана, просматривает, прощупывает водную толщу. И если между судном и дном или на дне окажется косяк сардины, электрический сигнал отразится от него, вернется на судно и зафиксирует косяк на эхолотной бумаге толстой, жирной полосой. Рыба найдена, вскоре прозвучит команда: «Приготовиться к отдаче трала!»... Но тунец не сардина. Тунцов таким способом не обнаружишь. Во-первых, тунец обитает не в толще воды и не у дна, а в поверхностных водных массах океана. Во-вторых, тунец постоянно находится в движении. Он все время кочует с места на место, причем с приличной скоростью — до 30—35 миль в час! Поэтому тунцов ищут другим способом. В океане обнаруживают участки, наиболее благоприятные для обитания этой рыбы. Ученым известно, что тунцовые косяки держатся на стыках холодных и теплых водных масс: здесь создаются наиболее благоприятные условия для жизни мельчайших живых организмов — зоопланктона. Эти живые существа привлекают рыбью молодь и некрупных стайных рыб. А теми, в свою очередь, интересуются тунцы.

Судно легло в дрейф. На левом его борту загудела лебедка, и в прозрачную воду скользнул блестящий, по форме напоминающий авиационную бомбу прибор. Это автотермобатиграф, прибор, позволяющий за одно погружение в океан определить температуру воды с восьми различных горизонтов, а также доставить на теплоход пробы воды с этих горизонтов.

В один из дней инженеры доложили капитану судна, что можно ставить ярус. Все данные говорят о том, что здесь могут быть тунцы.

...На небе сверкают звезды и сияет яркая луна. Четыре часа утра, но палубная команда уже на ногах. Звучит команда бригадира, спокойного широкоплечего парня белоруса Алексея Лукашанца, и за борт падает концевой ярусный буй с тремя флажками на шесте.

Ярус. Первый ярус, который мы ставим сегодня в районе «мыс Пальмас». Никто из матросов еще ни разу не работал с ярусом, и потому люди нервничают, путаются. Сам по себе ярус устроен несложно: к «хребетине», крепчайшей капроновой веревке, через определенные расстояния крепятся посредством металлических колец — «клевантов» — поводцы с наживкой на конце и буйки. Все это отправляется по ходу судна за борт. В общем, обыкновенный перемет. Только не в полсотни метров, а до шестидесяти миль длиной. Перегороди громадные участки океана таким «переметиком», а потом выбирай его, да только успевай снимать с крючков большущих серебристо-синих тунцов.

На деле все оказалось значитель-

но сложнее. Первый ярус был очень коротеньким — всего в десяток километров. Опытные рыбаки ставят его примерно за час. Мы возились почти три: постоянно путались поводцы, заедало «клеванты», матросы не успевали надевать наживку, и крючки уходили пустыми.

Когда наконец ярус весь ушел за борт, кто-то с тревогой произнес:

— А если отдавать сорокамильный?

Через час началась выборка. Выбирается снасть специальной машиной — ярусоподъемником. Напряженно гудит мотор, быстро вращаются три шкива: между ними зажата хребетина. Шкивы вытягивают ее из воды, и один из матросов аккуратно укладывает хребетину в ящик.

Километр, другой, третий... Все с нетерпением смотрят за борт, но крючки по-прежнему пусты. Как будто ярус поставлен был не в океане, а в плавательном бассейне! Помощник капитана по научной части Жаров нервно курит. Капитан, высунув из рубки лишь один нос, барабанит пальцами по телеграфу.

— Есть! — раздается чей-то взволнованный голос.

У борта судна вскипела, забурлила вода. Все, кто был свободен от вахты, высыпали из кают и свесились с бортов, заглядывая в прозрачную синеву: там отчаянно билась двухметровая акула. Боцман Михаил Афанасьевич Мельченко отцепил от хребетины поводец и, краснея от натуги, подтянул рыбу к лазу в борту, через который попавшихся на крючки обитателей океанских просторов поднимают на палубу. Тут уже, перебирая ногами от нетерпения, дожидался ее, сжимая в руках багор, гидроакустик Валентин Прусаков.

— Ну, не упрямься, открой ротик,— говорит он ей, ткнув хищницу багром по острому рылу,— скажи дяде «а-аа».

Акула разевает свою зубастую пасть, и Валентин торопливо сует в нее острие багра. Через несколько мгновений отвратительный морской хищник совершает свой воинственный танец: акула со страшной силой стучит хвостом по палубе судна, подпрыгивает и хватает зубами все, что попадается. Оглушив ее ударом кувалды, боцман спешит к борту — там бьется на поводце еще одна акула.

Акулы, акулы, акулы... Уже с десяток их лежит на палубе. Они долго не хотят успокоиться, и умертвить любую из них весьма нелегкое дело. Даже тогда, когда уже сердце остановилось, акула способна схватить неосторожного своими кинжаловидными зубами.

А тунцов нет.

Наконец мы ловим первого парусника [1], трехметрового красавца, с громадным, как парус, спинным плавником и длинной, как шпага, верхней челюстью. Спустя пяток поводцов извлекаем из воды еще одного парусника, а потом скелет тунца, затем еще один белый скелетик: как видно, акулы неплохо пообедали.

— Тунец! Живой! — кричит всегда спокойный бригадир.

Наконец-то! Большущий, толстый тунец мечется у борта, пытаясь сорваться с крючка. А рядом — две акулы. Одна из них бросается к тунцу и мгновенно вырывает из его бока большущий кровоточащий кусок мяса. Тотчас ее примеру следует и другая. Мы кричим, стучим молотками о железные борта теплохода, но акулы не обращают на нас никакого внимания. Пока мы вытягиваем тунца из воды, он уже наполовину съеден ненасытными тварями.

Таким был первый ярус: 26 акул, несколько парусников и корифен. Да тунцовые скелеты и множество пустых крючков и перепутанных поводцов. Как говорится,— блин комом! Но настроение у всех приподнятое: ведь это первый шаг в ознакомлении с совершенно неизвестным ранее для команды видом промысла.

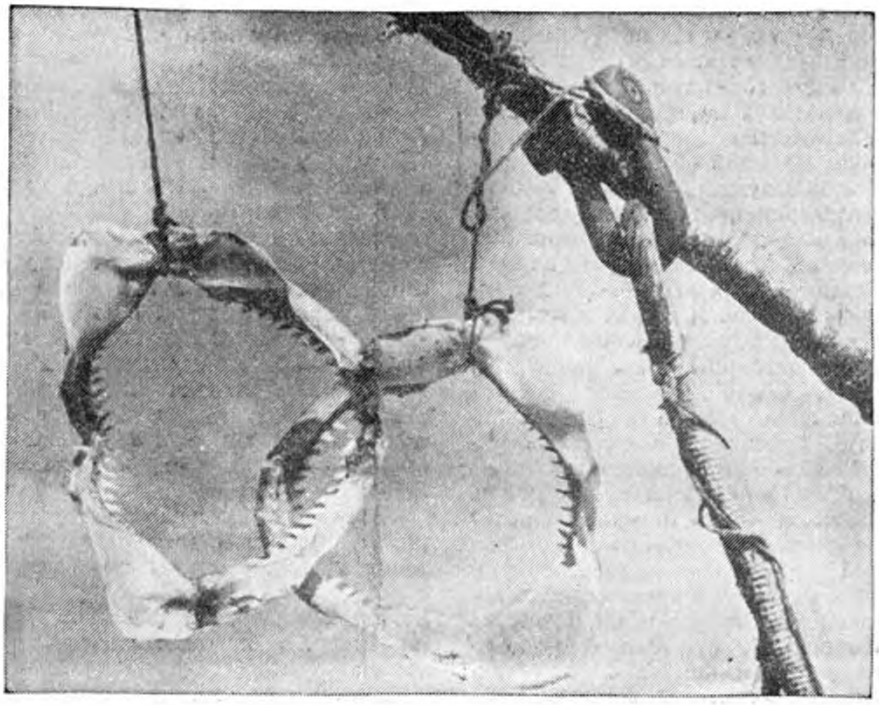
[1] Промысловая рыба с очень вкусным мясом.

V. ГВИНЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Гвинейский залив. Ослепительное солнце в зените. Жарко, душно, влажно. В каюте — плюс тридцать два, на палубе — под сорок.

Наш день начинается рано и заканчивается поздно — ярус за ярусом «отдается» в океанскую синь, ярус за ярусом поднимается из океана. Прошло совсем немного времени, а матросы уже работают быстро, сноровисто, без сутолоки и спешки. Поводцы теперь не путаются. Инженеры все чаще находят тунца. Палуба все гуще покрывается тяжелыми серебристо-синими телами. Акулы не успевают поживиться нашим уловом. И около груд тунцов обеспокоенно ходит рефрижераторный механик Василий Суховеев: морозильная камера работает с предельной нагрузкой, и его волнует вопрос, хватит ли холода для очередной партии тяжелых рыбьих туш.

А перед экватором теплоход поразила «страшная» тропическая болезнь. Первым «больным» оказался Виктор Леонтьевич. Он выловил из-за борта судна стеклянный шар, обросший ракушками, буек от японского яруса, и, нежно прижав его к груди, унес в лабора-



Тропические «сувениры» — акульи челюсти.

торию. Причем произнес магическое слово: «Сувенир...»

В тот же вечер я вырезал у акулы-«быка» большую зубастую челюсть, очистил ее от мышц и тоже сказал: «Сувенир». На другой день половина команды теплохода обзавелась парочкой-тройкой челюстей — для себя и для своих друзей на берегу. Несколько вечеров подряд матросы и механики сгорали в страстном желании «соорудить» тропический сувенир пооригинальнее и поинтереснее. Наиболее трудолюбивые и талантливые набивали паклей акульи головы, бесталанные и ленивые не продвинулись далее акульих челюстей и носиков-шпаг от парусников, развешивая их на просушку гирляндами по всему судну. Через недели две «сувенирная эпидемия» благополучно миновала. Она не затронула лишь штурманов и кока...

VI. УЛЕТЕВШИЙ КОСЯК

Помню, в детстве меня очень напугал соседский мальчишка Венька. Было раннее утро, и я еще спал. Он взобрался на подоконник и кинул мне на голый живот большую сырую жабу. Я проснулся и закричал от страха, а Венька упал в лопухи и чуть не умер от смеха. Подобный же случай произошел со мной и в тропиках. Была глубокая душная ночь. Я лежал на койке и читал. Потом мои глаза устали, я отложил книгу и стал смотреть в иллюминатор. Когда судно наклонялось на левый борт, я видел океан, усыпанный лунными блестками, и сверкающую полоску горизонта, потом теплоход валился на правый борт, и в иллюминатор заглядывало созвездие Большой Медведицы — этакий большущий ковшик! В южном полушарии в отличие от северного он перевернут «донышком» вверх. И мне казалось, что из него сыплются звезды и бесшумно падают в океан. Я лежал и качался, как на качелях. Качался-качался и, не выключив света, заснул. И вдруг что-то холодное, липкое шлепнулось мне на грудь. Я вскрикнул, проснулся и схватил... рыбу!.. Серебристо-синюю глазастую рыбу. И не простую — летучую.

Как же она попала в каюту? Да очень просто: влетела в открытый иллюминатор, привлеченная ярким светом. В течение рейса десятки рыб взлетали по ночам на теплоход. А пара «летучек» угодила прямо в камбуз. И кок сделал то, что сделал бы любой повар на его месте,— взял да и зажарил их.

Утром я внимательно рассмотрел ночную гостью. В глаза сразу же бросились большие грудные плавники. Это те «крылья», на которых рыбки поднимаются в воздух. Обращает на себя внимание и хвостик. Он имеет удлиненную нижнюю лопасть. Хвостик — это живой моторчик, при помощи которого «летучка» разгоняется в воде перед «полетом».

Помощник капитана по научной части В. Л. Жаров с летучей рыбкой.

Свое знакомство с «летучками» я продолжал с носа движущегося судна. Вот под самым форштевнем мчится хорошо видимая в прозрачной воде стайка «летучек». Кажется, что сейчас теплоход налетит на них и разметет всю стайку в разные стороны. Но нет, в самый последний момент рыбки с дождевым шорохом выскакивают из воды. И их хвостики еще некоторое время продолжают быстро колебаться из стороны в сторону, вспенивая нижней лопастью воду. Моторчик сработал, разогнал рыбку, и она, расправив блестящие плавники-крылья, как огромная стрекоза, взлетает в воздух. Пролетев 50—100 метров, «летучки» шлепаются в океан.

Мы говорим «летучка», «летучая рыба». На самом деле рыбка не летит, то есть не машет крыльями, а парит, как планер, используя силу разгона в воде и теплые потоки воздуха, поднимающиеся из океана.

Покидая воду, свою родную стихию, рыбки спасаются от многочисленных хищников, любителей вкусного мяса: макрелей, акул, тунцов. Но и в воздухе «летучкам» надо быть начеку: за их полетом зорко следят внимательные птичьи глаза. Завидев сверкающие на солнце крылья, чайки пикируют на «летучек», а те тотчас шмыгают в воду. А там мчится на них макрель или тунец с оскаленной пастью, и рыбки вновь взлетают в воздух. Только взлетели, а голодные чайки тут как тут. В общем, нелегкая это штука — сохранить свою жизнь в просторах океана. Даже если рыбка имеет крылья.

Интересный случай произошел однажды с рыбаками большого рыболовного траулера «Казань». Они ловили поверхностные косяки рыбы кошельком. Это большая сеть, которой окружают косяк со всех сторон. После этого сеть снизу затягивается тросом, и рыбья стая оказывается в гигантской ловушке. Рыбаки, заметив у самой поверхности воды косяк, обметали его кошельком, затянули его снизу тросом, и вдруг... вся рыбья стая с шумом поднялась «на крыло» и улетела.

Это были летучие рыбы.

VII. ГОЛУБОЙ МАРЛИН

Идут дни, недели. И каждый день приносит что-нибудь интересное. Однажды мы увидели в океане большую морскую черепаху. Она проплыла около самого борта судна, взглянула на нас своими выпуклыми подслеповатыми глазами и, показав на мгновение выпуклый блестящий панцирь, нырнула в глубину. В северо-западной части Гвинейского залива мы любовались «португальскими корабликами». Так называются очень опасные для человека небольшие морские животные — сифонофоры. Выставив из воды свои яркие, окрашенные в фиолетовый и пурпурный цвет паруса-пузыри, они, флотилия за флотилией, проносятся мимо. Животные так красивы, что хочется подцепить их сачком и взять в руки. Но этого делать нельзя: под надутым газами пузырем сифонофоры находится пучок так называемых «арканчиков», длинных, вооруженных особыми «стрекательными» клетками щупалец. Стоит дотронуться до одного из них — и тысячи мельчайших ядовитых стрелок, выстреленных клетками, вонзятся в руку, причиняя человеку мучительную, долго не проходящую боль. При особо тяжелых случаях «залп» ядовитых стрелок может надолго уложить любопытного в постель и даже вызвать смерть.

От каждого нового яруса я ожидаю чего-нибудь необычного. В душе я мечтаю, что мне повезет так же, как мисс Латимер.

...Эта удивительная история произошла накануне второй мировой войны и на длительное время не на шутку взволновала умы ученых всей нашей планеты. В руки мисс Латимер, хранительницы маленького краеведческого музея на юге Африки, попала странная, совершенно необычная на вид рыба: короткая, широкая, покрытая твердой роговой чешуей и с плавниками, более похожими на конечности сухопутного животного, нежели на рыбьи плавники. Диковинной рыбой заинтересовался ученый-ихтиолог Д. Смит. И вскоре телеграфные агентства разнесли потрясающую весть: пойманная рыба... вымерла триста миллионов лет назад! Рыбу, по имени дотоле безвестной дамы, окрестили в «латимерию», но у нее было и другое, латинское название — «целакант». Под этим именем рыба фигурировала в учебниках как давно исчезнувшее с лица земли существо. Впоследствии удалось поймать еще несколько экземпляров целакантов. Жители Коморских островов, находящихся у юго-восточного побережья Черного материка, иногда ловили их в сети и твердой шкурой зачищали проколы на велосипедных камерах. «Старина на четырех лапах» — называли они целакантов, не подозревая, какую ценность держат в руках...

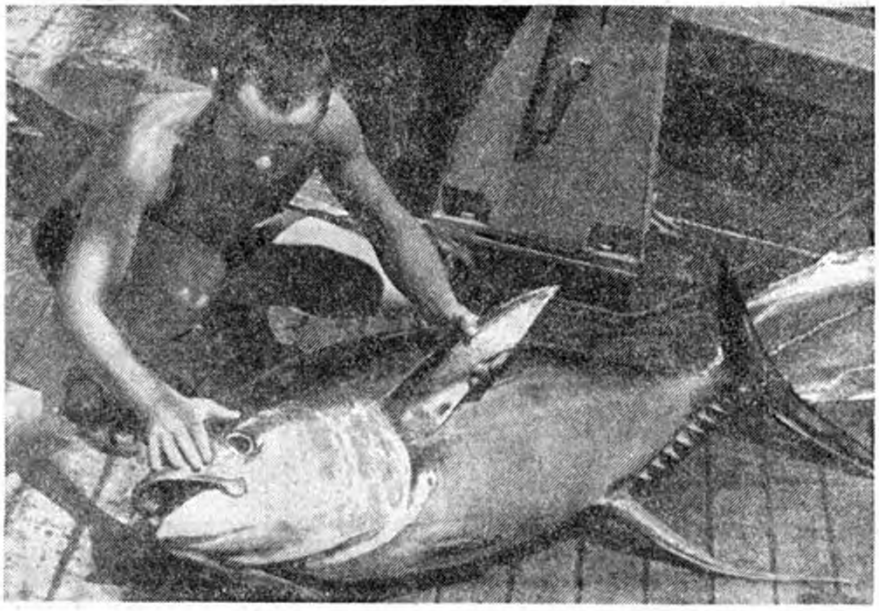
Я тоже мечтаю поймать целаканта — какую-нибудь неизвестную ученым рыбу. Она очень бы украсила музей, для которого я собираю коллекцию. Вот почему я очень придирчиво изучаю каждую рыбу, пойманную на ярус. Но увы!.. Целаканта нет... Я не теряю надежды. Ее все время подогревает во мне Жаров. Он хлопает меня по плечу и ободряюще говорит:

— Кто ищет, тот всегда найдет!

И я жду: ведь всякое бывает!

Однажды мое терпение было вознаграждено: мы поймали очень редкую рыбу — длинную, узкую, серебристую, с штыкообразной верхней челюстью. Это копьерыл, единственный экземпляр в нашей стране, а может, и в Европе, владельцем которого стал музей Атлантического научно-исследовательского института.

Потом океан сделал новый подарок: из морской глубины мы вытащили бронзово-голубую, зубастую, змеевидную макрель. Она так редко встречается в коллекциях музеев, что во время плавания на плоту «Кон-Тики» знаменитый норвежец Тур Хейердал, поймав ее, считал себя единственным в мире обладателем этого животного.



Матрос Викентий Масюкевич с интересом рассматривает тунца.

Не успело нас покинуть приподнятое настроение после поимки макрели, как один из матросов снял с яруса большую рыбью голову: тело было начисто съедено акулами. Когда мы рассмотрели ее, то пришли в отчаяние: ненасытные твари сожрали совершенно незнакомую, не описанную в определителях рыбу.

В отчаянии я рассматривал голову — плоскую, крутолобую, покрытую крупной чешуей, с большущими глазами и ртом, полным зубов. Да, все давало основание полагать, что это одна из очень редких глубоководных рыб. И на нее, на это ценнейшее для нас существо, у акул разинулась пасть! Это было тем более обидным, что на соседнем крючке бился совершенно целенький жирный тунец. Ничего не оставалось другого, как зафор малинить лишь то, что осталось,— объеденную голову с испуганно разинутым ртом и ввалившимися от ужаса глазами...

После этого случая я стал мечтать о том, чтобы мы смогли поймать голубого марлина. Живет в открытых просторах океана этакая большущая, сильная рыба. Марлину не страшны громадные расстояния: его метровый хвостовой плавник способен многие часы подряд с большой скоростью мчать ярко-синее веретенообразное тело вперед. Марлину не страшны акулы: острый, крепкий, как бивень, нос защитит рыбу от любого морского хищника.

Мы выловили много тонн акул и тунцов. Но, к моему разочарованию, марлины не попадались. Тогда я вспомнил старую рыбацкую примету и, помогая наживлять тунцеловные крючки, плюнул на наживку, пробормотав: «Ловись марлин, большой и маленький!» Но марлин не попался: крючков с сардинками было больше тысячи, и, конечно, марлин просто не нашел «заговоренную» мной рыбку. Тогда на другой день, пользуясь утренним сумраком, я плюнул в корзинку с сардиной и заговорил всю наживку.

И вот однажды, когда выборка одного из очередных ярусов уже подходила к концу, кто-то в фиолетовой глубине дернул с такой силой, что капроновая хребетина, способная выдержать несколько тонн груза, соскочила с ярусоподъемника, натянулась и загудела, как струна. Бригадир чертыхнулся и с тревогой посмотрел за борт. Там, под днищем теплохода, ворочалось большущее животное. Метр за метром мы подтаскивали марлина к теплоходу, и наконец, запутавшись в поводцах, он всплыл: пятиметровая, ярко-синяя, в темных полосах рыбина. Марлин вращал глазами величиной с чашку, грозил нам своим шиповатым носом-бивнем и разевал громадную пасть. Один из матросов сунул в нее багор, зацепил за челюсть, и все, кто был на палубе, схватившись за канат, перекинутый через блок, повисли на нем. Но нам явно не хватало сил: как только голова

рыбы показалась над планширом, дело застопорилось. Тогда из рубки спустился капитан, из машины появился испачканный солидолом старший механик, а из камбуза — пахнувший пирожками кок. Мы поднатужились и, выжав из себя все силы, приподняли рыбу еще метра на два. И наступило равновесие: на багре неподвижно висел марлин, а на канате двенадцать напрягшихся, покрасневших от натуги тунцеловов. Не хватало совсем маленького усилия, нужна была та сказочная мышка, что помогла героям сказки вытащить из грядки гигантскую репку. И в этот момент на палубу выскочил юный член экипажа нашего судна — матрос Славка. Он был такой худощавый и хлипковатый, что все боялись, как бы во время шторма ветер не сдул его в океан. Но слаб он был лишь внешне. И это он блестяще доказал: вцепившись в самый кончик каната, он пискнул тонким голосом:

— А ну, парни, взяли!..

Парни «взяли» и при помощи Славки выдернули марлина из океана.

Я похлопал марлина по тугому животу, подумав: «Вот я тебя и поймал». И мне было нисколько не совестно присваивать себе общественный труд: ведь заговорил-то наживку я!..

VIII. ПОЯС ВЕНЕРЫ

Древние греки утверждали, что когда богиня любви Венера купалась однажды в Средиземном море, то забыла снять свой изумительный по красоте пояс. Пряжка его расстегнулась в воде, и пояс соскользнул с прекрасного тела богини. Его подхватили волны и, играя, унесли в Атлантический океан. Богиня была очень опечалена пропажей: ведь пояс был подарком Зевса — и пообещала тому, кто найдет его и сможет вернуть из воды, свою любовь.

Нам почти повезло. Мы почти поймали пояс, мы даже достали его из воды в полусотне миль от африканской страны Сьерра-Леоне. Мы почти его достали, но...

В общем, дело было так. Судно лежало в дрейфе. Мы стояли на крыле мостика и смотрели в прозрачную глубокую воду. Вдруг Саша Хлыстов толкнул меня в бок и воскликнул:

— Взгляни, какая прелесть!

В воде плыла, волнообразно изгибаясь, широкая лента. Вся она переливалась зеленым, синим, фиолетовым и красным пламенем. Как будто легкая, полупрозрачная ткань ее вся была усыпана мелкими драгоценными камнями, и они играли своими тщательно отшлифованными гранями в солнечных лучах.

«Пояс Венеры»! Вот он куда заплыл из Средиземного моря!

Небольшие волны все ближе и ближе подгоняли его к борту судна. Я сбежал на палубу и перегнулся с сачком в руке через планшир. Сейчас... еще немного, еще мгновение — и он будет в моих руках. Мне даже почудился благодарный смех богини, и в волнах я увидел манящий прищур громадных синих глаз.

Рука моя не дрогнула. Сачок нырнул в воду и подцепил чудесный пояс. Я положил сачок на палубу и наклонился над ним. Но что такое? Вместо ярко окрашенной ленты в сетке лежит какая-то грязновато-серая прозрачная масса с мелкими трепещущими ворсинками.

Размахнувшись сачком, я вытряхнул непривлекательное на вид студенистое вещество в воду. И чуть не вскрикнул от удивления: произошло новое превращение — серая масса расправилась в широкий ярко-фиолетовый, с алыми бликами пояс...

«Пояс Венеры» — это морское существо, обитатель теплых вод, относящееся к кишечнополостным животным, к так называемым гребневикам. По образу жизни «пояс Венеры» похож на медуз. Обитают эти «пояса» в верхних слоях воды, но лишь только начинается самое небольшое волнение, они, оберегая свое нежное студенистое тело, опускаются в глубину.

Вот почему они так редко попадаются на глаза морякам.

IX. ВСТРЕЧА С ДЬЯВОЛОМ

В тот момент, когда я, засунув руки в черный мешок, перезаряжал фотопленку, вошел в каюту мой приятель Виктор и, выпустив в потолок синюю струйку дыма, самым будничным голосом сказал:

— Иди посмотри, как морские дьяволы из воды выпрыгивают.

Я только что смотал с рулона кусок пленки и орудовал в тесном мешке ножницами, стараясь не поцарапать эмульсию. И вдруг — дьяволы! Те самые, о которых было столько написано исследователями тайн голубого континента! И они не где-то за тридевять земель, а рядом, у самого борта нашего тунцелова! Но что делать? Я мгновенно вспотел и беспомощно взглянул на Виктора: продолжать ли заряжать кассету, а затем фотоаппарат и потом бежать фотографировать их? А если этим дьяволам надоест прыгать и они погрузятся в глубину?

Нет, ждать нельзя.

— Открой дверь! — крикнул я и, как был с руками в мешке, выскочил из каюты.

Был полнейший штиль. Солнце, раздувшись в громадный красный шар, повисло над горизонтом, своим нижним краем погрузившись в плотную золотистую дымку. Штиль, заходящее солнце, тишина.

И вдруг в десятке метров от борта судна океан вскипел, и из кроваво-свинцовой водной ряби выскочило гигантское, тяжеленное существо.

Дьявол! Широкие, почти треугольные крылья, пара рогов на голове, длинный плетевидный хвост. В следующее мгновение диковинное существо, очень напоминающее собой доисторических ящеров, взметнув каскад брызг, гулко обрушилось брюхом в родную стихию, как неопытный ныряльщик. А затем снова всплеск, и снова невероятнейшее сальто в воздухе.

Нет, человек не случайно придумал этому резвящемуся гиганту такое библейское название. На фоне красного заката крылатый силуэт, выскакивающий из воды, как из преисподней, действительно производит впечатление какого-то потустороннего существа. В общем, дьявола!

Солнце село, и дьяволы прекратили свою дьявольскую игру. Успокоившись, они начали неторопливо плавать вокруг лежащего в дрейфе теплохода, выставляя из воды кончики своих плавников-крыльев.

Это были крупные морские скаты — манты. Их движения в воде очень напоминали движения бабочек в полете: те же плавные, неторопливые взмахи крыльев. В течение небольшого отрезка времени, когда после захода солнца было еще относительно светло, можно было хорошо рассмотреть животных — их широкие, в 4—6 метров плавники, длиннющий хвост и острые, очень напоминающие рога глазные плавнички в головной части ската.

Манта — одно из крупнейших животных Атлантического океана, достигающее в весе до 1—1,5 тонны. Манта — очень сильное, но весьма миролюбивое животное, перебивающееся мелкой рыбешкой. Но скат, если его рассердить или поранить, приходит в бешенство и бесстрашно нападает на любого врага, сокрушая его мощью своего

тяжелого, сильного тела. Многие подводные охотники страстно мечтают поохотиться на манту, но мало у кого из них хватает смелости нажать курок подводного ружья, увидев вблизи это дьяволоподобное существо.

X. ПОСЛЕДНИЙ ЯРУС...

За работой незаметно пролетели дни, недели, месяцы нашего рейса в тропики. И вот мы ставим последний ярус. И радостно, что рейс заканчивается, и немного грустно. Грустно расставаться с тропиками, с его интереснейшими обитателями, с африканским берегом, с друзьями, которые у нас появились там.

Я стою на верхнем мостике и с надеждой смотрю в прозрачную голубую воду. Мне кажется, что на прощание океан должен сделать нам какой-нибудь приятный неожиданный подарок. Гудит ярусоподъемник, километр за километром хребетины убираются в ящик, поводец за поводцом поднимаются на борт. Несколько парусников, пара золотистых макрелей, маленькая акула... А вот уже виден и концевой буек. Нет ничего новенького, никакого сюрприза.

Я уже хотел спуститься в каюту, как вдруг на палубе раздался шум: около борта судна всплыла необычная рыбина: короткое толстое тело, большущие глаза и метровый меч, которым заканчивается верхняя челюсть. Меч-рыба! Вот это подарок так подарок! Сбегая по трапу на палубу, я вспомнил то, что читал когда-то про эту рыбу: меч-рыба — одно из немногих морских существ, пользующихся дурной славой, о которой многие века знают моряки всего земного шара. Это потому, что меч-рыба не раз наводила ужас на мореплавателей и рыбаков, нападая на парусные корабли, пробивая своим мечом рыбацкие лодки и топя их. И было это совсем недавно, когда моря и океаны бороздили корабли с деревянными корпусами. У английских страховых компаний существовала особая рубрика: «Повреждение обшивки судна в результате нападения меч-рыбы».

О том, какие большие повреждения может принести нападение меч-рыбы, красноречиво говорят интересные экспонаты, собранные в Англии, в Британском музее. В частности, меч одной из рыб, экспонируемый в музее, был обнаружен в днище китобойного судна «Фортуна». Он пробил двухсантиметровую обшивку корабля, доску под ней толщиной в 7,5 сантиметра, дубовый брус в 30 сантиметров и бочки с ворванью, находившиеся там.

В конце второй мировой войны нападению меч-рыбы подвергся английский танкер «Барбара». Полутораметровый меч пробил обшивку судна, как арбузную корку, и остался цел. Выдернув из корпуса судна свое страшное оружие, рыба бросилась в новую атаку. На этот раз ее меч плотно завяз в металле; моряки оглушили рыбу и вытащили ее на борт. Это был замечательный экземпляр длиной в 5 метров 28 сантиметров, при весе в 660 килограммов.

В 1943 году меч-рыбой была атакована американская шхуна «Елизабет», а несколько лет спустя — английский военный корабль «Леопольд».

Вот какая рыба попалась на наш последний ярус, на последний крючок! Она, как видно, уже очень давно билась на поводце и потому совершенно обессилела. Но надо же так случиться, что, когда ее пытались вытащить, она рванулась еще раз и... оборвалась. У меня чуть сердце не остановилось, но в этот момент на помощь, как и в случае с марлином, пришел Слава Кротов. Рискуя свалиться за борт, он дотянулся до рыбины багром и зацепил ее за челюсть. И через несколько мгновений она уже устало таращила свои глаза на обступивших ее судовых фотографов.

Мы внимательно осмотрели, измерили ее могучее, сильное тело и превосходнейший обоюдоострый твердый меч: он был совершенно целым. Как видно, эта рыба ни на кого не нападала. Впоследствии из нее получилось неплохое чучело, которое украсило музей Атлантического научно-исследовательского института.

...Мы сидим в конференц-зале Атлантического научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. На трибуне — Виктор Леонтьевич Жаров. Он докладывает об итогах нашей экспедиции:

— ...Обследована громадная площадь Гвинейского залива. Ученые экспедиции сделали около трехсот гидрологических станций, произведен анализ почти двух тысяч тунцов и парусников, поставлено более четырехсот ярусов протяженностью почти в семь тысяч километров, обработано триста с лишним тысяч крючков. Теперь мы знаем, где нужно искать тунцов в этот период, и рекомендуем промышленности следующие районы лова...— Виктор Леонтьевич поворачивается к карте и называет районы, заштрихованные на карте у берегов Африки и в Гвинейском заливе.

Заканчивается отчет нашей группы заявлением Торина.

— Мы считаем необходимым,— говорит он,— рекомендовать нашему институту и промышленности в ближайшее же время заняться ловом акул. Уже многие годы японцы, американцы, норвежцы и рыбаки других стран добывают эту рыбу, запасы которой в морях и океанах земного шара неограничены. Мясо акул обладает высокими вкусовыми качествами, оно употребляется в пищу в консервированном, копченом и свежем виде. Из шкур акул изготовляется отличная кожа, из которой можно делать различные красивые и крепкие вещи. Акула ловится на любую наживку. Попавшую на наживку акулу не объедают другие хищники, на каждый сорокакилометровый ярус можно ловить за один замет до пяти-шести тонн этих крупных рыб. Акулы — это то богатство, мимо которого мы пока проходим...

Отчет закончен. Нашей работе дана отличная оценка.

А через неделю мы собираемся в одной из лабораторий института и склоняемся над картой Экваториальной Атлантики. Заведующий лабораторией Константин Гаврилович Кухоренко прочертил карандашом по карте, пересекая сетку параллелей и меридианов, и сказал:

— Пойдете вот сюда. Судно выйдет из ремонта — и в путь!

Мы взглянули друг другу в глаза и вздохнули: «Что поделаешь: нелегкая это штука — дальние тропические рейсы». Опять будут штормы, утомительные переходы, туманы, шквальные ветры, одуряющая жара, ослепительное, разящее в голову и плечи солнце... Но будет интересная работа, новые радости, маленькие, а может, и большие открытия..

На стендах «Юности»

В нарушение установившихся традиций стенды «Юности» на сей раз были отданы живописи. Свои работы демонстрировал Арон Априль.

Он родился в 1932 году. Детство провел в Сибири. Учился в Московском художественном училище имени 1905 года и в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова. Дипломная работа А. Априля «В пути» была напечатана в 1958 году на вкладке нашего журнала.

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ, ПРОСТОЙ И ЗДОРОВОЙ

Московского художника Арона Априля не часто встретишь в Москве. Месяцами живет он среди мужественных, закаленных сибирскими ветрами рыбаков Нарыма, подолгу работает на пристанях широкой и привольной красавицы Оби. С альбомом в руках и с ящиком за плечами он изъездил много степных дорог Казахстана, завел в станах и в поселках крепкую дружбу с трактористами целинных совхозов, сблизился с колхозниками Якутии настолько, что научился говорить по-якутски. Работал в городе Рудном. Ставил свой мольберт под палящими лучами солнечного юга — в Тамани и на берегу Черного моря. Ветры Прибалтики также хорошо знакомы Априлю. И везде он был не праздным зевакой или любителем-путешественником, а вдумчивым художником, ищущим правдивый и яркий образ современника.

А. Априль. **В пути** (эскиз).

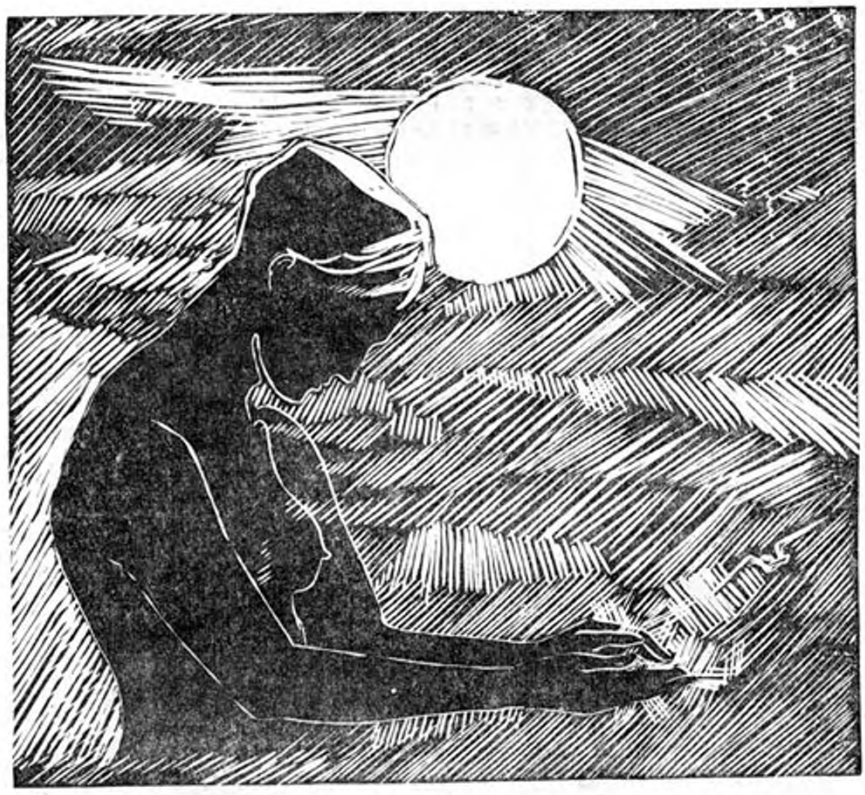
Априля привлекают люди, характер которых закаляется в напряженном труде и в непрестанной борьбе с природой. Таковы образы в его наиболее завершенной большой композиции «Рыбаки Нарыма» (см. третью страницу обложки этого номера «Юности»). Вот они: старый, опытный бригадир и молодые парни в высоченных резиновых сапогах, в теплых стеганых телогрейках. Стройные и подтянутые, они ждут смены бригад, готовые к новой схватке с быстрой рекой, с хитрыми, притаившимися в водных глубинах косяками рыб.

Крепкие, сильные люди в картинах Априля, ясные и звучные пейзажи рождены не только хорошим знанием жизни и наблюдательностью, но и оптимистическим мировоззрением самого художника, его искренней любовью к людям труда, к жизни простой и здоровой.

Уже около шести лет художник работает самостоятельно. Сравнивая его произведения разных лет, видишь, как он все настойчивее ищет средства, спо-

А. Априль.

Солнце (линогравюра).



собные выразить активное ощущение и восприятие современности.

Живопись Априля звучна и декоративна. Но, сохраняя локальный яркий цвет, молодой художник хочет передать и полноту ощущения натуры, то есть психологическое состояние персонажей, материальность и объем предметов, свет и пространство. И здесь автор сталкивается с трудностями, которые часто он не может преодолеть. Характерный тому пример — картина «У моря», 1962 года, где женская фигура, песок, одежда и море трактованы совершенно по-разному. Рядом с открытым локальным цветом песка и одежды фигура изображена в плане тональной живописи, в то время как в море ощущается некоторая графическая сухость. К сожалению, подобный недостаток свойствен в той или иной мере большому числу его произведений.

Отсутствие цельного живописного решения в работах Априля связано с его отходом от приобретенных еще в школе способов пассивной, хотя, может, и добросовестной фиксации натуры и с его переходом к более творческой, активной живописи, когда средства становятся выразителями образной сущности изображаемых явлений. Этот переход у молодых художников плодотворен, но в то же время он всегда очень труден и сложен.

Преодоление Априлем пассивного живописательства заметнее всего в небольших пейзажах из серии «Недалеко от Кустаная». В них очень пластично и обобщенно передан сегодняшний день целины, который ясно воспринимаешь через динамику композиции, через зримые элементы новизны. Особенно удачны пейзажи «Машины спешат домой», «День кончается», «Совсем тихо».

И еще одну особенность нужно отметить в творчестве Априля как особенность, характерную для многих современных прогрессивных художников: это — стремление находить для каждой темы и образа свой материал и специфические средства. Поэтому художник решает свои замыслы не только в станковой живописи, но и в рисунке, декоративном панно и в гравюре.

Выставка работ Априля в редакции журнала «Юность» — первая персональная выставка молодого художника. И она рождает надежду, что, углубляя познание народной жизни, продолжая работать среди избранных им героев, Априль придет в своих исканиях к созданию новых и впечатляющих образов современности.

В. КОСТИН

Оживленно прошло обсуждение выставки. Читатели журнала, художники, искусствоведы, выступавшие в прениях, заинтересованно говорили о полотнах молодого художника. Отмечая его успехи, они подробно останавливались на недостатках и просчетах. Полезный и нужный для молодого живописца разговор продолжался свыше двух часов.

АТОМ—РАБОЧИЙ

На Всесоюзной молодежной стройке Белоярской атомной электростанции

Реактор ожил

Солнечный теплый день. Голубое небо и белые стайки облаков. Вокруг самого молодого в стране Белоярского моря-водохранилища высоченные березы, сосны, ели. А над всем этим, над стометровой трубой полощется алый флаг. Еще вчера здесь сновали бетоновозы, перезванивались сорокатонные краны. Самосвалы увозили с площадки мусор, а работники цеха зеленого строительства высаживали на газонах цветы. До поздней ночи стрекотали отбойные молотки, и на тридцатиэтажной высоте громадного сооружения вспыхивали огоньки электросварки. Еще вчера доканчивали свою работу маляры и штукатуры. А сегодня принаряженная громада первого блока Белоярской атомной электростанции затихла в ожидании решающего мгновения.

Через несколько минут начнется опробование сердца станции — атомного реактора. Этого мгновения с нетерпением ждут все, кто находится в просторном помещении поста управления реактором: директор БАЭС В. П. Невский, главный инженер Б. Г. Иванов, начальник 1-го участка стройки А. К. Домбровский, бригадир монтажников Николай Кохно, инженер Александр Цыбышев, руководивший монтажом реактора, мотористка Лида Бремеева и многие другие ее строители.

Белоярский атом начал сдавать экзамен на звание рабочего. И хотя до результатов экзамена — до энергетического пуска — еще несколько месяцев, хочется от души поздравить строителей.

Верные рыцари атомной

Первую коммунистическую бригаду строителей называют рыцарями стройки.

— Все здесь наше,— оглядываясь вокруг, говорит Николай Кохно, бессменный руководитель бригады на протяжении последних шести лет. Он смотрит на «клотик» (так бывшие моряки зовут вершину трубы, где на 102-метровой высоте по ночам загораются отличительные огни, а сейчас трепещет алое полотнище), затем скользит взглядом по котловану, что недавно вырыт под третью очередь: смотрите, мол, каков размах нашей Всесоюзной ударной комсомольской!

Но с еще большей гордостью

Слева направо: Михаил Ткач, Владимир Гилев, Николай Кохно, Виктор Сметанин, Михаил Корнейчук.

рассказывает Николай о своих друзьях.

Миша Ткач — великолепный мастер газовой резки, отличный бетонщик. Приехал сюда после службы в армии. Женился, получил специальность. Учится в школе рабочей молодежи. Работает четко, инициативно, добросовестно. Никогда не откажет в помощи товарищу. Его жена Дуся — штукатур на первом участке. Пуск реактора считает семейным праздником.

Владимир Гилев — спортивный «бог» бригады. Великий любитель велосипеда, футбола, волейбола и рыбалки. Раньше работал в Сибири. Узнав про атомную станцию, приехал сюда.

Широкоплечий украинец Михаил Корнейчук с виду очень спокойный, разговаривает негромко. Своего первенца — ему скоро год — назвал Николаем, в честь бригадира. За четыре года работы овладел шестью специальностями. А вечерами учится в школе рабочей молодежи.

Виктор Сметанин возглавляет комсомольскую организацию первого участка. Член штаба «Комсомольского прожектора». Тоже бывший сибиряк. А теперь коренной уралец, как и его жена. Часто заменяет бригадира. Без троек закончил третий курс факультета промышленного и гражданского строительства в техникуме. (Его зачетку проверяли всей бригадой.) Имеет спортивные разряды по легкой атлетике, футболу, плаванию и лыжам. Пробует силы в теннисе и народной гребле.

...Можно продолжить рассказ о других членах первой бригады коммунистического труда — уральских комсомольцах шестидесятых годов. Все эти парни удивительно (внутренне, конечно) похожи на своих сверстников, которые строят сейчас Западно-Сибирский металлургический, Красноярскую ГЭС, прокладывают нефтепровод «Дружба», возводят корпуса Воронежской атомной электростанции.

Коллектив бригады Кохно гордится Белоярской АЭС — первым гигантом атомной энергетики на Урале. Ведь это их детище, созданное их крепкими руками в содружестве с академиками и сталеварами, инженерами и металлистами.

Ну, а девушки? Они трудятся под стать рыцарям и так же верны своей станции, так же гордятся ею и любят ее. И первой среди них на стройке называют мотористку Лиду Еремееву, студентку-дипломницу строительного техникума. Ту самую Лиду, которая недавно отдала кровь пострадавшему товарищу. Ту «девушку с настоящим сердцем», как писала о Лиде областная молодежная газета.

Вот она, Лида Еремеева.

Инженер с Первой Черемушкинской

Тетрадка в клеенчатой обложке — в таких обычно Александр Цыбышев вел конспекты, когда учился в Московском энергетическом институте. В этой первая запись сделана 28 сентября 1960 года, в конце второго месяца работы на строительстве Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова.

«Бригада, руководимая прорабом А. Т. Новиковым, заложила последние кубометры бетона в плотину гидроузла на Пышме. Река перекрыта. Завершили основные работы по созданию водохранилища. Новое Белоярское море, разлившись на месте векового леса, займет сорок квадратных километров.

На площадке реакторного отделения бригады монтажников Кохно, Морозова и Бендера устанавливали последние блоки стен биологической защиты. Почти на сорокаметровую высоту нужно поднять двенадцать последних блоков толщиной в полтора метра и весом по пятнадцати тонн. Подает блоки 25-тонный кран. Внутри корпуса хозяйничает молодежная бригада. Черненко подгоняет листы кожуха реактора и прихватывает их электросваркой.

Рядом с реакторным отделением бригады Потапова и Рысина монтируют из сборного железобетона так называемую «этажерку» — семиэтажное сооружение, в котором расположатся щиты управления и приборы. По другую сторону «этажерки», в машинном зале, укладывают плиты полов и монтируют торцовую стену.

Строители ведут теплотрассу. Каналы с уложенными в них трубами пересекают площадку во всех направлениях. Котельную готовят к сдаче в эксплуатацию.

День на исходе. По-прежнему башенные краны подают наверх блоки, по-прежнему на головокружительной высоте работают монтажники. Сыплются сверху искры электросварки, стучат молотки, гудят машины, подвозящие бетон. Близится время, когда мы начнем устанавливать каналы реактора. Их 998».

С тех пор прошло три года. Тысяча рабочих дней в жизни 27-летнего инженера Александра Цыбышева — мастера аппаратного цеха.

Судьба Александра, выпускника Московского энергетического института, сложилась удачно. Когда весной 1960 года ему предложили

поехать на Урал, под Белоярку, он сразу же ответил: «Согласен».

От молодого мастера по монтажу первого атомного реактора мощностью в сто тысяч киловатт

Александр Цыбышев.

требовались мышление опытного технолога и сноровка закаленного производителя работ.

Монтаж реактора, да еще первого в серии,— дело сложное и ответственное. Конечно, Александру Цыбышеву помогали многие — и известный ученый, автор проекта, и опытные инженеры Центроэлектромонтажа, и знаменитые монтажники,— но командиром на этом главном участке стройки был все же он.

Со временем к первой тетрадке в клеенчатой обложке прибавились еще две, исписанные от корки до корки. В них много чертежей, сделанных на скорую руку, эскизных набросков, выписки технических ошибок, взятых из рабочих документов, которые прислали проектировщики. Для чего, спросите? Чтобы не повторять их в будущем.

Монтаж первого реактора стал для Цыбышева экзаменом на зрелость. Сейчас Александру поручен монтаж второго реактора, мощность которого будет вдвое больше первого. Биография бывшего москвича с Первой Черемушкинской улицы началась отлично.

Хозяева станции

На БАЭС имени И. В. Курчатова пришли хозяева — эксплуатационники. Вся обстановка зала управления АЭС — белые халаты, цветные огоньки на щитах и сотни различных приборов — невольно действует на воображение, внушает уважение и трепет. Здесь — царство атомной физики.

За пультом управления реактором — начальник смены инженер-оператор Евгений Корякин. Он недавний выпускник Уральского политехнического института. Стажировался на первой в мире атомной электростанции в Обнинске, девять лет назад давшей промышленный ток. До тонкости изучил системы управления и защиты своего аппарата. Корякин так же, как и его коллеги Григорий Гринглаз, Алексей Варламов и Виталий Болотов, начал свою работу на Белоярской АЭС еще во время монтажа атомного котла.

— На этих ребят можно положиться,— уверенно говорит главный инженер станции Б. Г. Иванов.— Грамотные специалисты в полном смысле слова.

Управление реакторами — дело сложное и тонкое, хотя, как нам подчеркивали, вполне надежное и совершенно безопасное в руках компетентного специалиста. Системы защиты настолько совершенны, что обслуживающий персонал получит за год облучения меньше, чем мы за один сеанс в рентгенокабинете обычной поликлиники. Проектировщики позаботились о надежности и чистоте не только на станции, но и вокруг нее.

Главный инженер замечает: второй аппарат станции будет вдвое мощнее первого при тех же размерах и конструкции. Кстати сказать, пар, получаемый у нас в реакторе по принципу ядерного перегрева, идет непосредственно на лопатки турбины. Это — последнее слово атомной энергетики. За рубежом пар из реактора в ряде случаев перегревается на мазутном топливе.

Белоярская атомная — стройка молодых. И хозяином ее справедливо считаются комсомольцы и молодежь. На каждом шагу здесь видны их дела.

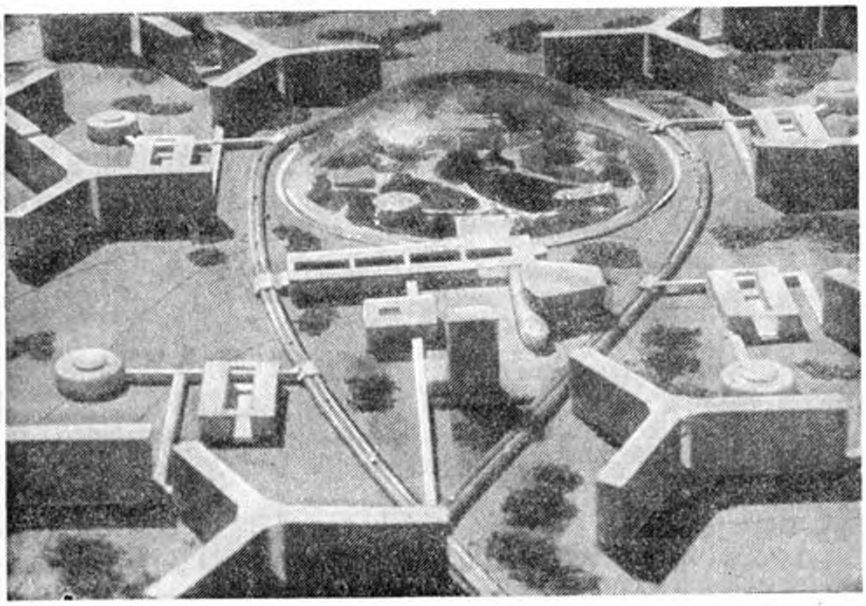
Вот бюллетень «Комсомольского прожектора» (его штаб возглавляет слесарь-монтажник Леонид Каргашин) сообщает о результатах рейда по хранению дорогостоящего оборудования. Вот ответы, полученные секретарем комитета ВЛКСМ Тамарой Соколовой от коллективов предприятий-поставщиков. Все они начинаются словами: «В ответ на ваш запрос сообщаем, что выполнение и отгрузка заказов БАЭС взяты под комсомольский контроль».

Но молодежь стройки не только требует. Своими силами она строит стадионы, игровые площадки в каждом микрорайоне, водную станцию, эллинг для своего парусного флота. Общественное конструкторское бюро уже выдало необходимые рабочие чертежи.

Белоярская атомная устремлена в будущее. Коллектив станции решил еще в этом году дать стране промышленный ток. Грозный атом сдает экзамен на рабочего!

Н. ИГОРЕВ,
А. ПЕТРОВ

У маляров — девичий «перекур».



ГОРОД МЕЧТЫ

Как-то, года два назад, ливень загнал меня вместе с другими прохожими в подъезд одного из московских домов. Столпившись в дверях, мы все с досадой смотрели, как вскипают на лужах огромные пузыри. Мальчик лет шести-семи сказал:

— Пап, а пап! Вот если построить над городом большую стеклянную крышу... Тогда всегда будет сухо и тепло. И все люди будут ходить веселые...

Этот эпизод я вспомнил совсем недавно, очутившись в Ленинграде. Именно там, в небольшом особняке на улице Герцена, где помещается филиал Государственного комитета по гражданскому строительству, мне рассказали о нашем северном городе будущего. Городе, где никогда не будет дождя, снега, где даже при морозе в 50°С на улицах будет не ниже — 6—7°С.

Впрочем, уж такое ли это далекое будущее? Ведь уже начата разработка проектов таких поселков для Якутии, и рождение нового города — вопрос нескольких лет.

Десятки городов и рабочих поселков расположены близ Полярного круга и севернее его. Много тысяч людей живут и работают там в суровых природных условиях. Девять-десять месяцев в году здесь царит зима, морозы достигают —40 и больше градусов, порывистый ветер дует со скоростью до 50 метров в секунду. В такую погоду не захочешь пойти вечером в кино, на концерт, в библиотеку или просто в гости. Но люди, живущие на далеком Севере, имеют право и хотят проводить свой досуг культурно, интересно, разносторонне, как делаем это мы с вами, живущие в средней полосе или на юге страны.

А нельзя ли создать нормальные условия для труда и быта жителей Крайнего Севера?

Об этом стали задумываться всерьез, когда началось планомерное, разумное освоение Севера. И не только задумываться, но и решать проблемы строительства городов в условиях сурового климата и вечной мерзлоты.

В Ленинградском филиале для начала меня познакомили с несколькими научными трудами, разрабатывающими основы строительства северных поселков нового типа.

На первых страницах массивных томов архитекторы тщательно анализируют все географические, климатические и экономические условия предстоящей стройки. Затем, сообразуясь с местными возможностями, определяют, какие дома надо строить. Много внимания уделяют они сооружению школ, магазинов, фабрик-кухонь, стадионов, клубов, кинотеатров. Не забыты и дороги, водопровод, канализация.

Чем больше страниц я прочитывал, чем больше знакомился с эскизными чертежами и рисунками, тем явственнее возникал передо мной будущий поселок. И не какой-нибудь отвлеченный, а конкретный, с точным адресом и названием: Депутатский, расположенный в Якутской АССР, к северу от Полярного круга...

...Несколько девятиэтажных домов составляют его основу. Высокие здания, воздвигнутые на небольшой территории, позволят легче защититься от сурового климата, да и строительство обойдется дешевле.

Даже москвича, привыкшего к многочисленным новым зданиям столицы, поражают большие, неожиданные для Севера окна. В новых домах должно быть как можно светлее и радостнее, а для сохранения тепла в комнатах создаются окна необычной конструкции: между двумя стеклами натянуты от трех до пяти прозрачных синтетических пленок; воздушные прослойки между ними служат надежной преградой холоду.

Первые этажи зданий отданы под кафе, помещения бытового обслуживания, хранения санок, лыж и другого инвентаря.

К приземистому и вместительному зданию школы непосредственно примыкает спортивный зал. Утром здесь хозяйничают ребята, а вечерами и по воскресным дням — взрослые. В случае необходимости зал легко превращается в помещение для митингов, демонстрации кинофильмов или театральных постановок.

Большое здание, выстроенное квадратом, станет общественным центром города. Его «внутренний двор» — довольно просторная площадь — перекрыт куполом из специального прозрачного пластика. В центре площади разбит вечнозеленый сквер, которому не страшны ни мороз, ни пурга.

Остроумно разрешена проблема уличного движения. В сущности, привычных улиц нет, от здания к зданию тянутся крытые, «остекленные» пластиком галереи-переходы. Они достаточно широки, так что, кроме пешеходов, по ним могут двигаться автокары. Летом стеклянные стены раскрываются, пропуская свежий теплый воздух.

Благодаря улицам-галереям город полностью отгорожен от не-

На снимке: макет заполярного города на 35 тысяч жителей.

Фото А. Долинина.

погоды, и даже в самые холодные месяцы жители, отправляясь в кино, на спортивные соревнования или в гости, надевают лишь демисезонные пальто.

В спортивных залах, в зимнем саду и в некоторых других помещениях будут установлены специальные светильники типа ламп «горное солнце». Благодаря им жители Депутатского и во время полярной ночи будут ходить бодрые и слегка загорелые.

Похожим на Депутатский станет в ближайшем будущем и рабочий поселок Айхал, расположенный в алмазоносном районе Якутии. Проект этого маленького городка разрабатывает группа архитекторов и инженеров Мирного. По тому же принципу, что и Депутатский и Айхал, можно построить город и на 35—40 тысяч жителей.

Показанные мне макеты и эскизы будущих городов и поселков Крайнего Севера выглядели интереснее, чем многие причудливые иллюстрации в научно-фантастических романах. Что ж, наша стремительная действительность порой обгоняет художественный вымысел! Я невольно позавидовал тем юношам и девушкам, которым доведется первыми начать строительство таких городов и жить в них.

Кто знает, может, через несколько лет в северном городе под прозрачным куполом поселится тот самый малыш, с которым свел меня в Москве проливной дождь. Наверно, он воспримет новый город как нечто вполне естественное, необходимое. И это закономерно.

Ю. МАКСИМОВ

ОНИ РАЗБУДЯТ «СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ»

Лучами незаходящего солнца встретило нынешним летом Заполярье несколько тысяч молодых новоселов. Эти юноши и девушки приехали с комсомольскими путевками в кармане на ударные стройки Европейского Севера: Мурманской и Архангельской областей, Коми АССР. Они будут валить лес на Печоре и добывать в Хибинах апатитовую руду, они построят в тундре города и фабрики, их труд даст стране никель, древесину, фосфориты.

Как обживают Север его молодые покорители — этой теме посвящено интервью, которое наш корреспондент Л. Борщевский получил у первого секретаря Мурманского обкома ВЛКСМ Альберта Жигалова.

— Из нового комсомольского призыва в Заполярье,— сказал А. Жигалов,— на Мурманскую область приходится шесть с половиной тысяч человек. Но будьте уверены, работы хватит всем! На Севере еще долго будет работы с избытком, сколько бы молодежи ни приезжало сюда. Мы уже встретили первые эшелоны наших новых друзей и ждем еще. Встретили как положено: с оркестром, с цветами. Ведь, хоть земля наша и суровая, северяне очень радушны к тем, кто приехал не за «длинным рублем», не за экзотикой, не за приключениями, а работать, по-настоящему работать. На Кольский полуостров едут москвичи, ленинградцы, псковичи, посланцы Чувашии, пензенцы, ивановцы, тамбовцы...

— Где им предстоит работать?

— Начнем с нашего областного центра. Он будет расти и вширь и ввысь. В ближайшие пять лет нам, можно сказать, придется построить еще один Мурманск. Город станет вдвое больше и вдвое выше. Здесь поднимутся красивые девятиэтажные жилые дома, новые гостиницы для рыбаков, кинотеатры, библиотеки. Около двух тысяч молодых строителей из тех, что прибыли по комсомольским путевкам, будут участвовать в создании нового Мурманска.

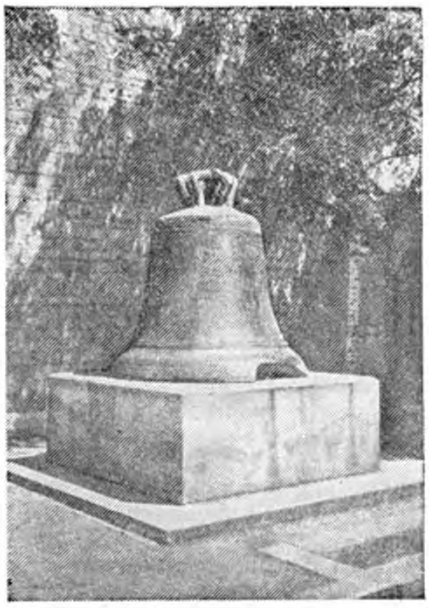
Как известно, наша область дает значительную часть никеля, добываемого в стране. Сейчас расширяется комбинат «Печенганикель» и строится Ждановский горнообогатительный комбинат. Строители будут жить в молодом городе Заполярном, в поселках Никель и Мирный. Любопытна история последнего. Несколько лет назад здесь была пограничная застава, а теперь — строительная площадка. У поселка достаточно красноречивое название...

Вот еще одна стройка, на которую я хотел бы обратить внимание молодежи. В тридцатые годы началась разработка знаменитых хибинских апатитов, составляющих ценное сырье для фосфорных удобрений. Сейчас старые рудники иссякают. Ставится задача: реконструировать комбинат.

В двадцати колометрах от Кировска, у подножия сопки, строится новая апатито - нефелиновая обогатительная фабрика, а неподалеку от нее — Новый город. Собственно, пока это поселок, но строители упорно называют его Новый город и на конвертах пишут: «Новый город». И чем не город? Дома до пяти этажей, крупноблочные, крупнопанельные. Ни одного деревянного дома. Первый камень заложен три года назад, а к концу семилетки здесь будет около 10 тысяч жителей. Для наших новоселов готовы общежития. Они заслуживают удобного жилья: ведь работа им предстоит трудная.

Рудники закладываются на плато Расвумчорр. В переводе с языка народности саами это означает «Спящая красавица». Подходящее название. Плато возвышается над уровнем моря на тысячу метров. Здесь часты бураны, холод, туманы. Зимой вездеход добирается от поселка до рудников на этом плато часов за восемь, а расстояние—15—20 километров. Мы называем эти места «крайний Крайний Север». В довершение ко всем прелестям климата трудности в проходке шурфов. Скальный грунт. Приходится взрывать. Вот в таких условиях будут строить вторую очередь комбината сыновья тех, кто несколько десятилетий назад под руководством С. М. Кирова впервые осваивал на Кольском полуострове добычу апатита. Но мы верим в этих ребят и думаем, что свое дело они сделают хорошо.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭПИГРАФА



Знаменитый колокол Шафхаузена.

Среди поэтических преданий о Господине Великом Новгороде есть трогательная легенда, возникшая еще в эпоху Ивана Грозного. Покорив Новгород, царь, чтобы истребить последние следы вольности, приказал сорвать вечевой колокол и отвезти его «в ссылку». В Валдайских горах колокол упал с телеги и разбился на тысячи валдайских колокольцев. Звенящие осколки разлетелись по всей Руси, разнося славу о Новгороде и скорбную память о его старинных вольностях...

Полагают, что Герцен, проживший год в новгородской ссылке, знал эту старинную легенду, и набатный вечевой колокол — символ гражданственности и древней свободы — стал символом для его газеты, пробуждавшей в России революционную мысль. В этом названии слышны и отголоски лермонтовского стихотворения, в котором автор уподобляет поэта-гражданина колоколу на башне вечевой, голосу которого народ «внимал в немом благоговенье». Эпиграфом к газете Герцена служили слова «Vivos voco!» — «Зову живых!».

Из какого источника почерпнул революционер-демократ этот эпиграф к своему «Колоколу»?

В 51-м, дополнительном томе БСЭ (раздел «Иностранные слова и выражения») находим: «Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango» (лат.) — «зову живых, оплакиваю мертвых, сокрушаю молнии. (Из «Песни о колоколе» Шиллера)».

Первый из этих трех возгласов послужил девизом к «Колоколу» Герцена.

А Шиллер? Откуда он взял эти слова? Ответ на этот вопрос дают биографы великого поэта. Они в один голос утверждают: латинское изречение, ставшее эпиграфом к его стихотворению, отчеканено на большом колоколе Шафхаузенского собора в Швейцарии.

Директор краеведческого музея Шафхаузена профессор В. Гиян откликнулся на наше письмо и любезно сообщил подробные сведения о колоколе, прислав его снимок. Вот коротко его история.

Колокол был отлит в Базеле в 1486 году мастером Людвигом Пайгером. С годами он, естественно, дряхлел: в начале восемнадцатого века у него отбился край, вскоре откололся еще кусок, но колокол продолжал звонить. 16 июня 1895 года в последний раз разнеслись по городу его густые, бархатные звуки. Замолкнувший колокол был снят с колокольни. И, кто знает, сколько б он еще стоял, забытый и незамеченный, в дальнем уголке монастырского двора, если б не приближался большой юбилей Шиллера (9 мая 1905 года исполнилось 100 лет со дня смерти поэта). В канун торжеств старинный колокол был установлен на массивном гранитном блоке позади собора. Для жителей Шафхаузена колокол не религиозная реликвия, а памятник тому, кто сложил о нем бессмертную песню. «Шиллерглокке» — так нарекли они своего любимца, которым гордятся и поныне.

Кто был автором поэтичной надписи на колоколе, выяснить не удалось.

Фридрих Шиллер никогда не видел колокола, им прославленного. В Шафхаузене он ни разу не был. Задумав свою «Песню», он отправился в дымные литейные мастерские Рудольштадта (город вблизи Иены). Необходимые сведения и текст надписи на колоколе нашел он в «Экономической энциклопедии» И. Крюнитца. Изречение в афористичной форме выразило еще не вполне созревший, но глубокий замысел будущей «Песни» поэта.

В поисках меткого эпиграфа к своей газете Герцен и Огарев не случайно обратились к великому немецкому поэту-тираноборцу. Русские друзья всю жизнь были страстными его почитателями. На страницах их сочинений и писем можно найти множество восторженных отзывов о Шиллере, чьи произведения они читали в оригинале. «Я брался за двадцать книг,— пишет 25-летний Герцен из Вятки,— и каждую бросил — мелко, подленько, натянуто... Один Шиллер, друг моего детства, которого я читал с Огаревым чистыми устами отрока, один он дивен. Я искал созвучия, и Шиллер подал мне его». Восхищенно говорил о роли Шиллера в своем духовном развитии и Н. П. Огарев. Вспоминая юные годы, он писал: «Шиллер был для меня всем — моей философией, моей гражданственностью, моей поэзией».

Вот почему, организуя вольную бесцензурную газету, Герцен и Огарев «искали созвучия» у автора «Вильгельма Телля». Мы уже знаем, что эпиграф к своей газете они нашли в «Песне о колоколе».

Клич «Vivos voco!» в продолжение десяти лет раздавался не только с каждого заголовка революционного органа. Герцен не раз обращался к нему в своих публицистических выступлениях и воззваниях. Статья «Mortuos plango...» («Оплакиваю мертвых»), напечатанная в новогоднем номере «Колокола» за 1862 год и как бы подводящая итоги многолетним размышлениям русского эмигранта о судьбах родины, завершается словами: «...оставьте мертвым хоронить мертвых... их не воскресите... их можно только *оплакивать*; звать надобно живых, мы и зовем вас... Откликайтесь—же—есть ли в поле жив человек? Vivos voco!»

На этот зов откликались все живые силы, которые не мирились с крепостным правом, со своеволием властей, с одряхлевшим и безобразным строем.

Артур РУБИНШТЕЙН

НА ЭКРАНЕ — искусство

Как часто молодому человеку, только еще вырабатывающему свой художественный вкус, необходимо спросить кого-то старшего, более опытного: хорошая это музыка или плохая, стоит читать эту книгу или нет, почему эта картина является шедевром живописи, а эта нет? В таком случае на помощь к нему приходят и печать, и радио, и телевидение.

А не может ли ответить на все эти вопросы самое распространенное и самое всеобъемлющее искусство — кино? Конечно, может.

Большую и полезную работу ведет в этом направлении Центральная киностудия научно-популярных фильмов, успешно решающая сложные задачи переводов на язык кино других видов искусства. Сложность проблем, стоящих перед студией, еще и в том, что каждый новый сюжет требует особых приемов воплощения его на кинопленке, чтобы не было примитивного иллюстрирования, чтобы фильм об искусстве и сам стал произведением искусства.

Вот фильм о Самуиле Яковлевиче Маршаке. Мы с детства знаем и любим его стихи и, взрослея, не начинаем любить и знать их меньше. Что же нового может рассказать нам фильм, не будет ли он повторением уже известного? И вот сценарист и режиссер используют и натурные съемки и мультипликацию; они щедры и изобретательны. Возникает на экране и знаменитый Рассеянный — это оживают известные рисунки Конашевича; а вот звучит стихотворение о «детях с нашего двора» — и мы действительно в большом московском дворе, где живут своей кипучей жизнью юные герои и читатели Маршака. Нужно показать Маршака-переводчика — на экране возникает рукопись одного из сонетов Шекспира, на наших глазах сами собой переделываются строки, отыскиваются единственно точные слова. Появляется типично шотландский пейзаж, звучит песня солдата, положенная на музыку Свиридовым,— это уже Бернс.

Фильм не просто иллюстрирует разные стороны большого таланта С. Я. Маршака, он заставляет нас еще больше полюбить этого замечательного человека и поэта. И когда на экране появляется сам Маршак и читает стихотворение «Быстро дни недели пролетели» (из книги лирики, удостоенной в этом году Ленинской премии), то зритель встречает его как старого друга, которого он часто видел, слышал его голос, запомнил его интонации.

Совсем другие задачи встали перед создателями полнометражного фильма о Борисе Щукине. Если в фильме о Маршаке материала было столько, что можно было выбирать, то сведения о Щукине нужно было искать. Сценарист и режиссер, используя фотографии, малочисленные кинодокументы, воспоминания М. Ромма, Р. Симонова и других, сумели показать не только рост актерского мастерства Щукина, но и сделали его нашим современником. Смотря этот фильм, забываешь, что актер давно умер.

Международному конкурсу имени Чайковского посвящен полнометражный фильм «Музыкальная весна 1962 года». Чтобы любить музыку, нужно ее знать, и авторы раздвигают стены концертного зала, чтобы талантливых исполнителей услышали и увидели миллионы. На фильм было очень много зрительских откликов, многие после этого фильма поняли, что не любить настоящую музыку нельзя, что, оказывается, в их жизни до сих пор чего-то недоставало.

Фильмы студии не просто рассказывают об искусстве и о его творцах, они будят в человеке чувство прекрасного, заложенное в него природой. Посмотрев такие картины, как «Шедевры Музея имени Пушкина», «Художник Нестеров», «Павел Корин», «Художник Дубинский», зритель не только расширит свой кругозор, он станет богаче духовно. Он уже не сможет быть равнодушным к судьбам искусства. А фильмы о М. С. Щепкине и К. С. Станиславском заставят его задуматься над развитием реализма на русской сцене.

Воспитанию вкуса, чуткости к красоте простых вещей посвящен один из лучших фильмов студии за прошлый год, «Окна настежь». Это совершенно новый по жанру и технике исполнения фильм. На примерах современной архитектуры и достижений художественной промышленности, на сопоставлении произведений человеческого ума и рук с творениями природы, которая учит человека экономии, простоте и строгой целесообразности, авторы очень убедительно показывают, почему мы называем красивое красивым, почему то, что было красиво для наших предков, сохраняет свое очарование и для нас и в то же время почему меняются представления о красоте. Первоначально фильм назывался «Что такое хорошо» и предназначался для детей. Но авторы сумели так много в нем сказать, сделали такие глубокие философские обобщения о природе прекрасного, что фильм и впрямь стал не просто учебным пособием, а произведением искусства.

У студии новые замыслы, новые планы.

А начало уже положено — доброе начало.

Л. ВУКОЛОВ

Спорт

М. ТАРТАКОВСКИЙ

БОЛЬШОГО ПЛАВАНИЯ!

О ПРОШЛОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Поражение всегда печально... Пьедестал почета готовят не для тебя, и репортеры с фотоаппаратами охотятся за более счастливыми спортсменами. А наутро в газетах напишут: «Наши пловцы опять выступили ниже своих возможностей...»

Обычно на всесоюзных соревнованиях все, кажется, идет нормально. Хлопают стартовые пистолеты. Прыгают в воду пловцы. После каждого финального заплыва появляются новые чемпионы, а то и рекордсмены страны. Но... десятки зарубежных пловцов плавают лучше этих рекордсменов.

На последних Олимпийских играх в Риме лишь четыре советских пловца попали в финалы, но так и не поднялись выше пятого места. А скудные зачетные очки принесли команде только двое — московская студентка Зинаида Беловецкая и военнослужащий из Киева Леонид Барбиер. Итог соревнований: пять очков — вдвое меньше, чем на предыдущей Олимпиаде в Мельбурне. И ни одной медали. А в 1956 году были две бронзовые, хотя тогда команда СССР выступала даже неполным составом. Тихо и безрадостно заняла на Римской олимпиаде наша сборная по плаванию двенадцатое место. Точнее, четвертое... с конца.

Более того. В Риме, состязаясь с лучшими пловцами мира, наши спортсмены не обновили ни одного всесоюзного рекорда. Если представить, что по мановению некой волшебной палочки спортивные результаты во всех странах мира, кроме нашей, вдруг останутся навсегда неизменными, то и тогда, при теперешних темпах роста своих достижений, советские чемпионы, скажем, в быстрейшем виде плавания — кроле стали бы первыми лишь на Олимпийских играх... 1972 года.

Но волшебной палочки не существует, а результаты в плавании изменяются особенно быстро. «Каскад», «дождь», «водопад» рекордов — так характеризуют сегодняшние события в этом виде спорта зарубежные журналисты.

В 1956 году в Мельбурне было обновлено 5 мировых и 11 олимпийских рекордов из тринадцати. Но то было лишь начало. Мельбурнский «золотой итог» на полуторакилометровой дистанции равнялся седьмому результату, показанному в Риме. А мировой рекорд в женской эстафете на играх в Риме был улучшен сразу на 8,2 секунды... Почти каждый финальный заплыв венчался блестящим результатом. Полностью обновилась таблица олимпийских рекордов.

Накануне Римской олимпиады немногие пловцы способны были пройти четырехсотметровую дистанцию кролем меньше чем за четыре с половиной минуты. В 1961 году этот рубеж «перешагнули» уже десятки спортсменов. Некогда умение проплыть сто метров меньше чем за минуту считалось и у мужчин превосходным достижением. Австралийка Даун Фрэзер поставила свой новый мировой рекорд за этой исконно «мужской» вехой. Быстрейший в мире пловец бразилец Мануэль дос Сантос преодолел эту дистанцию за 53,6 секунды! Между тем наш лучший прошлогодний результат в спринте является лишь двенадцатым в мире.

Ежегодно на спортивном небосводе загораются новые «звезды». Слава известнейших чемпионов затмевается новичками, зачастую подростками. Расширяется «география» мирового плавания. В финалах последнего первенства Европы в Лейпциге боролись такие страны, ранее «неизвестные» в этом виде спорта, как Норвегия, Португалия, Испания...

События нарастают. На всех материках пловцы принимают старт с тем, чтобы быть в числе первых на финише Олимпийских игр 1964 года в Токио. Так, например, прошлогодние чемпионы США в этом году не попали даже в десятку сильнейших пловцов страны. Рекорды страны побивались сразу несколькими спортсме-

нами. В далекой Австралии уже на предварительных отборочных соревнованиях рушились мировые рекорды... Специалисты, строя прогнозы, называют возможных победителей будущей Олимпиады: американцы, австралийцы, японцы... И никто не вспоминает о советских пловцах.

И мы говорим о горестном прошлом только потому, что думаем о будущем.

НАДЕЖДА В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ

На последнем первенстве Европы в Лейпциге наши пловцы были первыми в мужских заплывах. И вновь, как и в прошлые годы, наши журналисты заговорили о «надеждах» и «возможностях» в Токио. Не будем их упрекать за это, а лучше предпримем небольшой исторический экскурс.

В 1960 году на двухсотметровой дистанции чемпион СССР в стиле брасс Григорий Прокопенко показывал хорошее время. То был рекорд страны и третий-четвертый результат в мире. Наша «олимпийская надежда» была вполне реальна.

В предварительном заплыве в Риме Прокопенко показал результат лишь на секунду хуже своего рекордного времени. Даже с этим результатом он мог бы стать счастливым обладателем бронзовой медали. Мог бы... Но в полуфинале спортсмен снизил свой результат еще на две секунды и... не попал в финал.

Случай характерный. Там, где следует наращивать темп — от предварительных заплывов к полуфиналам и затем к финалам,— наши «олимпийцы» плавали все хуже и хуже. Они суетились, частили в начале дистанции и с трудом доплывали до финиша. Словно какой-то злой рок преследовал их на голубых дорожках. Казалось, что парней подменили. Перед стартом они только и говорили, что о чужих успехах, о чьей-то «непобедимости».

Возможно, на психику наших пловцов подействовал спокойный, самоуверенный вид противников. Ведь мировой рекордсмен австралиец Мюррей Роуз накануне решающих стартов «набирал» в тренировках километр за километром. Американские пловцы выходили на старт финальных заплывов свеженькими, точно вся предфинальная борьба была для них лишь небольшой разминкой.

По сути дела, так оно и было. Американские спортсмены, вернувшие себе в Риме пальму первенства в мировом плавании, за

Галя Прозументщикова.

год наплывают до полутора тысяч километров. А если сложить их проплывы за многие годы тренировок, то и океанские трассы покажутся короткими. Причем это не спокойное, размеренное «отщелкивание» километров. Тренировка почти от начала и до конца — сплошное «состязание с секундомером». Спортсмен плывет, все время поддерживая высокую, иногда почти максимальную скорость. Паузы для отдыха коротки и с каждым разом становятся все короче. Пловец на тренировке не единожды проходит в отличном, почти рекордном темпе дистанцию куда бо́льшую, чем та, на которой он готовится выступать.

Так тренируются не только американцы. Так плавают сегодня все, кто готовится побеждать. В одной из обычных тренировок Роуз, например, проплыл до обеда почти семь километров, а пообедав, еще пять с лишним.

Лучшие пловцы мира чувствуют себя в воде так же привычно, как и на твердой земле. Роуз, около ста раз обновлявший национальные олимпийские и мировые рекорды, с восьми лет уже начал тренировки. Бразилец Дос Сантос, по прозвищу «Голубая стрела», пришел в бассейн, когда ему не было и десяти лет.

В плавании «пора рекордов» наступает значительно раньше, чем в любом другом виде спорта. Самому «старшему» обладателю золотой медали Римской олимпиады было 23 года. Самой юной оказалась американка Каролин Вуд — ей только исполнилось 14 лет. На половине олимпийских дистанций для женщин мировыми рекордсменками являются сейчас шестнадцатилетние. Но за плечами столь юных мастеров многие годы тренировок. Плаванию учатся, как музыке, с детства.

В истории Олимпийских соревнований по плаванию всегда побеждала та страна, которая выставляла самую молодую команду.

И если говорить честно, наша «олимпийская надежда» еще бегает сейчас где-то в коротких штанишках.

ТВОРЧЕСТВО ИЛИ РЕМЕСЛО

Представьте на минуту, что вы тренер. Вы одержимы мечтой — подарить спортивному миру несколько новых «звезд». Вам, конечно, известны популярные истины, что плавание — спорт молодых, что корифеи водных дорожек учились плавать чуть ли не с младенческого возраста. И вы набираете группу первоклашек, а то и дошкольников. Вы думаете о будущих олимпиадах, где тоже надо будет побеждать.

Вам не препятствуют, не ставят бюрократических рогаток. Все давно поняли преимущество молодости в этом виде спорта. С вас, тренера, только требуют... разрядников. Позвольте, но как же можно требовать такого от малышей? Вам сочувствуют, но... пожимают плечами. Что, мол, поделаешь: план есть план. К концу года необходимо увеличить число разрядников...

Тренер, согласно плану, готовит **не пловцов, а разрядников.** Это не всегда одно и то же. Цифра в отчете становится важнее результатов. Тренер может загубить десятки талантов, только бы эти потенциальные «звезды» обеспечили спортивному обществу заполненные сводки плана.

Так возникают пловцы-середнячки, так вырастают середнячки — мастера спорта. Где сегодня многообещавшие, показывавшие в 14—16 лет отличные результаты Рада Аркадьева, Эльвира Морго, Евгений Щербовский? Они, как и многие другие, остались «многообещающими».

И далеко не всегда виноват тренер. Он дает то, что от него требуют. Его торопят. Каждое соревнование становится самоцелью. Наши десяти-одиннадцатилетние мальчики и девочки, занимающиеся в секции, плавают не хуже своих заокеанских сверстников. Но серьезные должностные дяди уже хватают секундомеры. Надо выявить разрядников, дать сегодняшний план... И далекая олимпийская мечта оказывается утраченной.

Соревнования для всех возрастов необходимы, как необходим здоровый азарт, спортивное честолюбие, если хотите, фанатичное стремление быть первым. Все эти великолепные качества бойца можно приобретать постепенно, без погони за немедленными рекордными показателями. Для самых маленьких дистанция может быть предельно короткой — 25—50 метров. Ребятам постарше — дорожку подлиннее. Такие состязания проводят сейчас во многих странах мира. И съезжаются из разных городов тренеры присмотреть будущих чемпионов. Именно **будущих.** Сегодняшний результат был только веселой пробой сил.

Все это прекрасно поняли в свое время руководители Центрального спортивного клуба Армии. Они дали своим тренерам возможность три года спокойно работать. И опыт оправдал себя. Сегодня юные пловцы ЦСКА успешно выступают почти во всех крупнейших всесоюзных состязаниях. И в десятке сильнейших страны вы всегда найдете несколько их имен. Это первые успехи. Назовем их осторожно: обнадеживающими.

Конечно, и в ЦСКА тоже планируют, но делают это перспективно. Для руководителей клуба важен не сегодняшний и даже не завтрашний день, а далекая, но по-настоящему большая цель. А тренер, чувствуя свою ответственность и вместе с тем располагая временем, может подойти к своей задаче не как ремесленник, а творчески.

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПЛАВАТЬ?

Помню, лет пятнадцать назад, в Херсоне, я заспорил с одним юнцом: кто больше проплывает баттерфляем?

— А как это — баттерфляем? — спросил юнец.

Я показал.

— А, бабочкой! — обрадовался он и прыгнул в воду.

Этот вид плавания тогда еще считался очень трудным. Я был разрядником и чемпионом своего факультета. Конечно, я сразу же обогнал юнца на полбассейна. Но он продолжал плыть. Я уже начал выдыхаться и предложил ему мировую. Но он отказался. Он утопал с головой при каждом гребке, но продолжал плыть. После шестисот метров я признал себя побежденным и вылез из воды.

В этом нет ничего удивительного. Парнишка был истинный херсонец и проводил в воде, кажется, больше времени, чем на суше. Здесь на многие километры раскинулись раздольные плавни — днепровские «джунгли» — с широкими протоками и неожиданно возникающими меж зарослей озерами. Я убежден: там и сейчас плавают неизвестные миру знаменитости.

Вспомните грандиозные гимнастические выступления на стадионах и площадях. Тысячи юных проделывают несложные гимнастические движения. Не отсюда ли вышли наши прославленные гимнасты — чемпионы Европы, Олимпийских игр, мира?

А откуда прийти выдающимся пловцам? Из бассейнов-оранжерей, где их выращивают, как редкие тропические растения? Мы ведь не готовим лыжников в Фергане или на Южном берегу Крыма! Стиль кроль пришел с теплых Гавайских островов. Не Париж, а южный город Тулуза дал большинство лучших пловцов Франции. Наш Семен Бойченко — коренной черноморец. Обладатель единственной у нас в стране личной олимпийской медали, полученной на водной дорожке, рекордсмен Европы Харис Юничев — из Сочи. Сегодня говорят и пишут о «феноменальной» девочке Галине Прозуменщиковой, которая в 13 лет стала рекордсменкой страны. Она из Севастополя. «Свежеиспеченный» рекордсмен континента брассист Иван Каретников — волжанин...

Но ни один, даже самый яркий талант еще не поднимался до современных рекордных достижений сам по себе, «как трава». Австралийцы шутят: для того, чтобы на один процент поднять силу и выносливость пловца, нужно сбросить ведро пота. И это не столь большое преувеличение.

Но недостаточно «просто потеть». Труд плюс творчество — такова формула тренировки. Спортсмены, имена которых повторяются в олимпийских скрижалях, были новаторами... Не длинные, «как у гориллы», руки и ноги сделали Джонни Вейсмюллера феноменальным пловцом. Он первым продемонстрировал «классический кроль». Так, как некогда плавал он, примерно плавают и сейчас.

Его современник олимпийский чемпион и рекордсмен Арне Борг доказал: техника плавания должна сообразовываться с природными данными пловца. Сегодня это стало аксиомой. Что ни чемпион, то «своя» техника, хотя в основе она та же, что и у Вейсмюллера.

Считалось некогда, что баттерфляй пригоден лишь на коротких отрезках дистанции. Советские пловцы Семен Бойченко и Леонид Мешков первыми стали проплывать этим стилем километры и на протяжении семнадцати лет были сильнейшими в мире!

Венгр Дьердь Тумпек превратил «бабочку» в «дельфина» и побил рекорд советского пловца...

Так «большое» плавание поднималось со ступени на ступень.

Я против того, чтобы делить виды спорта на главные и неглавные, но все же хочу сказать, что, когда журналистская судьба забрасывает меня подчас в самые неожиданные места — к геологам на Урал, на парусное суденышко в открытое море, в глухой район Памира,— никто, не спрашивает, владею ли я передачей мяча, а спрашивали всегда одно и то же:

— Умеете ли вы плавать?

Этот вопрос я задам и вам, юным. С умения плавать начинается путь к будущим рекордам!

Вл. ТОЧИЛИН

Трудовое лицо

На родительском собрании нам сказали:

— Товарищи родители! Времени на производственное обучение ребят, как всегда, будет отведено недостаточно. То, что мы не успеваем сделать в школе, надо доделать дома. Пожалуйста, помогите вашим детям овладеть профессиональными навыками. Трудовое лицо нашей школы должно определиться со дня на день. Ищем шефов...

Действительно, спустя месяц мой Борька вдел в иголку километровую нитку и предложил что-нибудь художественно заштопать. «Нашли шефов...» — решил я. Назавтра я тщательно порвал свои брюки и отдал их Борьке.

— Штопай на здоровье!

— Пап! Я совсем забыл тебе сказать. Это только сперва хотели всех учить на швею-мотористку, а теперь — только девчонок. А мы будем столярами-плотниками. Мне бы пилу-ножовку.

— Зачем?

— Понимаешь, у нас круглый стол — это несовременно. Сейчас в моде прямоугольные и низкие. Мне бы только пилу достать, остальное — в один момент!

Я побежал к соседям. Через час Борька отпиливал ножки, а я зачищал шкуркой заусенцы. К концу недели нам оставалось сделать у стола четвертый угол, но Борька уже с порога закричал:

— Мама! У нас послезавтра контрольная! Яичница-фри с картофелем! Проверь меня...

— Борька, а как же стол?! — спросил я.

— Накроем на кухне! Столяры-плотники отменяются: будем поварами!

От яичницы слипались зубы, картофель-фри глотался с трудом. Мы со страхом ждали результатов контрольной.

Послезавтра Борька объявил:

— Повара отменяются! Электромонтеры нужнее. У нас шефы поменялись...

Борька увлекся электротехникой. Он долбил пазы для скрытой проводки. Я бегал за лампами дневного света. Ужинали засветло, чтобы не переводить керосин.

Трудовое лицо школы беспрерывно менялось. За последнюю четверть Борька становился по очереди часовым мастером, дояром, слесарем-монтажником и химиком-пиротехником. Мы терпели. Но когда Борька заново переплел мои любимые подписные издания, я слег.

Этот рассказ я пишу в постели. Борька ловко меняет компрессы. Сейчас над ними шефствует районная поликлиника...

Рисунок И. Сидорова.

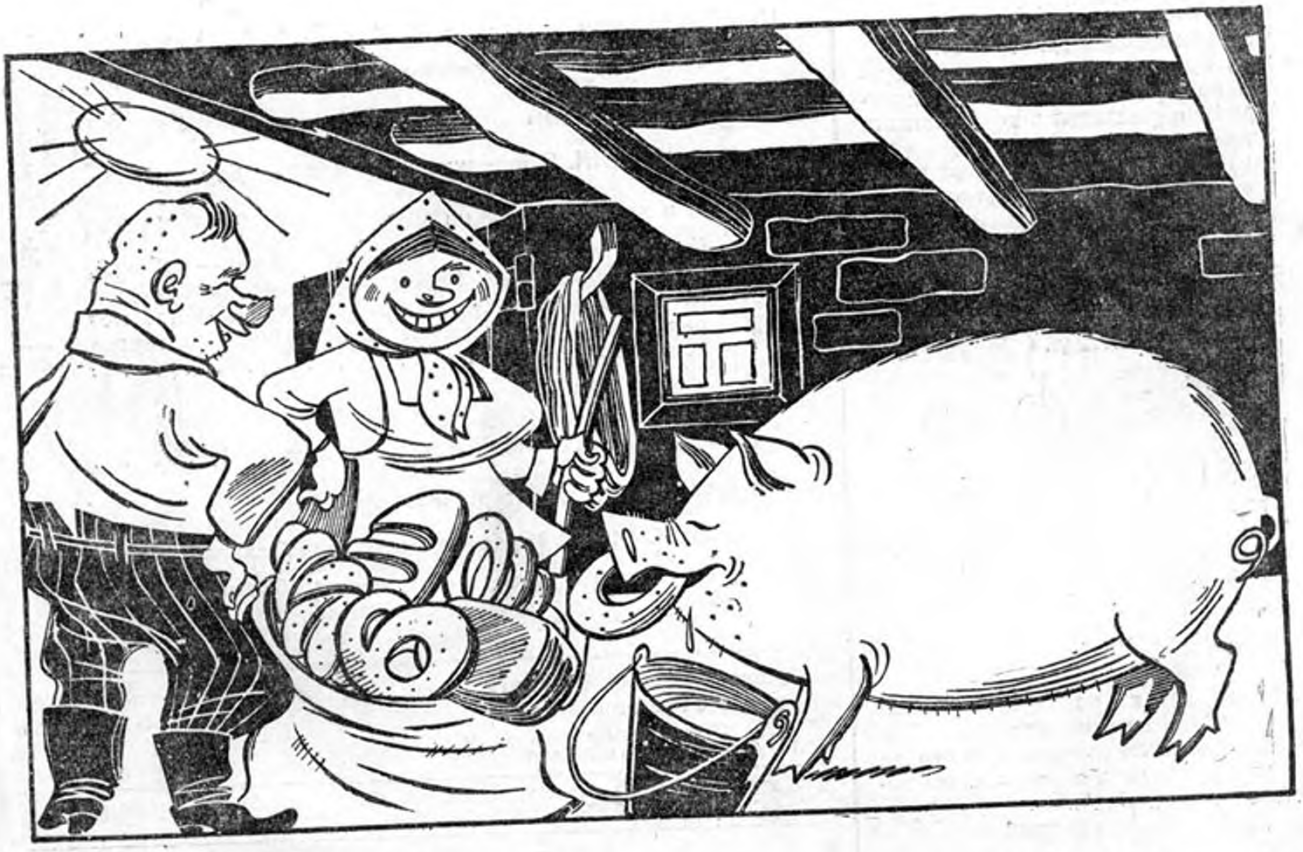
«Активист»-культурник

— Подготовка к культурному мероприятию.

«Активист»-атеист

— Не могу на это спокойно смотреть!

Рисунки М. Ушаца.



— Ну как поживает наша хавронья?
— Да ничего: перебивается с хлеба на воду...

Рисунок И. Оффенгендена.

От группы девушек, обучающихся в Новосибирском техникуме общественного питания, в «Пылесос» пришло письмо. Девушки пишут, что администрация техникума запрещает им носить прически и заставляет стричься коротко или носить косы.

Публикуем ответ Галки Галкиной на это письмо.

Дорогие девочки! Внимательно прочла ваше письмо.

Мне кажется, что администрация права, если:

а) в техникуме низкие потолки и требуется построить специальное помещение для занятий с причесывающимися девушками;

б) время, которое девушки тратят на уход за прическами, вынуждает администрацию уплотнять учебные программы;

в) ваши прически мешают входу в трамвай с передней площадки и выходу из него с задней;

г) если прически могут развалиться и причинить увечья детям и старикам;

д) если возражает новосибирская пожарная команда.

Наверное, вы подпадаете под какой-нибудь из этих пунктов.

В остальных случаях я лично не вижу криминала в том, что вы носите прически!

До свидания, девочки!

Галка Галкина

Рисунки А. Сухова.

В НОМЕРЕ:

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Письмо в тридцатый век . . 2

Владимир ОРЛОВ. Соленый арбуз. Роман (Продолжение) 14

Расул ГАМЗАТОВ. Поэту. Письмо из Индии. Осень. На смерть друга — Гамида Темирханова. Здесь, на вершинах. Стихи 45

Альберт ЛИХАНОВ. Чужая тень. Рассказ 47

Невыдуманные рассказы

Илья ЗВЕРЕВ. Трест имени Мопассана и другие сентиментальные истории 50

У книжной полки

Лев РАЗГОН. Закончен труд 61

К 45-летию комсомола

А. КАМШАЛОВ. Эстафета поколений 65

А. МИЛЬЧАКОВ. Они были первыми 68

Елене Дмитриевне Стасовой — девяносто лет 76

Анатолий БЕРКУТ. Мы, слесари... Очерк 77

Наш фельетон

Леонид ЛИХОДЕЕВ. Возвращение д'Артаньяна . . 83

Трибука «Юности»

Лев КАССИЛЬ. Слова, словеса и словечки... . . . 86

Путевые заметки

Ю. ИВАНОВ. За тунцами к экватору 90

На стендах «Юности»

В. КОСТИН. Образ жизни, простой и здоровой . . 98

Заметки и корреспонденции

✲ Н. ИГОРЕВ, А. ПЕТРОВ, Атом — рабочий. ✲ Ю. МАКСИМОВ. Город мечты. ✲ Они разбудят «Спящую красавицу». ✲ Артур РУБИНШТЕЙН. История одного эпиграфа. ✲ Л. ВУКОЛОВ. На экране искусство... . . . . 100—106

Спорт

М. ТАРТАКОВСКИЙ. Большого плавания! 107

Пылесос. (Страницы сатиры и юмора)

Вл. ТОЧИЛИН. Трудовсе лицо. Галка Галкина отвечает. 110—112

На первой и четвертой страницах обложки — рисунок В. СУРИКОВА.

Художественный редактор Г. Решетин. Оформление И. Оффенгендена.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00469. Подп. к печ. 30/X 1963 г. Тираж 600 000 экз. Изд. № 1823. Заказ № 2058. Формат бумаги 84×108 1/16. Вум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, ул. «Правды», 24.

ЮНА

Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ, Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс 71950